

АЛЬМАНАХ ПОЭЗИЯ

ISSN 0130—8491

55 · 1990



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

АНКЕТА. Молодые — о себе. (Стихи и ответы на вопросы). М. Аввакумова, Евг. Блажевский, Н. Дмитриев, И. Жданов, И. Искренко, Г. Калашников, Г. Касмынин, И. Кошель, М. Кудинова, В. Лапшин, А. Макаров, О. Николаева, Л. Тараканова, А. Тепляшин, Т. Смертина, В. Урусов.

ПУБЛИКАЦИИ. К. Случевский, Вл. Соловьев, В. Звягинцева, М. Волошин, Борис Савинков.

Я. Козловский. О так называемой «эротической» литературе. (Неизвестные переводы «эротической» поэзии).

МАСТЕРСКАЯ. А. Сенкевич. Показания свидетелей защиты. (Русский поэтический авангард 60-х годов). Алена Басилова, Леонид Губанов, Глеб Арсеньев.

В. Куприянов. Поэзия и ее свобода. (О современном верлибре).

СТАТЬИ. О. Панченко. На мосту судеб. (А. А. Ахматова). Т. Кожевникова. Творчество А. Блока в Италии.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ. Б. Брехт, Т. Уильямс.

ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ. Из размышлений о Владимире Соловьеве. (Из последних бесед с А. Ф. Лосевым). Вл. Соловьев.

ЮМОР. Н. Новиков, В. Бомас, Е. Ушан и др. (ироническая поэзия), А. Иванов (пародии).

55

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИЯ

1990

ББК 84(0)6
П 67

РЕДАКТОР Николай СТАРШИНОВ
РЕДКОЛЛЕГИЯ: Зайцев Г. В., Куняев С. Ю., Олейник Б. И., Осетров Е. И., Старшинов Н. К., Фокина О. А.

П $\frac{4701000000-102}{078(02)-90}$ 186--90

© ИПО
«Молодая
гвардия»,
1990 г.

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИЯ
55 • 1990



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990

СОДЕРЖАНИЕ

ВСЕГДА В ПУТИ

Татьяна Сырыщева	6
Герман Абрамов	8
Николай Мережников	10
Нина Краснова	12
Евгений Лебедев	14
Владимир Дагуров	17
Ольга Рожанская	20
Олег Кочетков	23
Тамара Башмакова	26
Сергей Поташов	28
Вячеслав Спесивцев	29
Элеонора Аконова	33
Виктор Смирнов-Фролов	36
Николай Капитанов	37
Евгений Степанов	39
Любовь Щербатова	41

НАША АНКЕТА

Молодые — о себе	43
-----------------------------------	-----------

Мария Аввакумова	44
Евгений Блажеевский	49
Николай Дмитриев	53
Иван Жданов	59
Нина Искренко	61
Геннадий Калашников	67
Геннадий Касмынин	71
Петр Кошель	77
Марина Кудимова	80
Виктор Лапшин	84
Александр Макаров	89
Олеся Николаева	92
Лариса Тараканова	98
Анатолий Тепляшин	103
Татьяна Смертина	108
Владимир Урусов	111

МАСТЕРСКАЯ

Вячеслав Куприянов. Поэзия и ее свобода	118
Виталий Борисполец	125
Александр Бригинец	126
Иван Буркин	127
Людмила Волошина	129
Исанна Вороновская	130
Александр Макаров-Кротков	130
Юрий Милорава	132
Евгений Колесов	133
Татьяна Кудина	134
Михаил Орлов	135
Михаил Рахманов	137

СТАТЬИ

Ольга Панченко. На мосту судеб	138
--	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Всеволод Сахаров. «Портрет в строках — проглянет...»	148
Константин Случевский	149
Анатолий Марков. «Коварство безоружно против вас...»	150
Вера Звягинцева	152

МАСТЕРСКАЯ

Александр Сенкевич. Показания свидетелей защиты	156
Алена Баилова	165
Леонид Губанов	168
Глеб Арсеньев	169

СТАТЬИ

Татьяна Кожевникова. Творчество А. Блока в Италии	171
---	-----

МАСТЕРСКАЯ

Котетишвили Вахушти. Ромашка надежды	180
Этер Татарайдзе	181
Елена Бондарева	182
Джуна	183

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Яков Козловский. О так называемой «эротической» литературе	186
Из Кучака	187
Из сербского фольклора	187
Из шведского фольклора	187
Из индийской лирики	187
Из польского фольклора	188
Из Аммония Стефаниса	188
Из арабской народной лирики	188
Из Курбанова	188
Из Черногорского фольклора	188
Из даргинского поэта	
Ахмеда Мунги	189
Алим Кешоков	189
Георгий Крылов. Загадка поэта-террориста	190
Максимилиан Волошин	194
Борис Савинков	195

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ

А. Ф. Лосев. Из размышлений о Владимире Соловьёве	196
Владимир Соловьёв	204

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Евгений Витковский. Немного «домашних проповедей», или Бертольт Брехт неизвестный . . .	207
Бертольт Брехт	207
Теннесси Уильямс	211

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС...	214
---	-----

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Николай Новиков	215
Вадим Бомас	215
Евгений Ушан	217
Сергей Белорусец	217
Петро Ребро	218
Борис Чамлай	218
Владимир Дугар	219
Анатолий Гарматюк	219

ПАРОДИИ

Александр Иванов	219
Ефим Самоварщиков	221

ВСЕГДА В ПУТИ



ТАТЬЯНА СЫРЫЩЕВА

Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Бересклет», «Зеленые рукава», «Минуты станут веком», «Скажу нечто». Член Союза писателей. Живет в Москве.

В ДОМЕ ОТДЫХА

Ох, как ей, наверно, надоели
тряпки, ведра, пыльная метла!..
Отпуск на две получив недели,
поновее вещи собрала.

Отдалился цех с огнем и громом,
стекла стен, цементные полы...
Ну а здесь — березы перед

домом,
ливнями омытые стволы.

До чего чиста, бела берёста!
Тете Нюше с детства лес знаком.
Худенькая, небольшого роста,
голова повязана платком.

Улыбаясь, тихо проронила:
«Я в лесу как будто бы расту!»
И от всей души я оценила
этих слов несложных красоту.

РИММЕ

Тешит меня, старуху,
сбытность одной мечты:
дочь моего духа —
может быть, это ты?
Сгнула злая стая
властных, горластых птиц.
Светлая и простая,
ты не из тех цариц.
Вечером непогожим
сядем с тобой рядком,

ворох забот отложим,
поговорим ладком.

Время, как ветер, мчится —
и не остановить.
Ходят косые спицы,
алая льется нить.
Тянет нас к откровенным,
выношенным словам.
Взгляд твой скользнул по стенам:
новое есть ли там?
Эти рисунки, книги
дом расширяют мой...
Знаешь, листья брусники
зелены и зимой.

ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Было время —
цыганочка эта
(остроугольное лицо,
глаза драгоценные)
прибегала с другого конца двора,
брала мою руку,
прикладывала к щеке,
просилась в гости —
хоть на минуту одну:
воды попить.

Вчера
прошла эта девочка мимо,
прячась за стайкой подруг,
Я остановилась потрясенная.
«Ты что, уж и не здороваешься?»

«Простите! — сказала она спокойно,
почти вежливо,—
я вас не заметила».

Медленно зреет на солнце стих,
и не уйти нам от дел простых,—
яблочны щеки внучек твоих.

* * *

Яблоки входят с тобою в дом.
Радуешь близких добрым трудом.
Было: гостила в саду твоём.

Красные яблоки на столе...
В доме моем, в тишине, в тепле
думаем вслух обо всей Земле.

А познакомил нас институт.
Знаем еще и такой мы труд:
яблони книжек наших растут.

Жалко прощаться на склоне дня.
Древние тайны свои храня,
яблоки всматриваются в меня.

ЛИСТОПАД В МАЛИНОВКЕ

Солнце земли на прощанье касается.
Бархатом низ оторочен ствола.
Роща сегодня такая красавица,—
вряд ли весной она краше была.
Все ее чащи-глубины прорежены,
путь восхищенному взгляду открыт.
Перед еловым простенком орешина
пламенем светлым и ровным горит.

Верх у рябины от свежести розовый.
Длится который уж день листопад.
С каждой подветренной ветки березовой
остроконечные листья летят.
Чувствую в ветре дыхание севера...
Бабьего лета конец недалеко,
но лилоеют соцветия клевера,
гордо косматый стоит василек.

ШКОЛЬНОЙ ПОДРУГЕ

Ты мне про Баку говоришь
слова, что не очень понятны:
«Красив он, но чужд, как Париж.
Побудешь — и рвешься обратно».
Забыла так скоро его?
И школу, и наши прогулки?
Наш город! Просторы его
и жар от домов в переулке...
А я, как святыню свою,
храню эту память о зное,
и жажды огонь не залью
водой самой чистой речною.

Змеились стальные пути,
на север ввели от вокзала.
Я Каспию тихо «прости»,
как первому другу, сказала.

На крыльях бы ветра туда,
в покинутый город помчаться,
где мне не бывать никогда,
во сне только часто встречаться.
Душа — лишь завидит волну —
заплачет тоскливою выпью.
Я синей воды зачерпну
и горько-соленую выпью.

ГЕРМАН АБРАМОВ

Родился в 1906 году. Автор поэтических книг «Высокая вода», «Наветренная сторона», «Листья, волны, облака...», «Ясность», переводов с языков народов СССР.

МЕРИЛО ВСЕХ МЕРИЛ

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок...
Александр Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин...
Не лукавил он пером:
Дерзок был и непослушен.
Бил в набат, а не челом.
Лишь самим собою правил,
Не робел и не молчал:
Он преследуемых — славил.
Сильных мира — обличал.

Он изобразил Россию.
Он преобразил язык.
Гордо бросил вызов змию
самовластья...
Тем велик.

Будут ли такие — бог весть.
Подвиг же, что он свершил,—
Это вещей Музы совесть
И мерило всех мерил.
И все шире год от году
Здравствует его строка.
Так восславил он Свободу
Русским Словом — на века!

ЧТО ЕСТЬ ПОЭЗИЯ?

— Что есть Поэзия? — спросил я мудреца,—
И долго ли еще ей волновать сердца? —
— О, мой наивный друг! —
ответ был мудреца,—
Поэзия что круг: в нем не ищи конца!

ПРОМАШКА МАСТЕРА

Когда творит поэт раскованно, свободно,
То и огрех его в небытие не канет:
Промашка в строчке мастера подобна
Царапине на драгоценном камне.

Я — ДЕРЕВО ПЕВУННОЕ!

Ни фокусам, ни опусам меня не соблазнить,—
И с деревом не попусту могу себя сравнить.
Я обрастаю листьями — я жизнь не отлюблю.
И только ради истины я рифму тороплю.
Я дерево не юное, но все еще расту.
Я дерево певунное: я славлю красоту.
Я дерево, я древнее, меня не сбил Борей *,
Я дерево, я дерево со множеством корней!

* **Боре й** — холодный ветер (миф.).

СВЯТОЕ РЕМЕСЛО

Моя напасть! Мое богатство!
Мое святое ремесло!

Каролина Павлова, 1854

Звучит непреднамеренно
Во всем, что мы творим,
И все,—
 что с жизнью сверено,
Что до конца храним.
Не хвалимся, не каемся,
Льстецам
 не смотрим в рот,
Локтями не толкаемся,
Чтоб вылезти вперед.
Мы песнопевцы разные,
Но нас в одно свело
По чувству и по разуму
Святое Ремесло!

НИКОЛАЙ МЕРЕЖНИКОВ

Родился в 1929 году в селе Мосине Пермской области. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал учителем. Автор шестнадцати сборников стихотворений.

С КАМУШКА,
С ГВОЗДИКА

С хвощика
Тощего —
Эти леса.
С ключика
Бьющего —
Эта река.
С грошика
Прошлого —
Эти рубли.
С камушка, с гвоздика —
Эти кремли.

Взвезно реями,
Взбито волной,
Навек затеяно
Волей земной.
Взвешено, вздвинуто,
Вставлено в ряд —
Хвоехранилище,
Воздухосклад.

Собрана, скликана
Вечная рать —
Луг с повиликою,
С гречкой постать.
Вспыхнули, взораны,
Утра пласты.
И во все стороны,
Родина,—
Ты!

* * *

Тесна колода людская.
Начнешь ее тасовать,
И выпадет жизнь такая,
Когда человек не знает,
О чем ему тосковать.

Что делать с жизнью такою,
Легкой, как птичий следок?
Сказали тебе: устрою!
Сказали тебе: укрою!
Сказали: сгодится впрок.

Выйдешь ли ты из дому,
Вернешься ли ты домой —
Тебе уж не быть другому,
А каждый день вот такому
Встречаться с самим собой.

Не надо — скажешь — не надо.
Дайте мне прежнюю, ту
Жизнь, где случилось падать,
Где мне случилось прядать
Искрами в темноту.

СТЕКОЛКО

Был бы я мальчик,
Был бы я маленький мальчик,
Поднял бы это стеклоко,
Цветное стеклоко.
Его бы приставил я к глазу,
И солнце,
Горячее, вешнее солнце
Сразу бы переменялось.
Стало оно бы добрым,
Стало ручным, послушным
И дымчато-зеленоватым.
Да где уж! За ним склоняться
Кажется мне неприличным:
Вот-де, нашел забаву!
Бог с ним, с этим стеклоком...
Ну и, конечно, мальчишка,
Скакавший за мной мальчишка,
Рад был необычайно
Такой счастливой находке.
И лишь одного не пойму я,

Как это все ж получилось:
Я стою посреди дороги
И смотрю на весеннее солнце.
Сквозь стекло смотрю,
Сквозь стекло —
Легкое, дымчатое, зеленоватое
И чуть припорошенное пылью!

И как будто бы голосом вещим,
Ты застигнут возвратом тех лет —
Всею тяжестью неотболевшей,
Всею памятью горя и бед.

И летят остроклювые тени,
Унося неразъятую тьму,
Острия свои без промедленья
Прямо к сердцу клоня твоему.

ВОСХОД ЛУНЫ

Тьма густого, тугого замеса
Оседает, как будто стена:
Тяжела и светла, из-за леса
Поднимается плавно луна.

И опять среди пепла и гари
У плывущей, как лава, земли
Луны, луны, как солнца, вставали,
Только тьмы разогнать не могли.

Как всегда, ты в такую минуту
Светом лунным застигнут врасплох,
Как внезапно восставшим салютом
Из уже отгремевших эпох.

И пока есть такая минута,
То не меньше она нас роднит,
Чем победное пламя салюта,
Озарившее

общий зенит.

СУД

Я себя к добрякам причислял.
Отчего же со всеми другими
Я ломлюсь в переполненный зал,
Где звучит это черное имя?
Жажда крови? Пустое... не в счет...
Справедливости? Вряд ли прибудет.
Суд идет. Суд идет. Суд идет.
Судят Сталина, прах его судят.

Не с того ли, планиду кляня,
Тороплюсь, как пчела к своим сотам,
В этот зал, что его без меня
И судить-то нельзя— одного-то!
Я согласен был винтиком стать:
Легче жить, если думает дядя.
Ничего-то не надо решать,
Ни к чему-то стремиться не надо.

И на зло я глаза закрывал,
Жил и жил, коль меня не касалось...
Проводите меня в этот зал
И под стражу возьмите из зала.

Вот и книгу священную вносят,
Бронзой кованный свод бытия.
Подсудимые — я да Иосиф,
Пострадавшие — Сталин да я.

НИНА КРАСНОВА

Родилась в 1950 году в Рязани. Работала литсотрудником в районной газете, пекарем на хлебозаводе. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

Автор книг стихов «Разбег», «Такие красные цветы», «Потерянное кольцо».

Член Союза писателей.

СМЕХ И СЛЕЗЫ РЕДЧАЙШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

Я любого покорю,
Очень многих покорила.
Я не пью и не курю,
Не пила и не курила.

Посмотрите в окуляр:
Нет, совсем не персиянка —
Перед вами россиянка,
Но редчайший экземпляр,
Словно бабочка-пестрянка*.

Покоряю всех подряд,
Никого не атакуя.
Трудно встретить, говорят,
Нынче женщину «такую».

Я не пью и не курю,
Не пила и не курила,

Я любого покорю...
Что ж тебя не покорила?

МРАЧНАЯ ФАНТАЗИЯ О БУДУЩЕМ «ГОМО САПЕНСА»

Обезьянка высшей расы
В древних клипсах из пластмассы
(Их она, заметим в скобках,
Раскопала при раскопках)
Обнаружит при раскопках
(В новой эре, скажем в скобках,
Через много тысяч лет)
«Гомо сапенса» скелет —
Череп с челюстью вставной,
Вставленной перед войной,
Перед ядерной войной...

Засмеется обезьянка
Звонко-звонко, зьянко-зьянко*,
Скажет, в череп вбив зубило:
«Тупость фрайера сгубила!»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Моей маме
Красновой Марии Петровне

Не знаю я, какая мне цена-то.
По гонорарам судя — медный грош.
Нет у меня, к несчастью, мецената.
Живи, поэт, твори, поэт, как хошь.

* Бабочка-пестрянка занесена в Красную книгу.

* Зьянко — очень звонко, оглушающе (рязанское областное слово, солотчинское).

Где добрый толстосум Морозов Савва?
Нет у меня его. Но мама, мама есть!
Спасительница! Честь тебе и слава!
Есть у меня в кармане, чем потреть,

И есть, на что купить в универмаге
(Да не покажется мечта моя мелка)
Простых карандашей, стержнёй, бумаги,
Ну а в продмаге — хлеба, молока...

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ

Родился в 1941 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ, аспирантуру ИМЛИ АН СССР. Автор книг о поэзии М. Ломоносова, Е. А. Боратынского. Стихи печатались в альманахах «Поэзия» и «День поэзии».

* * *

Укрепи меня в битве, о Боже,
С тем, что глупо зовем мы судьбой.
Хоть и жил я беспутно, но все же —
Все же не был отвергнут Тобой.

Сколько раз я желал Тебе худа,
Оттого что страдал, не любя!..
Но послал Ты мне в дар это чудо —
Этот стыд за других и себя.

Жизнь прожить не умея, как нужно,
Мы сегодня, у края скользья,
Содрогнулись душою недужной,
Загалдели о том, как нельзя,

Жаждем правды, дрожа перед нею...
Что же будет, когда наконец
Самой полною правдой Твоею
Ты всех нас испытаеть, Отец?..

ВДОВЕ ПОЭТА

Когда в его книжках о счастье читала ты,
Ах, как же о счастье мечтала ты!..

Но счастье едва из души его глянуло,
Как снова в безумную кануло.

В любви к совершенству — неважно, что
смутному,
Но только бы сиюминутному —

Он бил себя в сердце: и ад здесь, и небо, мол,
И все понимания требовал.

Взмывал за участием к незримой
возлюбленной

И ему самому. Что ж он, впрямь идиот?
Как он терпит-то, что ж не осудит?
Ну, как все, что случилось, и произойдет,
Он уже никогда не избудет?

О, как страстно, как глупо желал я ему
Вызволенья из грешной юдоли!
О, как прямо смотрел он в притихшую
тьму,
Полный света, смущенья и боли!..

И весь зал, может быть, в первый раз не греша,
Обмер, словно в преддверии ада...
И — сиял этот взгляд, и — вскричала душа,
Вся в ожогах от этого взгляда...

И с неведомой болью (в шестнадцать-то лет!)
Вдруг я понял, что жил неподобно,
Что унять эту боль, заслонив этот свет,
Даже мать, даже мать неспособна...

И я проклял себя, уходя из кино,
Плакал, глядя на встречные лица...
Ах, вы, слезы мои... Это было давно...
Жизнь к добру иль к несчастью — длится...

До поры... Автор фильма сгорел, как костер,
Взвитый к небу, свирепый и дымный...
С благодушною публикой щедрый актер
Нынче связан любовью взаимной...

Я и сам подчинился порядку вещей.
Мне открылись желанья иные...
Страх люблю поболтать о романе идей
И поспорить о полифонии...

Затянулись ожоги. Уже — не болят.
Длится жизнь. Но не вечно же длится...
И приснился мне этот пронзительный взгляд...
Может быть, и актеру он снится...

* * *

Как несется в ночное мальчишка, Замирая в предчувствии чуда, Как уходит в ночную рабочий Делать необходимое дело, Как впадает в бессонницу старец (Для него это просто проклятье).	Так поэт, их собрат-полуночник (И дитя, и трудяга, и старец), До рассвета бессонной душою — Юной, и многотрудной, и скорбной — Ищет Слово. Оно для поэта — И проклятье, и дело, и чудо.
---	---

ВЛАДИМИР ДАГУРОВ

Родился в 1940 году в городе Нальчике. Окончил Свердловский мединститут, защитил кандидатскую диссертацию по фармакологии. Двенадцать лет преподавал в 1-м ММИ имени И. М. Сеченова. Член Союза писателей с 1965 года. Автор десяти книг стихотворений: «Дыхание», «Солнечный ветер», «Планида», «Сроки», «Созвездие весов» и другие. В 1985 году окончил Высшие литературные курсы. Живет в Москве.

НАТЮРМОРТ

Солнцем пахли яблоки и груши
(самое червонное — червивое...).
Виноград — сентябрьскою
прохладой,
а лимон — малиновым вареньем,
потому что будет подан к чаю.
Ну а листья жухлые — дождями,
что гостят пока у октября.
А корзина пахла плодородьем,
и ее плетень кружевное
намекало, что хозяйка скоро
мужу своему подарит дочку...

А художник, стоя у мольберта
в серых джинсах, с кистью
колонковой,
нанеся мазок последний охрой,
отстранился и, сравнив

с альбомом,
похвалился — «Чистый

Караваджо!»

Посреди развешанных этюдов
промывал он кисти ацетоном
и стоял спиной к окну —

в картине
самой лучшей
в темной
мастерской.

СЕМЬЯ

«Проснись, сынок...» — меня будила мама,
но сладок ранним зимним утром сон.
«Я спать хочу!» — но радиопрограмма

МУРАВЕЙ

Нес в руках я арбуз астраханский
и увидел, как между полос
по планете своей великанской
муравей заблудившийся полз.

Сдул его я небрежно с арбуза,
и упал муравей на асфальт.
Он, конечно, был мне не обуза.
Я, конечно, во всем виноват.

Муравей по земле заметался,
то была не лесная земля:
люди шли, и ребенок катался,
и машины гудели, пыля.

На безжизненном поле асфальта
он метался, как будто чумной.
Я страдал за него среди гвалта,
будто это случилось со мной.

Тяжело опускались подошвы
возле-возле того муравья.

«Осторожно ступайте,
да что ж вы!» —
чуть уж было не выкрикнул я.

Но случилось то тихое лихо,
что заметил один только я
да, быть может, ждала муравья
горемыку того, муравья...

задорным маршем заглушала стон.
Отец рукой суровой одеяло
срывал, и это действие меня
к реальной жизни мигом возвращало,
и начиналась в доме толкотня.
И средний брат, и младший брат, и тетя,
и мама — торопились в школу все...
А бабушка: «Когда же вы уйдете?
С утра верчусь как белка в колесе!»
К уроку по сугробам мы спешили —
такая шла веселая гурьба...
Как славно мы тогда все вместе жили!
За что же разметала нас судьба?!

СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Мама с душевной тревогой в очах.
Бабушка в фартуке там, где очаг.
Папа — суровый мужчина на вид:
грудь в орденах,
ветеран-инвалид.
Рядом три парня — сыновний триптих —
как подобрать непохожих таких?
Снимок любительский,
чем же он плох?
Быт повседневный застигнут врасплох.
Все мы — живые,
такие как есть.
Каждому столько пришлось перенести...
Гляну на фото —
и страшен же я!
Все же счастливая наша семья!

В МОРЕ

Я смотрел, как берег таял в дымке,
с палубы большого корабля.
С грустью видел я, как невидимкой
становилась милая земля.
В мире две стихии лишь со мною:
снизу — море, сверху — небеса.
Значит, все, что связано с землею, —
только в сердце —
вот и правда вся!

ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ

Расставив антенны-стрелки,
таинственно-неземны
летающие тарелки
врываюся в наши сны.
Фантазия интеллекта?
Бред?

Демон?

Явление Христа?

Летающая тарелка,
ты носишься неспроста!
Летит в небесах,
завораживая,
над буднями мира взойдя,
настырная и оранжевая
мерцающая звезда.
И от свеченья радара
не отрывая глаз,

ждут атомного удара
полковники авиабаз.
Планета в тоске погребальной.
Чреваты ее погреба
тактическими и глобальными,
как мертвецами гроба.
Пока друг на друга косимся,
разбив на квадраты мир,
мы о пришельцах из космоса
красивый придумали миф.
Я слышу,

они радируют
из галактической тьмы:
«Когда вы придете к миру,
тогда к вам придем и мы».
Тарелки промчатся мимо,
лишь в небе лучом мигнут
Земле,

похожей на мину
до взрыва за пять минут!

ОЛЬГА РОЖАНСКАЯ

Родилась в 1951 году в Москве. Окончила механико-математический факультет Московского государственного университета. Работает преподавателем в институте. Живет в Москве. Стихи публиковались в журнале «Юность».

ТРЕТЬЯ ЭМИГРАЦИЯ

За уровнем ниже нуля — тоже ноль.
Там градусов нету, а в сердце — зубная боль.
Там нету надежды, и следует к бытию
Себя принуждать как к утреннему бритью.

Сюда долетает только дурная весть.
И времени нету, а родина все же есть.
Как мать дитю, у которого нет отца.
Да только у ней фотография вместо лица.

* * *

По пристани приволжской гуляют господа
В жилетках полосатых, без всякого стыда.
Для музыки машину заводит половой,
Фарфоровый китаец кивает головой.
Давно все это было, крапивой поросло,
На паре прикатило и паром унесло.
Вот шельма англичанин, в печенки его мать!
Еще и на японской придется умирать...

* * *

Мамка мне пупок
Без узлов вязала,
Чтобы рос легóк —
Только и сказала.

Чтоб, биясь в сетях,
Лобызался с братом,
Да в чужих клетях
Шуровал с мандатом.

Не нажил дворцов,
Не кормил бы вошей,
Над землей отцов
Завилсь порошей.

Чтобы пел себе —
Ни земной, ни божий,
Об иной судьбе,
Со своей не схожей.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ГРАЖДАНИНА»

Теперь не бьют в России ямщиков
(За наименьем, видимо, последних),

И те не наследят у нас в передних,
Кто жнет на нас, к идеям не готов.

Но, гражданин начальник Достоевский,
Прислушайтесь, униженно молю:
Борений духа бульканье и плески
Я косным ухом что-то не ловлю.

А, если нет чего-чего читать,
То как живи? — сказал один татарин.
Вы стакнулись с рептилиями, барин,
И вымерли, чтоб сраму не видать!

И лишь один сопит и пишет книжки,
Хоть век ему сказал понятно: нишкни!

* * *

Пинцетом взяв за плоть, приставишь к слогу слог —
Нет, лезет, подлый, вон! — а вот бы был пирог,
Когда б зараз вложить согражданам ума.
Да рифмы не найду на слово «Кострома».
Все дело в гласной У, в бубенчиках, игре.
Искусство, муза, фук! Великий Пан умре,
Отечество бурлит, а мы с тобой сидим
И скажем ли чего, то знает Бог един.

.....
.....

Ну что ж, пора за труд! Окрест клубится мрак.
С гвоздя снимает шут звенящий свой колпак.

* * *

И вот она — бездна. И вот они — мы на краю.
Я вижу, здесь тесно, и все же я тут постою.
Зачем мы родились, я точно сказать не могу,
Но, Родина если зовет, отвечаю: угу.
А, кроме того, подтверждаю, что соль солона,
Что с ближней горушки Япония вся не видна,
Что gloria mundi, как щепку, сжигает судьбу
И пылью бесплотной, искрясь, вылетает в трубу.

* * *

!

Мне шел тогда шестнадцатый. В Москве
Как будто вечно чьи-то именины,
На кухнях гул: Читали? — Ну, конечно!

И виселицей на полях «Полтавы»
Лицейский пир еще не омрачен.

Как он бы нам теперь казался жалок!

Еще была Ахматова жива,
И пел Булат о двориках арбатских...

II

Взлетели цены. Началось безумье
Специальных школ, лечебных голоданий,
Подсвечников со львами и тарелок,
Парящих над Театром на Таганке.
Великий Чаплин шел в Иллюзионе.
С сеанса выйдешь, глядь — а век-то новый!
Мы — вундеркинды, мы его экстерном
С полвека проскочили — с баррикад
До декаданса. В довоенном френче
Тень императора являлась в электричках,
И многие бежали за три моря.

* * *

Возьмите, врата, князи ваша...

Пс. 23

— А какого вы, ребятушки, роду-племени?
— От Бориса, от Глеба,
От овчинки в полнеба,
От дуги, коромысла,
Да от галльского смысла,
От Нерчинска, от Шилки,
Где кушают без вилки.
— А что вы, ребятушки, на земле делали?
— Пили да ели,
В бумагу смотрели,
По пятым, двадцатым
Считали зарплату,
И научились, при помощи электричества,
Переводить качество в количество.
— А чего вам, ребятушки, от Меня надобно?
— Чтоб пожар выше ели,
Да портки не сгорели,
Чтоб к чинам бы — да души,
А на вербе — да груши,
Временам бы — да связи,
Воротам бы — да князи.

ОЛЕГ КОЧЕТКОВ

Родился в 1947 году в Коломне. Работал на Коломенском тепловозостроительном заводе имени В. В. Куйбышева токарем, слесарем-сборщиком, бетонщиком, литсотрудником в заводской многотиражке. Служил в Советской Армии. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Автор четырех поэтических книг.

ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

В порыве рьяного безбожья,
И без сомнений правоты,
К немому, белому подножью
Он шумно сбрасывал кресты.
От них окрест земля гудела,
Крестилась старость в стороне...
А он свое с улыбкой дело
Вершил, не по своей вине...
Ветра вселенские, сквозные
Навылет продували плоть.
Высоты грезилась иные,
Казалось, сам себе — господь!
Клубилась даль новейшей верой,

Плескался лозунгом кумач.
Он был в текущих буднях первый,
И был он молод и горяч!
...Теперь сидит, жует газету
Про свет крещения Руси,
Давно в ней лозунгов тех нету,
Куда все канули — спроси!
Вся жизнь была в преодолениях,
В ней так все было нелегко!
Но дело здесь не в угрызеньях
Усталой совести его.
Хотя на ней — такого столько,
Хотя не сам он здесь — при чем!
....Не согревает перестройка
Его взыскующим лучом.

* * *

И все о деньгах, как о цели,
Пристрастье к дачам и машинам
(Мы в этом так поднаторели!),
Но ведь не хлебом же единым?..
Трава колыхнется чуть видно
И каждый шаг в себя вбирает.
На свете славно и обидно,
Неужто свет не понимает.
Ведь равен чуду каждый выдох,
И каждый вдох — подобен тайне.
И день замешен на обидах,—
Диалектично, не случайно!
Поскольку он — в любви к ближним,
В мерцании души высокой.
Все остальное — тленом лишним
Аукнется в мечте далекой.

* * *

За горами, долами и весями,
За последним студеным ключом —
Путь железный мы строили с песнями,
Как положено, и с кумачом.
И с авралами, как и положено,
Шли по вечной, по мерзлоте.
И газеты вещали восторженно
О досрочности, эти — и те.
А тайга отходила испуганно,
Уводила зверье за собой.
По бульварам сосновым и струганым
Походили мы вдоволь с тобой!
Прокалились ветрами студенными,
Покормили всю комарье!
А теперь только стук за вагонами,
И забытость, и... забытье!
Опустевших поселков ветшание...
В них одни только ветры живут.
Мы сдержали свое обещание,
Мы досрочно закончили труд.
Все казалось — на голову вырастим,
Нам прибавится много всего,
Только выстроим, вот, только выстроим!
Вот и выстроили, а — для чего?..

ЗАРОСШИЙ ПРУД

Заросший пруд, осока да куга,
Развалины старинного поместья,
В дрожащей поволоке берега,
Расплавленно сверкает поднебесье!
И пегий мох на пасмурных камнях,
Стрекозы над крапивой, лопухами.
Уже столетье в нескольких шагах
Здесь барышня вздыхает над стихами.
В панаме белой, в платье кружевном,
Через разруху, тлен и катаклизмы —
Сидит себе на камушке своем,
Дыханьем той, исчезнувшей отчизны.
Ты не спугни такой счастливый миг:
Ветла над камнем солнечно струится.
Над этим миром мертвых и живых —
Шуршит листва, как вечные страницы.
Гляди, гляди, с душой почти пустой,
Дитя материализма и застоя,
Как шмель над камнем кружит золотой,
Отыскивая время золотое...

* * *

И я тут был... Пил мед да пиво,
Не все, но — попадало в рот.
Какой мы утренний народ,—
Все верим в пламенность порыва,
Хоть выше головы — забот!

Бескрайний путь, на все — четыре!
И доля, вольная, как свет.
И сумрак незабываемых лет,
И вера — не напрасны в мире,
Нам нет еще предела, нет!

Все верим в искреннее слово,
В понятие — благородство, честь.
В ошеломляющую весть,
В дыхание родного крова.
Еще в душе у нас — все есть:

Простор небесный, ветер хлесткий,
Раскрытых храмов забвенье,
И в чистом поле — воронье,
Мерцанье реющей березки,
Не просто жизнь, а — смысл ее!

ТАМАРА БАШМАКОВА

Родилась во Владимире в 1939 году. Работала на Владимирском тракторном заводе, на комбинате Трехгорная мануфактура имени Ф. Дзержинского.

Печаталась в журналах «Москва», «Советская женщина», в альманахе «Истоки».

* * *

Нужно ли мне спасенье
В мире каком-то другом? —
Нужен мне сад осенний,
Старенький серый дом.

Я и сама спасала,
Многое я могла...
Зло предо мной вставало,
Взор застилала мгла.

Долго невзгоды длились,
Ливень бывал жесток.
Мне и самой молились
Деревце, кустик, цветок.

Чьей-то была грезой,
Ну а теперь ничья...
Пусть обернутся слезы
Струйкой лесного ручья.

Знаю, одно озаренье
После прошедших вьюг
И в заревом цветенье,
И в откровенье рук.

Я на земле хранима
Тем, кто дорожке дня,
Шедшим со мной незримо
И осенявшим меня.

И потому не манит
Ввысь астральный полет.
Пусть на тихой поляне
Снег на меня сойдет.

В горнем краю немало
Вспомнивших этот снег...

Где-то звезда упала...
Кто-то вскрикнул во сне...

Кто-то в полях злѧком,
Кто-то травой-одолень —
Каждый своим знаком,
Но победит тень.

Тучи небо закрыли,
Только путь мой не тот.
Пусть на демонских крыльях
Ель меня вознесет.

* * *

С теплой колыбели
В тихом уголке
Дух наш предан елям,
Нивам и реке.

Не сочту же бредом —
Так всегда, везде —
Дух поэта предан
Воле и звезде.

И в какой-то мере
Тайно в эту ночь —
Вся природа, верю,
Сможет мне помочь.

Голубое пламя
Моего ребра —
Ты лети, пылая,
Своточем добра.

Ты всеильным станешь
В мире синевы,
До Плеяд достанешь
И очей совы.

...Прикоснись к былинке,
Победившей тень,
Нитку паутинки
Трепетно задень.

Сон-травы незримо
Ты коснись в лесу.
Слышишь, мой любимый,
Я тебя спасу.

Знай, что у покорной
Есть большая власть,
Раз от бездны черной
Отвратить взялась.

* * *

Видно, зорька не напрасно
Развела огонь в печи.
На заре кокошник красный,
С позолотой, из парчи.

Лес, за балкою глухою,
Чтоб не видела заря,
Осторожно темной хвоей
Укрывает глухаря.

Не достичь сюда лукавой —
Обожжет студёный ключ,
А кустарник у канавы
Очень цепок и колюч.

Дятел смотрит на низину,
Хочет лесу он помочь —
Вся в рябиновых рубинах
Не покажется ли ночь?

Выйдет ночь из бересклетов,
Где прохлада прилегла.
Будет ночь в наряде цвета
Вороненого крыла.

СЕРГЕЙ ПОТАШОВ

Родился в 1935 году в Новгородской области. Окончил Высшее военное инженерное училище. Работает журналистом. Печатался в журналах «Советский воин», «Юность», «Новый мир», в альманахе «Поэзия».

* * *

Коренной крестьянин
по рождению,
То и дело подмечаю я,
Что готов поддакнуть в осужденье
Доли деревенского житья.

Может, потому, что вместо каши
Досыта накормлен лебедой,
До сих пор в не лучший свет
окрашен
Детский быт с недетскою нуждой.

По примеру бойкого соседа,
Запасаясь чиненым барахлом,
Я отверг прадедовское кредо
С топором, телегой и ведром.

И скитаясь по российской шири
Под проклятья злomu январю,
Я давно о городской квартире
Как о высшем благе говорю.

Лишь весной как будто онемею.
Все мне снятся черные поля.
Кажется, вот-вот и я сумею
Дотянуться до тебя, земля.

* * *

Легкой доли отпечаток,
Баловавшей нас,
В доме выпячен достаток
Для досужих глаз.

Благородством первородным
Веет от шпалер.

Гарнитуром самым модным
Дразнит интерьер.

Телевизор лучшей марки,
Пышный ворс ковров.
Книги, графика, подарки
Согревают кров.

Даже зелень — память лета! —
Место обрела.
Только детству в доме этом
Не нашлось угла.

ОТЦАМ-ЛИТЕРАТОРАМ

В фолиантах жизнь
красным-красна:
Слез в обрез, дозированы
вздохи...

Хорошо же Ваши письма
Корчевали память об эпохе.

Но пробилось, как весной ростки,
Исподволь, вещая о печали,
То, что вырубали из строки
Или от страницы отлучали.

Вслед за Вами взявшись за перо,
Постигаем по обмолвкам скудным,
Скольку за Иудино добро
Плачено радетелям паскудным.

Дав обет: дорожек не торить,
Обо всем, с чем на веку
встречаться,

Добываем право — говорить,
Убиваем право — отмолчаться.

ВЯЧЕСЛАВ СПЕСИВЦЕВ

Родился в 1943 году в Москве. Руководитель Московского экспериментального театра, бывший руководитель и создатель молодежного театра-студии «На Красной Пресне». Публикуется впервые.

* * *

Я начинаю каждый день словами:
«Помоги им».
Тем, кто болеет,— помоги без боли.
Тем, кто упал,— подняться помоги.
Голодным — хлеба,
Осужденным — воли,
Богатым и всесильным помоги.
Слепым увидеть, а глухим услышать,
Любви лишенным — встречей помоги.
Всем помоги — и злым, недобрым тоже,
Дай им понять.
Убийцам помоги.
Они ведь жертву пред собою видят —
Не дай им загубить железа и души.
О, помоги тому, кто помощи не просит —
Просить о помощи не поздно никогда.
Я выхожу на улицу — там людно.
В автобусе и давка, и слова.
И кто-то встал мне на ногу и крутит —
Каблук и остр и меток, как всегда.
О, помоги тому, который крутит в злобе —
Ведь он мой брат, товарищ,
Помоги.

* * *

Облака плывут по проводам.
Стирают пыль ненужных разговоров.
Стирает смерть
 с ладоней все узоры,
Ей не нужна мирская суета.
На провода приходят облака,
Деревьев ветки — струны задевая —
И музыку печальную играя,
Тревожат галок и ворон слегка.
Последний раз я говорю с собой,

* Гонорар за эту публикацию автор перечислил в Детский фонд.

Мол, нужно быть спокойным к полшестому.
 Последний раз, а дальше тонкий провод.
 Темнеет рано — облако, постой.
 Вот проплывешь последнее, а там —
 Спокойное и тихое — ну, здравствуй.
 Остановить никто тебя не властен.
 Займи секунду, я потом отдам.

КАЛЕНДАРЬ

Испит июнь,
 Распят июль,
 И август на исходе.

Сентябрь убит,
 Октябрь гудит
 Опять о непогоде.
 Январь клянется
 Верным быть.
 Февраль — любить.
 А март — родить.

В апрельском хороводе,
 На блюде мая —
 Вновь июнь,
 Который был уж вроде.
 И так с июля по январь —
 Слетает птицей
 календарь.
 Другой висит на
 стенке.
 Срываю дни,
 как с молока
 Снимал я в детстве
 пенки.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД УЧАЩИМИСЯ ПТУ

Профессия — ни дворник, ни поэт, ни каменщик,
 кузнец или настройщик,

Одна профессия на свете — человек.
 Подлец, завистник. Добрый. Злой.

Лишь инструменты...

Профессией немногие владеют.
 Она присуща великому профессионалу —
 Богу,

И вечная профессия — она.
 Извозчик, летчик —

преходяще все это.

Мотору жизни — человеческий мотор,
 Который в нем самом.
 Стучит, горит и освещает, и двигаться велит ему

туда,

Куда добра иль зла колеса поведут,
 направят,

Машину-тело.

Тот человек — строитель, землепашец.
 Да здравствует кузнец и пекарь,

человеком ставший.

Обладевайте с ранних лет профессией

необходимой людям:

«Человек»!

* * *

Гомер.
Анакреонт.
Сафо. Овидий.
Хайям. Руми. Саади. Рудаки.
Бабур. Нова. Басё. Ронсар. Дю Белле.
Вийон. Петрарка. Данте. Руставели.
Парни. Кабир. Камознс. Низами.
Блейк. Ломоносов. Третьяковский. Бо-цзюйи.
Державин. Сумароков. Нарекаци.
Крылов. Жуковский. Баратынский. Кантемир.
Фет. Беранже. Бараташвили. Тютчев.
Уитмен.
Пушкин.
Гёте. Гейне.
Байрон.
Кольцов. Некрасов. Петефи. Шевченко.
Верлен. Полонский.
Лермонтов. Мицкевич.
Тагор. Гюго. Пшавела. Гедерлин.
Бернс. Шелли. Кохановский. Рильке. Сендберг.
Лонгфелло. Такубоку. Элиот.
Волошин. Эминеску. Хьюз. Верхарн.
Готье. Бодлер. Неруда. Бальмонт. Белый.
Мачадо. Вазов. Маяковский. Мандельштам.
Есенин. Пастернак.
Блок. Северянин. Надсон.
Цветаева.
Словацкий. Гумилев.
Ахматова.
Аргези. Заболоцкий.
Яворов. Хлебников.
Галчинский. Соловьев.
Хил. Бунин.
Брюсов. Прешерн.
Элюар. Альберти.
Багрицкий.
Унамуно.
Квазимодо.
Асеев. Анненский.
Рембо. Аполлинер.
Тувим. Светлов. Маршак. Твардовский.
Брехт. Лорка. Иванов. Рубцов.
Жупанчич. Луговской. Превьер.
Одной строки — итога в этом звучащем древе не хватает.
Но мне не сочинить
ее —

лишь повторю
снова я и снова.

Гомер.

Анакреонт.

И так с начала
до конца

* * *

* * *

Раз руки
Разлукой
Пробиты насквозь.
Прощенье дарует
Заржавленный гвоздь.
Раз очи
Разочек
Решились взглянуть
И неба

кусочек
В себя зачерпнуть.
Раз пальцы
Распались,
Свечей не зажечь.
Палач наготове
И радостный меч.
Раз уши,

Разувшись,
Услышали звон,
Откроются двери,
Появится он.
Раз тело
Растерзано,
Значит, душа
Попросит прощенья.
А тело — гроша.

* * *

Домой?
Зачем?
К друзьям?
Не просыпались.
Отец?
Зарыт.
И храм по пятницам закрыт.
Тогда! Туда!

ТЕБЕ (Лёле)

Я зарифмую век
Войною, хлебом, солью,
Но только ты мне верь,
Что я лечу над полем.
Но только не кричи,
Когда свернусь и брошусь.
Останется в ночи
Звезда на платье — брошка.

Беременен наш век,
Но разродится скоро
Обратным током рек
И охлаждением моря.
Но ты, молю, тебя,
Не разрывай объятья,
Не опускай глаза,
Они — печать зачатья.

Они круглы, как страх,
Но в них, помимо боли —
Я вижу, что лечу,
Что я лечу над полем.

ЭЛЕОНОРА АКОПОВА

Родилась в Москве в 1955 году. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Участница VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

Стихи печатались в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», журналах «Студенческий меридиан», «Молодая гвардия», альманахах «Поэзия», «Истоки», «День поэзии», коллективных сборниках.

ПЯТИДНЕВКА

Радуюсь ли, грустя
(кажется, нет больней!) —
бродит мое дитя
пять одиноких дней.

Как научилась жить
девочка без меня?
Что я могу вложить
в два нерабочих дня?

Замуж-то нас берут,
чтобы детей рожать.

Только уж больно крут
надо ответ держать!

Кажется, я должна
благодарить судьбу...
Что же лежу без сна,
руки прижав ко лбу?..

Так-то оно, шутя,
славно детей растить.

...Если мое дитя
сможет меня простить...

* * *

Подростшие мальчики сорок первого,
в шеренгах стоя,
вы тоже в войну играли, наверное,—
до первого боя.

Подростшие мальчики нашего двора,
в пылу разгона
вы тоже, наверное, кричали «ура!»
до первого стога...

«Еще не кончено... еще живу...» —
глазницы в небо.
Вы остались раскинуто лежать во рву
до первого снега.

* * *

Как Вам скитается в темных заоблачных далях?
Худо ли, плохо, а время как будто текло.

Детская память.

Кому Вы ее передали?

...Мерзлая ветка неслышно скользит о стекло.

Как этот мир сотворен беспощадно и мудро!

Вечное солнце легко совершает круги.

Как оно пристально,

Ваше последнее утро.

Как тяжело в тишине замирают шаги.

Что с Вами будет?

Во тьме исчезает дорога.

В черную высь протянулся невидимый след.

Ваши глаза остывают спокойно и строго.

Медленно зреет

обычный декабрьский рассвет.

* * *

Первые в жизни

Прогулки без цели...

Тошно одной,

И друзья надоели.

Скуку моих полудетских годов

Помнит коток

Патриарших прудов.

Был ли мой мир

Непростительно узок?

Я выростала из маминых блузок.

В зеркале маялся

Хмурый двойник,

Властвовал запах зачитанных книг.

Тусклое зарево лампочки матовой,

Пухлый растрепанный томик

Ахматовой.

Приступы гнева.

Соблазны грехов.

Первые строки несмелых стихов.

Таинство роста

Постигнуть непросто.

Что там творится

В душе у подростка?

Длинные вздохи.

Скрипенье пера.

Что за причина не спать до утра?

Первые в жизни

Уроки доверья.

Полосы света

Под маминой дверью.

Мама, усни! Не тревожься зазря!

Скоро над миром

Займетса заря,

Сладко задышится

Зеленью росной,

Скоро я стану до ужаса взрослой,

Скоро я буду

Серьезной вдвойне.

Детства так мало

Отпущено мне...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В. Казакову

Июль был холодный,

и пахло зимой.

Август был очень жаркий.

Август был несомненно мой —

мне все приносили подарки.

Обычно дарят духи и цветы,

и всякую там косметику...

И мне дарили духи и цветы,

и мало-помалу отметили.

Смешные слова говорили мне —

и вечные и случайные.

А еще три розы принесли не мне,

розовую, красную и чайную.

...Поздние сборы и тихий смех,
и чьи-то глаза нечаянные.
А те мне понравились больше всех
красная, розовая и чайная...

* * *

А снег пойдет
и все переиначит.
Пойдет тягуче, вязко,
 словно мед.

В моем окне упрямо замаячит
и белизной зрачки мои сожмет.

А снег пойдет,
скрывая все изъяны,
внезапно став негаданной судьбой.
Пойдет,
шатаясь,
 медленно и пьяно,
и поведет куда-то за собой.

ВИКТОР СМИРНОВ-ФРОЛОВ

Родился в 1942 году в деревне Каменская Московской области. Работает экскаваторщиком на стройках Москвы.

Автор книги стихов «Ковш».

ЖАВОРОНОК

Еще задолго до рассвета,
Не виден, будто невесом,
Взлетел он ввысь будить планету,
Забыв совсем про птичий сон.

О чем — над речкой и лугами
Звенит он, днями напролет?
Вы догадаетесь и сами...
Когда он вдруг не запоет.

ЛЕСНОЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Желтая хвоинка
В диск спиленного дуба
Воткнулась...

И услышал я
Мелодию тоски
По дубу.

БЫВШИЙ ХРАМ В НОВО-ЕГОРЬЕ

Деревца залезли
Обезглавленному Храму
На плечи.

Мало им разве места
Средь большой их
Лесной
Родни?..

А впрочем, это вовсе
Не озорство природы,
А безрассудство
людей.

* * *

Взлетела птица из-под ног
И вмиг
на небосклоне
скрылась.

Вот так умчаться б
От тревог,
Но нет у человека крыльев.

Его удел —
Не улетать
Ни от тревог
И ни от бедствий...
Он к испытаниям должен встать,
Свою заслониться честью.

НИКОЛАЙ КАПИТАНОВ

Родился в 1950 году в Калининской области. Работает художником-оформителем. Стихи публиковались в журналах — «Студенческий меридиан» и «Дружба», в коллективных сборниках «Молодая гвардия — 83», «Молодая гвардия — 84», «День поэзии», «Истоки», «Турнир», «Почему я пишу о войне».

* * *

Думы водят меня по осеннему парку,
и тяжелы мои шаги по листьям пестрым.
В киосках еще торгуют водой,
но близкие ливни отменят эту
продажу.

Комната кривых зеркал на замке,
а заведующая смехом продает на аллее
последние астры.

Карусельные цепи качаются ветром.
Сам карусельщик с хитрым лицом
правит ножи на точильном кругу
в деревянной
будке.

Такое надвинулось...
Но все об этом молчат, точно боятся
признаться себе, что в городе
властвует осень.

ПУГАЛО

Беспомощный, как ребенок.
Не взмахнуть рукавами, не закричать,
когда, не боясь, по грядам разгуливают
вороны...

По ночам тебе еще хуже.
Скрипнет дерево или всхлипнет
ненастье —
не убежать, не кликнуть на помощь.
Только вздрогнешь от страха
и еще крепче прижмешь пустые рукава
к воображаемому сердцу.
...Осенью, когда огород пуст,
ты брошен на произвол времени.
Гнет тебя пасмурный ветер,
хлещет пронзительный дождь,

и забирается холод под ветхую
одежонку.

А ты стоишь, отрешенный, и улыбаешься
чему-то своим нарисованным ртом.

* * *

Кончен день. И новое утро сорвет
афиши, приклеенные усатым мужчиной
в черной шляпе.

Ты давно заметил его, развешивающего
заголовки спектаклей и фильмов.

И сейчас он с торжествующим лицом
привлекает внимание города.

Старые афиши — не выбрасывает.

Он заворачивает в них уходящий день
с красным, еще не остывшим закатом.

* * *

Из города вывезли все статуи.

Их свалили на берегу реки,
как мертвых.

Белые тела поблескивали при лунном
свете.

В полночь одна — встала,
огляделась вокруг и, пошатываясь,
побрела прочь, как странница.

Следом подымались другие статуи
и молча шагали в город.

Все — до последней.

* * *

Ночью дико птицы закричали.

Стекла в рамах темные дрожали.

Я проснулся, замер у стены.

И лежал, как будто на вокзале,
где меня когда-то провожали
из родной залесной стороны.

Я пальто

осеннее накинул...

Взглядом мглу студеную окинул —
что же, птицам улетать пора.

На крыльце высоком — из осины,—
вспоминая жизни половину,
просидел до самого утра.

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института. Работал учителем в сельской школе на Тамбовщине, старшим научным сотрудником Государственного музея Н. А. Островского. Печатался в журналах «Дружба народов», «Сельская молодежь», в газете «Московский комсомолец».

* * *

Надо всем быстротечность царит, точно бог.
И во всем — быстрота, быстрота.
Не успеешь из горлышка сделать глоток,
Как бутылка «Кодрянки» пуста.

Не успеешь за талию даму обнять,
Как твоя эта дама, твоя.
Не успеешь с женой развестись, как опять
Создается тобою семья.

И душа удивленьем все время полна:
Как же быстро дни в Тартар летят.
Не успеешь на свете понять ни хрена,
Как летит за тобою Танат.

ЭСКАЛАТОР. ПЕЧАЛЬ

Городской народ
По делам спешит:
Кто-то вверх идет,
Кто-то вниз бежит.
Кто-то увидел
Два зрачка родных —
Больше никогда
Не увидит их.

ТВОЯ ПРОВИНЦИЯ

Э. С. Зенченковой

Кинотеатр, клуб, два книжных магазина.
Печальное ТВ — провинциальный быт.
Но где ты осознал, что в мире есть рябина,

ЛЮБОВЬ ЩЕРБАТОВА

Родилась в Вильнюсе. Окончила Московский государственный университет, факультет журналистики. Работает корректором.

* * *

Мне не страшно уйти — я была этой мокрой землею,
Этой мягкой землею с ее перегнившей листвой,
Я бродила под соснами дымно-пунцовой зарею,
И скрипела старуха сосна над моей головой.

Я вдыхала прохладнейший запах земли на закате —
Запах хвои, истлевшей под снегом, и талой воды.
Куковала кукушка — слышнее по сизой прохладе.
Мать-и-мачеха слабо желтела из бурой слюды.

И спокойно мне было. Спокойно, как в детстве бывало.
Не выпытывай, сердце, куда мы с тобою зашли,
Не мути тишины — там душа глубоко и устало
Жизнь вдыхает, вбирает, как запах апрельской земли.

* * *

Не памятью бессилия и зла,
Не горькою надеждой на спасенье —
Лишь правдою прощального тепла
Вернись ко мне, последнее мгновенье!

Там боль моя свободна навсегда
От горечи и муки доживанья.
Там плавится смертельная беда
В пронзительной печали пониманья.

После Армении

Прозрачные октябрьские дни —
И ветка абрикоса близ Гарни.
Сухая, нестерпимо золотая
В нагорной молодой голубизне,
Она сегодня вдруг приснилась мне —
Сухая, в чистом солнечном огне,
Перегоревшим золотом сверкая...

Портрет

Сколько веры и сколько утрат!
Сколько веры и воли и муки.
Этот точный и медленный взгляд
И надбровные долгие дуги.

Эта ровная складка у рта —
Непреложная мета терпенья.
Эта пристальная простота,
Различимая в каждом движенье.

Эта ясная память — до дна,
Сколь бы глухо судьба
ни молчала.
Эта матовая седина —
Точно зимнего утра начало.

Возвращение

Так узнаёт любимого лица
знакомый свет и зимние морщины.
И чудилось, рассказам нет конца,
но первый не дошел до середины.

И был второй втореньем тишине,
которая из милых глаз глядела,
а третий был неверен, как во сне,
и оборвался вдруг... Тогда запела

и медленно, и чисто, как звезда,
живая память отжитой разлуки.
И низкий звук тянулся, как года
неразделенной нежности и муки.

* * *

Не застыла, не забыла —
Все со мною, что любила,
Все вернулось, все со мною.
А ценой — для всех одною...

* * *

Е. К.

Из тьмы молчаний и утрат,
Из будней, бедных поневоле,
Синеет мне твой первый взгляд —
Пытливой нежности и воли.

И проступает, как была,
Твоя улыбка из тумана —
Так растревоженно светла,
Так бережна, так долгожданна.

* * *

Говори, когда кончатся силы,
И на сердце земля — говори!
Говори, как у края могилы,
У полосы последней зари.

Разве ложью когда-нибудь станет
Отпустивший нам муку из мук,
Радость радостей наших —
не канет
Победивший отчаянье звук!

* * *

Душа встречается с судьбой,
И на единое мгновенье
Жизнь обретает лад и строй
Глубокий, как сердцебиенье.

Горячий полдень, и покой,
И память, сплавленные туго.
...Душа встречается с судьбой,
Как люди, выстрадав друг друга.

* * *

Прощаюсь каждый день,
Все реже возвращенья,
И все длиннее тень
Последнего прощенья.

А там уже готов
Прощальный дар без меры,
Последний из даров —
Труд памяти и веры.

НАША АНКЕТА



МОЛОДЫЕ — О СЕБЕ

Почти тридцать лет назад, в 1962 году, журнал «Вопросы литературы» (№ 9) провел среди тогдашних молодых писателей анкету «Молодые — о себе». Казалось бы, срок этот не такой уж и большой, особенно в масштабе истории отечественной литературы, но, с другой стороны — это немалая часть жизни поколения, которое тогда только начинало свой творческий путь. По-разному складывались судьбы тех молодых, много было на их пути трагического, сложного, как и во все времена нашей литературы. Были взлеты, падения, было счастье и были сомнения, была честность на грани риска, но был и конформизм, смирение, а то и просто стремление выжить. Все это не исчезло, не погибло, так как навсегда зафиксировано в произведениях писателей, отразивших их талант, время, в которое они жили, уровень их совестливости и даже то, что когда-то Пришвин называл «поведением в жизни». Разные имена, разные судьбы, достаточно назвать только некоторых, чтобы стало ясно, сколь непредсказуема литературная стезя писателя в самом начале — участниками анкеты были Василий Аксенов, Василь Быков, Ояр Вацциетис, Андрей Вознесенский, Владимир Гордейчев, Иван Драч, Евгений Евтушенко, Юрий Казаков, Наум Коржавин, Виталий Коротич, Владимир Костров, Отар Чиладзе и другие. Иные вопросы, на которые пришлось им отвечать, кажутся сегодня наивными, на них лежит явная печать времени, например: «Как Вы понимаете долг писателя в формировании в людях новых, коммунистических качеств?» — с учетом нашего сегодняшнего знания современной истории, общества, когда возвращаются общечеловеческие ценности, происходит духовное и культурное возрождение народов — такая постановка вопроса представляется идущей в русле директивного отношения к художественным ценностям. Наивными, в духе времени, кажутся и некоторые ответы, вроде: «Коммунизм проходит через сердце» (А. Вознесенский). Кому-то, наверное, теперь хотелось бы, чтобы он не говорил тех слов, которые были сказаны в другую эпоху, но из песни, как говорится, слова не выбросишь, да и для понимания писателя, истоков его развития, «распада» или метаморфоз — такие признания чрезвычайно интересны.

Мы решили тоже провести подобную анкету в своем альманахе, учитывая, что произошла смена поколений в литературе, появились новые интересные поэты, которые активно участвуют в современном поэтическом процессе. Что думают они о себе, о своем творчестве, как складывается их творческая судьба, с чем они идут к читателю, — вот круг проблем, в котором мы хотели разобраться. Некоторые вопросы (1, 2, 3, 4, 5) мы умышленно взяли из той давней анкеты, чтобы через ответы на них увидеть, как меняется мировоззрение поколений, их культурный, нравственный и общественный тонус. И тот, кому захочется сравнить уровень мысли, глубину оценок двух далеко отстоящих друг от друга поколений, сравнив эти две анкеты, убедится, как изменились все мы за последние годы, насколько свободнее, глубже, ярче стали молодые писатели наших дней (даже самые рядовые ответы нашей анкеты показывают значительный шаг вперед в сравнении со старой).

К разговору мы пригласили тех молодых поэтов, кого уже хорошо знают читатели, чей голос узнаваем в современном поэтическом мире. Мы считали, что будет естественным, если вслед за высказываниями поэтов, раскрывающими их творческую и жизненную позицию, читатели смогут познакомиться и с их стихами.

1. Какой жизненный опыт предшествовал началу Вашей литературной работы? Когда и где были опубликованы Ваши первые произведения?

2. Какие проблемы, характеры, конфликты современности Вы считаете актуальными? Существует ли для Вас понятие: «изучение жизни»? В чем это изучение заключается?

3. Как Вы понимаете долг писателя? В чем он?

4. Какие традиции в классической и современной литературе близки Вам? Какие искания в области художественной формы представляются Вам наиболее перспективными?

5. Кто из писателей старшего поколения оказывал Вам творческую помощь, в какой форме она выражалась?

6. Сегодняшнее время резко меняет наше отношение к действительности, к прошлому, смещает акценты в оценках многих событий — в связи с этим не пересматривается ли Вами Ваше творчество, не находите ли Вы в своей предшествующей работе то, от чего бы Вы без сожаления отказались, за что испытываете теперь чувство стыда? От чего Вы не откажетесь никогда?

7. Считаете ли Вы свое поколение счастливым или трагическим — и почему? Каким Вам видится его будущее?

РЕДАКЦИЯ

МАРИЯ АВВАКУМОВА

1. Не очень веселое детство на севере, первая «оттепель» в стране, переезды родителей, учеба в нескольких школах, смерть матери, Казанский университет с его ленинской закваской, журналистские практики в Башкирии, на Алтае...

Но вернее будет сказать, что процесс литературнойковки и обрастания опытом жизни идет «ноздря в ноздю» — от самого момента рождения литератора (я — фаталистка).

Рифмовать я могла лет в десять. Уже тогда у меня завелась первая грошовая записная книжечка, где томились мои рифмы. Но... первой публикацией был рассказ, написанный на конкурс городской газеты. Рассказ был пустой, насквозь выдуманный, предновогодний. Года через два другой, более серьезный рассказ опубликовала газета «Советская Татария». Мне было девятнадцать лет. Первая журнальная публикация стихов была в «Новом мире» в год смерти Твардовского.

2. Да все!.. Уж коль они — «конфликты и проблемы современности». А изучать жизнь можно разве что в той степени, в какой ученик изучает своего учителя. Жизнь сама беспощадный учитель — наблюдающий, испытывающий, провоцирующий нас с целью покорения слабых в битве материального и духовного. Это, собственно, и есть главный, донельзя обострившийся сейчас конфликт: желание скорейшего рая вне духовности. А это ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Насытить человека, может быть, и удастся. Но сытый человек, лишенный духовности, не осознающий своей космичности, — не лучше зверя. И вот

итог — Природа уже мстит насильникам во образе человеческого, «сбрасывает нас с себя, как назойливую вошь» (говоря словами В. Распутина).

3. Долг писателя... Наверно, у каждого свои долги. О своем долге я не могу сказать лучше, чем то сделал Бетховен: «Прежде чем отправиться на поля Елисейские, надобно оставить после себя все, что дух внушил мне».

4. В этом вопросе я не слишком сильна — не умею и не люблю теоретизировать. Но правдоискательство и правдозаступничество литераторов при условии снайперского и нежного владения родным языком представляются мне тем, что можно причислить к святым делам, к жизнетворчеству. «Пусть страдалец утешится».

Над второй частью вопроса я вообще рассуждала очень мало. Но... считаю перспективными не искания, а возвращение к некоторым, безвинно утраченным, элементам этой самой художественной формы. Это мое ощущение странным образом сопрягается со стремлением современного социума вернуть кое-что из утраченных, втоптаных в грязь богатств народного духа, культуры. Сейчас умное движение назад важнее жеребяческого галопа вперед к не истоптанному еще краю луга. Так и в стране литературы.

5. Е. Евтушенко, Н. Старшинов, О. Чухонцев.

Первый, будучи в Казани, прочитал некоторые мои сочинения, данные ему без моего ведома, и увез в Москву, в «Новый мир». Мне же, в мой замазученный городишко, пришла бандероль с книгой «Идут белые снеги...». Это событие переположило половину города: все знали об интервью Евтушенко для «Штерна». Для меня же это неожиданное событие обернулось столь же неожиданным образом: мою рукопись, единогласно рекомендованную казанскими литераторами к изданию, стали усердно мять и ломать, возвращать на доработку и т. д. Не помогло ей, конечно, и предложение Евтушенко бесплатно ее отредактировать. От рукописи, ощущая китайскую стену препятствий, я в конце концов уехала. И выход первой моей книжечки случился только через десять лет. Что же сделал для меня Евтушенко? — примерно то же, что делает с человеком звезда, залетевшая в его полуподвал, — озаряет к новой жизни.

В выходе первой моей книжечки мне помогал Николай Константинович Старшинов. Вот человек не слов, но дела. Время нашего с ним общения — несколько пятиминутных встреч — оказалось достаточным для возведения надежного мостика доверия, расположения или чего-то подобного, светлого... Если где и появлялись, пусть и в допустимой дозе, дорогие мне строчки, то это в альманахе «Поэзия».

Олег Чухонцев тогда никого и нигде не издавал. Он вел в «Юности» одну из поэтических групп «Зеленой лампы». Я притянулась на свет личности Чухонцева, вычитанной в его единственной тогда книге. Образ жизни в литературе, человеческая чистоплотность, тем большая, чем нечистоплотней становилось окружение, общество... раздражающее многих достоинство — были и остаются для меня магнитом и примером.

Всем им — поклон и благодарность.

6. Нет, стыдиться мне особенно нечего. Вот разве того, что позволяла редакторам стричь и брить, а надо бы просто забрать рукопись и хлопнуть дверью. Тут мой жесткий характер оказался более женским,

чем мужским. Но мне ничего не оставалось: нужно было думать не только о психее, но и о психике, точнее, о ее ошметках.

7. Трагическим. Вопрос «почему?» лишний. Будущее поколения?— «печально и темно». Многие перекованы из сошки в ложки. Многие подорвали здоровье задолго до пенсионера. Многие ушли куда глаза глядят. Поколение завравшихся, извертевшихся, без царя в голове, в лучшем случае заспавшихся... паноптикум печальный. Исключения погоды не делают.

Перемятые крылья бабочек не вырастают вновь. Переломанные крылья птиц хоть и срастаются, но высоты уже не те... Сейчас многие впадут в еще более глубокую хандру и оторопь, а кто помоложе, поздоровее, попытаются наверстать упущенное, догнать время. Увы, все это уже было (вспомним постдекабристский шок). В спешке чудеса творения едва ли возможны. Да к тому же чудеса — товар штучный.

Предлагаю быть готовыми к длительному процессу оздоровления российского тела.

КОМАРОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

О стыд за свою бестолковую участь:
строку отщипнуть, у ненастья украсть
иль, клянча у сосен чухонских могучесть,
угрюмо влюбиться и в ноги упасть —
на зимний песок, обнаженный капелью,
на стылый, упрямый, упругий, сырой,
и стать захотеть (ты была уже елью),
да, этой — терзаемой всеми — землей.

Цветком обездоленным в землю вдавиться,
узором невнятным — в пластину ковра,
который стирается, мокнет, пылится...
где жизнь простирается — мрет и двоится,—
сродниться, сравняться с землей пора.
О веснах другой вдохновеннее скажет.
Моя же сегодня медлительна кисть.
О лень предвесенняя, сонная тяжесть
влачить эту участь по имени б ы с т ь.

* * *

Что небу эти муки жданья...
сомненья жалкие... терзанья...
неразглашаемые сны?
В каких подпольях мирозданья
и кем они сотворены?

И так умру, как все на свете,
как только изнеможет плоть;

невидимые пытки эти
зачем, зачем тебе, Господь?
Как будто что-то с этой болью,
не измеряемой числом,
освобождается на волю,
не постижимое умом,—

сырье неведомых энергий
тончайших и волшебных свойств.
Без коих Космос — как Тиберий,
один, без войск.

* * *

Душа бережет себя не для того ли,
чтоб ей продержаться подолее тела?..
Чтоб не добрались и не вспороли
ее позолоченной спицей вертела.

Душа бережет себя даже в вертепе.
Она бережет себя, если в наличье.
Она притаится, затихнет затем лишь,
чтоб некогда выпеть наличье по-птичьи.

О береги себя, неженка плача,
нянька, шарманка... может, и выйдет.
О береги себя, вечная прачка:
что там, за смертью, надо ж увидеть?!

* * *

В СТАРОМ ДОМЕ

Г. К.

Жить бесполезно. Так зачем
сей раскаленной сковородке
мы жертвуем буквально всем,
еще и хнычем: век короткий?

Зачем и жить, чтоб убивать,
терзать, шпынять, в грязи
валяться
и яростно сопротивляться
тому, чему б давно внимать?!

Но разве что когда-нибудь
тот узел физики разрубят,
коль исхитрятся как-нибудь
и прежде — мира не погубят.

В тишине задремавшего мира
только примутся звезды сиять,
забываешь о мерзостях мира
и о том, что мутит от кефира,—
приготовься, как звезды, сиять.

Только луч наведешь на кого-то,
как над самой твоей головой
кто-то стиснет когтями кого-то,
визг поднимется, вой...

Дыбом волосы над головой.

Жизнь чердачная, мрачная,
мчится:

кот зацапал растяпу синицу,
крыса губит кого-то опять.
Ну а что уж там в бурю
творится —
то сквозь бурю тебе не слышать.

Потолок!.. потолок нависает.
Не пускает в ту жизнь — наверху.
Но, кондовый, и он не спасает.
Но и сквозь потолок потрясает
сатанинская жизнь наверху.

* * *

В золотой, горемычной отчизне,
где запутался вещей народ,
в безнадежной глухой укоризне
бедный сеятель света живет.

Он безжалостно знанием измучен,
но не с тех праотцовых страниц;

он бесплодно и пошло обучен
у давно окольцованных птиц.

Едет к югу иль к батьке в болота,
ест по-барски иль пьет натошак —
это он, если надо, пехота...
это он, если надо, ишак.

Переласкан дорожною тряской,
перепоеен водою живой,
взвидел он,
что живет не под красной —
под тяжелой, клыкастой звездой;

взвидел — как она «ласково» лижет
по головушке русый народ,
а лучи ее ниже и ниже...
а слова ее — с душеньки рвет.

* * *

М. Л.

«Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду».
Но это знать не дадено безгрешным,
зато и в монастырь я не пойду.

Я неизбежным в жизни напиталась;
случайно там и сладость попадалась,
я так любила пряник смаковать,
что с праздника мне приносила мать,
и милого задуматься привычку,
как райскую подглядывала птичку,—
в пустыне так, когда песок горит,
любуеться на изумруд харит *.

«Случайное, являясь неизбежным...» —
написано на карточке тобой.
От этих слов сначала веет нежным...
потом грозой... потом самой судьбой.

* Харита — птица с зеленым оперением, жительница теплых стран (санскр.).

1. Жизненный опыт формируют судьба и случай, но обостренная жажда самовыражения заложена в генах. У меня все началось с рисования, а в отрочестве пришли стихи, как наиболее удобный для характера выход творческой энергии. Этот выбор объяснялся скорее всего нелепой смертью отца и первыми юношескими увлечениями.

Начинал я в полных потемках, ибо в провинциальном закавказском городе вряд ли можно было найти человека, способного объяснить законы стихосложения. Спасительный путь виделся один, известный еще со времен чеховских сестер,— в Москву!.. И она встретила провинциала, встретила крайне неприветливо. Начались знакомые многим годы бездомных скитаний и трудных поисков. Думаю, хроническая неустроенность быта во многом сказалась на колорите стихов, которые были чужды тогдашнему официозу. И здесь, чтоб выжить и окончательно не потерять веру в себя, мне как воздух был необходим прецедент первой публикации. Это событие произошло только на 29-м году жизни, когда при самой активной помощи Вадима Сикорского в «молодежном» номере «Нового мира» появилась моя довольно большая подборка. Потом началась «цепная реакция»: «Юность», «Лит. учеба» и т. д.

2. Меня не устраивает сама постановка вопроса, его заданность. Жизнь — не пособие, ее не изучают, ею живут. И от того, как и чем живут, зависит конечный результат творчества. А «изучение жизни» — банальное клише, возникшее из уродливого толкования социального заказа в условиях социалистического реализма.

3. Никто никому ничего не должен. Талант, совесть и любовь к Родине — субстанции произвольные. Именно они обогащают литературный процесс и культуру. А понятие долга — понятие, по нынешним временам, чисто демагогическое, которое выгодно тем, кто хочет управлять литературой сверху и видеть в писателе своего вассала и должника системы.

4. По-настоящему больших поэтов не так уж много, и потому не имеет смысла повторять хорошо известный всем список имен, где разночтения, как правило, минимальны. Что же касается наших дней, то тут еще много неустоявшегося, и для очевидца событий нет нужной резкости фокуса, «большое видится на расстоянии». Но об одном поэте сказать необходимо. Это — Иосиф Бродский, обладающий удивительно долгим и поразительно естественным поэтическим дыханием. Многие его стихи написаны не строфами, а большими периодами, открывающими, на мой взгляд, новые горизонты версификационных возможностей. В целом же сегодняшний русский стих несколько консервативен. Многим поэтам не хватает внутренней свободы, раскованности, собственного взгляда на вещи. Отсюда и истерзанность ямба, и унылый традиционализм, и подозрительное отношение к белым стихам, не говоря уже о верлибре и других словесных поисках, которые неизбежны в русской поэзии конца 20-го века.

5. Со всегдашней благодарностью вспоминаю свои редкие встречи с Евгением Евтушенко в самом начале семидесятых годов. Этот знаменитый человек помог мне поверить в собственные силы. На его семинаре,

который он некоторое время вел совместно с Винокуровым и Сикорским, я познакомился со своими будущими друзьями и каким-то образом попал в столь необходимую для начинающего литературную среду.

6. Пересматривать собственное творчество — дело непродуктивное и даже опасное в таком возрасте. Можно разочароваться. А чувство стыда я никогда не испытывал, ибо давно и твердо верю в свое предназначение как поэта.

7. «Счастлирое» и «трагическое» — две крайности. Моему литературному поколению долго и активно мешали состояться. В результате — кто-то спился, кто-то умер, кто-то уехал. Устояли, возможно, не самые лучшие, но не надо излишне драматизировать ситуацию. Зловещая инерция сталинского режима в равной степени действовала на всех. И потому в наше жестокое обнаженное время, когда на второй план уходят многие духовные ценности, надо сообща подумать о будущем, если оно у человечества еще есть.

1972

1

А жил я в доме, возле Бронной,
Среди пропойц, среди калек.

Окно — в простенок, дверь —
к уборной,
И рупь с полтиной — за ночлег.

Большим домам сей дом
игрушечный
Старомосковский — не чета.
В нем пахла едко, по-старушечьи
Пронзительная нищета.

Я жил затравленно, как беженец,
Летело время кувырком.
Хозяйка в дверь стучала бешено
Худым стервозным кулаком.

Судьба печальная и зыбкая
Была картиной и рассказом,
Когда она, как мать — над зыбкою,
Спала, склонясь над унитазом.

Или металась в коридорчике,
Рукою шарила обои,
По сыну плакала, по дочери,
Сбежавшая с офорта Гойи.

Но чаще грызли опасения.
Теряя временную связь,

Кричала: «Сбегай к Елисееву!..»
Глубоко за полночь стучась.

Я в это время окаянное,
Средь горя и макулатуры,
Не спал... В окне гаддели пьяные,
Тянуло гарью из Шатуры.

И я, любивший разглагольствовать
И ставить многое на вид,
Тогда почувствовал, о Господи,
Что эта грязь во мне болит.

Что я, чужою раной раненный,
Не обвинитель, не судья...—
Страданий страшные окраины,
Косая кромка бытия...

2

Как обозвать тот год, когда
в пивных

Я находил забвенье и отраду
За столиком на лавках приставных,
Вдыхая жизни крепкую отраву?..

Еще не зная что и почему,
В квартире у татарина Джангира
Я пил вино в махорочном дыму
Жестокого расхристанного мира,

Где спутник тебе — конвоир
И где проводник — не Вергилий.

Туда, где муштра да посты...
Я многое дал бы, о Боже,
Чтоб сделаться камнем простым,
Лежащим на бездорожье...

1973

* * *

Мы — горсточка потерянных людей,
Мы затерялись на задворках сада
И веселимся с легкостью детей —
Любителей конфет и лимонада.

Мы понимаем: кончилась пора
Надежд о славе и тоски по близким,
И будущее наше во вчера
Сошло-ушло тихонько, по-английски.

Еще мы понимаем, что трава
В саду свежа всего лишь четверть года,
Что может быть единственно права
Похмельная, но мудрая свобода.

Свобода жить без мелочных забот,
Свобода жить душою и глазами,
Свобода жить без пятниц и суббот,
Свобода жить, как пожелаем сами.

Мы в пене сада на траве лежим,
Портвейн — в бутылке, как письмо —
 в бутылке.
Читай и пей! И пусть чужой режим
Не дышит в наши чистые затылки.

Как хорошо, устываясь в пустоту,
Лежать в траве среди металлолома
И понимать простую красоту
За гранью боли, за чертой надлома.

Как здорово, друзья, что мы живем
И затерялись на задворках сада!..
Ты стань жуком, я стану муравьем,
И лучшей доли, кажется, не надо.

1976

ПЕРВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

В шашлычной шипящее мясо,
Тяжелый избыток тепла.
И липнет к ладони пластмасса
Невытертого стола.

Окурок — свидетельство пьянки
Вчерашний — в горчишницу врос,
Но ранние официантки
Уже начинают разнос.

Торопят меню из каретки,
Спеша протирают полы
И конусом ставят салфетки,
Когда сервируют столы.

Меж тем посетитель фронтально
Сидит — от прохода левой —
И знает, что жизнь моментальна,
Бездумна, как пух тополей.
Легка — от ступни до затылка —
Блаженно опустошена...
К руке прикипела бутылка,
И хочется выпить вина.

И он вспоминает, как силою
Желанья
завлек ее —
Кустодиевски красивую
В запущенное жильё.

Туда, где в диване вспоротом
Томила трава морская
И злым сырмятным воротом
Душила тоска мужская.
Туда, где немыслимо питься
И страсть устранила намек,
Когда распахнула платице,
Слепя белизною ног.
Когда опрокинула плечи,
Когда запорошила взгляд...

Казалось, в Замоскворечье
Он любит сто лет назад.
Казалось, что в комнате душной
Сквозь этот ленивый стон
Услышится стук колотушный
И колокольный звон...

Красавица влажно дышала,
И думал он, как в дыму,
Что не миновать централа
И Первого марта ему...
Что после,
Под пыльной каской,
Рукой зажимая висок,
Он встретится с пулей китайской
И рухнет — лицом на Восток.
Что в спину земная ось ему
Вопьется,

а вдоль бровей,
Как пьяный — по зимнему озеру,
По глазу пройдет муравей...

В толкучке трагедий и залпов,
В нелепом смещении дней —
Безумие бреда!.. Но запад,
Идущий от кожи твоей,
Но шорох Страстного бульвара,
Но жажда ночной наготы...

...Вошла симпатичная пара,
Неся в целлофане цветы.
Сидит посетитель фронтально
К окну — от прохода левой —
И знает, что жизнь моментальна,
Бездумна, как пух тополей,
Легка — от ступни до затылка —
Блаженно опустошена...
К руке прикипела бутылка,
И хочется выпить вина.

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

1. Всерьез я начал писать стихи, испытал потрясение: смерть отца. Проводя долгие часы на лавочке, врытой у могилы, научился любить природу, хотя, конечно, любил и до этого, бессознательно. Впервые напечатался в районной газете «Красное знамя» в 1969 году.

А вероятно, самое первое стихотворение (по воспоминаниям старшей сестры) написал в три года.

2. Проблемы, характеры, конфликты современности хорошо высветила в последние годы публицистика. Помогать ей средствами поэзии может не всякий поэт (помогать впрямую, кратчайшим путем), да это и не беда. Беда в том, что современную поэзию заполнили неоконъюнктуристы. Пять лет назад у них в каждой подборке присутствовало стихотворение-«паровоз» о Красной площади или серпе и молоте, теперь о сталинщине или проститутках. И к прежним конъюнктуристам, и к новым редакторы относились и относятся неизменно хорошо. А «паровозы» эти пора отправлять на кладбище паровозов, так как в их вагонах-строфах «женщина не засмеется, не запоет солдат».

...Изучать жизнь, я думаю, можно и в одиночной камере, лишь бы душа работала. А специальное изучение — это всегда какой-то монокль в глазу, отгораживающий от жизни. Даже в отличном стихотворении Пастернака этот монокль присутствует: «Превозмогая обожанье, я наблюдал, Боготвора...»

3. Долг писателя — сопротивляться тому случайному, наносному, что противно его природе, не брать на веру сиюминутную официальную пропаганду, как можно дольше противодействовать «амортизации души», считать себя должником всех и одновременно считать, что он никому ничего не должен. Как это совместить — каждый решает сам.

Есенину многие с разных сторон говорили, что он должен то, это и еще это. Что из этого получилось и кто прав — мы теперь знаем.

4. Традиция нравственных исканий. Что касается формы — мне кажется, в современной поэзии нередко игнорируется звук, звучащие паузы, в которых содержания больше, чем в назойливой информатике, демонстрации игры ума. С собеседником, который подчеркивает постоянно, что он умный, ироничный, непростой (о, какой непростой!), я бы долго не просидел.

5. С моими первыми стихами много возились Владислав Бахревский (писатель, руководитель Орехово-Зуевского литобъединения), Римма Казакова, Николай Старшинов. Последний — больше всех. Много значат они для меня, если сам я хоть что-нибудь значу.

Как может оказать поэт творческую помощь? Конечно же, в первую очередь — своими стихами, а также, при личном общении, доказательством того, что лирический герой, и автор, и дух святой между ними — это неделимая троица. Такими троицами для меня являются еще Алексей Решетов, Юрий Кузнецов, Анатолий Чиков.

6. Чувство стыда я испытываю за несколько стихотворений стенгазетного характера, написанных на агитпоездах и, к сожалению, охотно принятых в центральных изданиях. Есть и другие слабые стихи, которые я не собираюсь перепечатывать. К некоторым стихам отношение сложнее. Вот, например, строки об умерших родителях: «Ведь не в двадцать, не в дымной траншее повстречали нелепую ночь. Ведь бывают же смерти страшные — так себе я пытаюсь помочь». Теперь я бы ни за что не стал бы так себе помогать, а тогда, видимо, было...

7. Я не помню примера счастливого литературного поколения. А что касается своего, то его лучшие представители барабанных стихов в годы застоя не писали — они писали много о настоящей боли, а разве это не противодействие бездумности и бездуховности? Мое поколение, по нынешним меркам, еще довольно молодо, работоспособно. К тому же застало мир в его минуты роковые — в этом и трагедия, и счастье.

* * *

Прав я, что роман

 стацил наш с полки,
Робко сдунул с переплета пыль.
Украду тебя, и кривотолки
Не смутят побегов наших быть.
Целовать святое разрешает
Отче наш. И разрешает — страсть.
Вот они, кто за меня решают.
А потом не страшно и пропасть.

* * *

Коль родная мне будет не рада —
Я скажу ей, покой сохраняя:
— Я дурак, я — персона нон грата,
Я исчезну в течение дня.

А когда я очнусь среди рая
И увижу, что это не сон,
Улыбнутся мне, стол накрывая
На десяток таких же персон.

И когда возгремят наши речи
И равнинные песни — взброс,—
Ветерок принесет издалече
Горсть ее расколдованных слез.

К ЛЮБИМОЙ

Прочь катись та проклятая ступка,
Где сумел полжизни истолочь,
Нынче — ночь решенья и поступка,
Славная, отчаянная ночь.

Нынче ничего не под вопросом,
И у чувства риска — все права.
Кружевами тлеет по откосам
Серая отжившая трава.

Убивать пространство —
 где он, метод?
Что за расстоянья на Руси!
Этот телеграфный столб и этот,
Господи, скорее пронеси!

Сделай так (в твоей ведь это сила!),
Чтобы сбылся мой полночный
 бред,—

Чтобы ничего не изменили
Эти полтора десятка лет.

И еще: когда за дверью плотной
Я расслышу голос и шаги,
Помоги смирить в глазах голодный
Огонек безумья и тоски.

Мне б — галантерейность
 в разговоре,
Ведь она росла на милом вздоре.
...Хлестаков — мой идеал уже.
Пусть пуста. Да разве ж это
 горе! —

Мы потянем на одном моторе —
На моей обугленной душе.

Господи, прошу совсем немного:
Только б не спугнуть ее с порога,
В ней бывшее наше воскресит!
Ты ведь знаешь способ,
 знаешь метод.

...Этот телеграфный столб и этот,
Господи! Скорее пронеси.

* * *

Поэту И. С.

Ресторан писательского клуба.
Витражами забрано окно.
Здесь читать стихи, конечно, глупо,
С этим здесь покончено давно.

Коль на сердце детская обида
Иль иное горькое в груди,—
Ты сюда, где делят рынки сбыта,
Отдыхать душой не приходи.

Бог там с их дремучими делами,
Но — Ивана вижу я в углу!
— Как ты, Ваня?
— Завтра еду к маме! —
Кулаком по скользкому столу.

Износил он три матросских робы,
Два номенклатурных пиджака,

Я люблю балбесов высшей пробы,
Я люблю Ивана-чудака.

Принимаю Ванينو известье
С толикой сомнения теперь,
Ведь и год назад на этом месте
Ваня ехал к мачехе, под Тверь.

У него есть мачеха под Тверью,
Ночью покидая этот зал,
Год назад Иван ошибся дверью
И опять на палубу попал.

Он в пустой стакан глядит устало,
Гневно отменяет мой вопрос:
Нет, она его не послала
Собирать подснежники в мороз!

...Вздрогнул пол, и встал немного
косо,
И поплыл, и задрожал слегка,
То — под клубом выросли колеса
По велению Вани-чудака.

Тише вы, с дремучими делами,
С суетой бессмертной литвозни,
Не мешайте — Ваня едет к маме.
Он доедет к маме, черт возьми.

ИВАН ЖДАНОВ

1. Вполне обыденный с точки зрения обыкновенного человека, каковым, собственно, и являюсь: школа, деревня, где родился, начало работы на заводе. Вполне законен другой вопрос: мог ли писать, окажись этот жизненный опыт другим? Не мы выбираем жизнь, а жизнь выбирает нас, но делает она это, имея в виду какие-то цели, которые не всегда понятны нам. Она всегда держит своего избранника в ситуации выбора. Из преодоления хаоса, из сопротивления энтропии постепенно возникает смысл, свободный от иллюзии и скороспелой завершенности. И не она подсказывает, а сам человек доходит своим умом, предшествует ли опыт души простой житейской опытности. Если иметь это в виду, то биография человека, который сознает себя как результат многих и многих поколений, такой его жизненный опыт страшно велик. Но и не он опять же решает дело. Из этого еще не следует, что такой жизненный опыт находит свой голос, свое разрешение в данном человеке. Тут уж многое зависит от воли того, кто впутался в эту историю не по своей воле. Как зависит и от того, какое место он отводит этому опыту в иерархии ценностей, которую ему внушила жизнь, данная ему для отсчета. И начал я писать поздно — в 20 лет, а печататься и того позднее — в 30. И если это так важно: первая моя публикация была в газете «Московский комсомолец».

2. И вот потому-то, если понимать свою жизнь не просто как нечто данное для отсчета, выражение «изучать жизнь» имеет смысл. Человек изучает себя прежде всего, свою жизнь, а она не так уж мала и во времени, и в пространстве, если она не замкнута рамками послужного списка. Одинокий человек неизбежно делает одинокими и других, он ненароком, непреднамеренно вносит свою лепту в энтропию беспомыслства. И дело не в ошибках, от них никто не застрахован. Как нельзя отделить от своего «я» какую-либо часть своего тела, так и от жизни своей нельзя отделить нужные тебе и совсем бесполезные дни, заполненные чужим или даже чуждым опытом. И если одиночество и богооставленность являются доминантой во времени, в обществе, человек не может в одиночку справиться с их преодолением. Конечно, его борьба для него единственная, конечно, он совершает ее наедине с собой, но не мир вокруг, а мир в нем, если он хочет добиться победы. Это может быть и счастьем, если ему хватает своих маленьких побед, но это значит, что жизнь от-

брасывает его на обочину, а не тащит его в свою сердцевину, может быть, и вопреки его воле. Это может быть счастьем, если человек не осознает этого, с такого и спрос соответственный. Но если человек может это осознать и пытается отвертеться от осознанного, тут дело пахнет самозванством, потому что и в малом единоличное препоручение себе собственной роли не что иное, как самозванство. А в наше время все характеры и конфликты зациклены именно на этом.

3. Долг — это синоним дара: смотря кем и для чего он дан. Если понимать дар как единоличное владение, то он слепо будет подстраиваться к подгонке под ответ, который заранее известен. Как будто главное у хромого — его костыли, а они — несчастный казус, и только, а не часть его «я». Быть равным себе, даже когда все вокруг заражено неравенством, — долг. Отрекаться от своего «я» ради всеобъемлющей пользы — одолжение.

4. Как в классической, так и современной литературе мне близки традиции авангарда. Авангарда в широком смысле этого слова. То есть традиции того, что противоположно зарежиссированному существованию как результату иллюзорного всезнайства, сработанного на века и зафиксированного на собственной окончательности и неподвижности. Авангард создает не просто эффект присутствия, а эффект соучастия даже в том времени, даже в той жизни, которые никоим образом не являются фактом твоей биографии. В этом смысле любые «искания в области художественной формы» вполне перспективны. Потому что такая форма более внутри, чем снаружи. А искать форму снаружи — значит подгонять под ответ.

5. Так уж вышло, что так называемую творческую помощь я находил себе в книгах, личной помощи такого рода мне оказывать было некому. А жаль.

6. Этот вопрос как будто рассчитан на панический ответ. Но я никогда не считал себя профессионалом в литературе. А непрофессионал, по-моему, каждую вещь начинает с нуля. Это можно было бы назвать бесконечным «пересмотром творчества», если бы это хотя бы приблизительно отражало суть дела.

7. Моему поколению приходилось много сил тратить не в сражениях со словом, краской и звуком, а с тем, чтобы иметь необходимый доступ к этому сражению. Трагедия ли это? Нас, конечно, не рассовывали по воронкам, не морили голодом, мы не гибли на войне. Но и счастливыми нас не назовешь. Достаточно сказать, что мы научились понимать, что не в счастье счастье. Дело в другом. Это ведь тоже дар — возможность реализовать свой дар. А его невостребованность едва ли не равна его отсутствию. Но и это не трагедия. Может быть, она в том, что мы слишком рано поняли рассогласованность обломков культуры и невозможность привести их к согласованию.

ЗАВОЕВАНИЕ СТИХИЙ

1

Так возникает смутное пространство между рукой твоей и притяженьем земным, и что бы там не поместилось: весы, качели, виселицы, ямы —

орудия убийства или счета —
и сколько их? — и все они — всего лишь
продление руки для прирученья,
завоевания одной из многих
стихий, способных поглощать одних
другими — стало быть, и жертвы
там неизбежны и такая бойня
между сраженьем первым и последним,
что так не пожалеть о летаргии:
я весь объят отсутствием, я сплю.

2

Завоевание стихий подобно
отождествленью с тем, что приручаешь,
переливанью собственного «я»
в одну из форм, где радуется догадка,
что воскресенье все-таки возможно,
и не простым извечным переходом
из рода в род, из родины в народ,
а частным лицезрением событий.
Кто б смог картину от тюремной рамы
освободить, потряхнуть ее за угол,
чтоб море заплескалось, отрезвело
безобразной стихией, чтобы между
рукой и ветром мог возникнуть парус,
возникнуть и уплыть. И раствориться
в своей стихии, и осиротеть.

3

Чтоб стать огнем и чтоб овеществились
твой жар и гнев, достаточно устроить
между рукою и огнем свой долг,
свой изначальный грех перед системой
какой-нибудь, с которой ты сроднился
настолько, что она как состоянье
болящей кожи, рвущейся к всезненью,
горит, как пламя, и никто надежней
не смог бы так упаковать предметы,
чем тот огонь — куда нейтронной славе!
Все — от соборов до концлагерей —
он разместит на острие иголки,
его усилием вырванной из камня,
который мог бы стать краеугольным,
а это значит — точкою отсчета.

4

Я был, как письма самому себе
из будущего моего, оттуда,
где возраст, предназначенный на вырост,
уже заполнен прошлым до предела,
к тому же не моим, я был орудьем
для приручения его, дорогой
и путником на ней, и даже целью,
хранилищем, проводником, который
не мог меняться, изменять себя
без опасенья изменить себе.
И все-таки душа припоминает
сама себя и что она не только
всего лишь место где-нибудь в груди,
а то, с чем может вдруг отождествиться
пространство — как забытое письмо,
оставленное для тебя на случай —
между рукой и будущим твоим.

5

Есть горизонт у каждого предмета,
и он не обязательно внутри
него, а может быть снаружи.
Не потому ли кажется луна
намного ближе, скажем, чем Байкал —
ведь за Уралом все как будто рядом —
поскольку он далек от нас, как миф.
Таков же горизонт и у вещей,
во времени истаявших и ставших
друг другу ближе — и вдали от нас
они всю взаимопереходят,
дыша одним мифическим туманом:
и почему троянскому царю
не угодить в покои фараона?
Есть зона, где любая очевидность
предстанет мифом прямо на глазах,
едва столкнешься, где рука над миром
продолжена в незримом инструменте —
и это философский камень власти.

6

И кто-то там поет настолько тихо,
что тень летящей птицы неподвижна
и не дает уйти лишь потому,
что никого не держит, уступая

тому, что хоть чуть-чуть ему подобно.
Но ты был кровь, и ты, дающий душу,
был каждым и для всех, и неразменным —
ты, никогда не приручавший хлеба,
был предназначен каждому, как хлеб,
не умножал того, что умноженью
не подлежит — и ты был безоружным.
Был безоружным, но и тень креста
способна стать однажды инструментом.
Следы твои они заполнят пеплом,
влюбленной кровью и покорным жаром
и назовут все это возвращеньем.
Спас на безлюдье, на безрыбье,
Спас на пропасть и свергнутых высотах —
ты не чужой им, даже и таким
ты остаешься Спасом на бескровье —
так неподвижен твой уход, и следом
сирены на трещотках прокаженных
неслышному подыгрывают пенью.

7

Кто б мог подумать, что и ночь от солнца
и что она — всего лишь тень земли,
как тень простой какой-нибудь былинки,
которой только сил недостает,
чтоб с неба снять дневное покрывало
и приоткрыть сверкающую бездну.
Но тени нет у одного предмета,
который и предметом-то назвать
едва ли можно: тени у креста,
настолько свет его соправен солнцу
и даже ярче — потому оно
рождает ночь, отбрасывая тень,
как тот фонарь, что погасить забыли
в разгаре дня. А каждое страданье
могло б затмить и миллионы солнц.

НИНА ИСКРЕНКО

1. Мой жизненный опыт скорее типичен, чем оригинален. Легче всего охарактеризовать его с помощью знака отсутствия — отсутствия выбора, отсутствия понимания, отсутствия подлинно культурной среды, в основе которой лежит интерес к индивидуальным человеческим возможностям, отсутствие страха, надежды и каких бы то ни было стимулов к творческой деятельности вообще.

С детства мне внушали, что лучше быть посредственным инженером, чем посредственным художником. Следуя этой убойной логике, я оказалась на физфаке Московского университета, что было в общем-то не самым худшим. Посредственным физиком я так и не стала (к счастью для меня и особенно для физики), а просто долгое время занималась переводами научной литературы с английского на русский. Однако университетская среда всегда была относительно более открытой, что, с одной стороны, способствовало более гармоничному переходу от физики к метафизике, чему я, в сущности, и стараюсь посвятить все свое несвободное время, а с другой — облегчало частые перемещения по стране под теми или иными предложениями, сталкивающие с очень разными людьми и обстоятельствами их более или менее человеческого существования.

Первые публикации стихов и стихотворных переводов были, если вы помните, именно в вашем альманахе (1984—1985 гг.). Так что в некотором смысле вы напрашиваетесь на комплимент. Если, конечно, это можно считать комплиментом.

2. Понятие «жизнь» для меня в первую очередь ассоциируется с движением, понимаемым, разумеется, как всякое изменение вообще. Отсюда интерес к проблеме разных точек зрения на одни и те же вещи, проблема видения предмета или явления под разными пространственно-временными углами. Чем больше противоречивых мнений об объекте (человеке, системе, фантоме, etc.), тем полнее реализованы его потенциальные возможности или, наоборот, тем абсурднее сама возможность его хоть какой-нибудь реализации в потоке сиюминутной действительности, постоянно выскальзывающей из объятий Нагорной проповеди, уравнений Максвелла и других краеугольных сентенций, не одна из которых не является истиной в последней инстанции. Тем ближе он к тому, что мы называем, извините, сущностью мироздания.

Можно назвать это «изучением жизни», или даже познанием, хотя внешне этот процесс часто выглядит как элементарное чесание в затылке.

3. Не знаю, я стараюсь не делать долгов. По-видимому, я не писатель.

4. Меня привлекает прежде всего авангард в старомодном значении этого слова, то есть — пограничные ситуации, моменты перехода от одного типа мышления к другому, от Державина к Пушкину, от символистов к футуристам и акмеистам, от «шестидесятников» к метариализму и концепту и т. д. Именно в эти моменты всего заметнее пресловутое движение мысли, именно эту традицию я считаю основополагающей в искусстве — традицию скачкообразной («квантовой») замены одного художественного канона другим. Не лучшим (или худшим), а просто иным, более соответствующим своему времени. Что касается художественной формы, которая одна только и отличает искусство от других видов деятельности человека и от «просто жизни», то перспективным, с моей точки зрения, является любой путь, выявляющий новые, неизвестные ранее законы подобия вещей и понятий, воплощенные в новых метафорических структурах, или типах симметрии.

5. Лет до восемнадцати я, в силу своей поэтической безграмотности, относилась к поэзии с презрением, примерно как Лев Толстой, сравнивший ее с мужиком, который, идя за плугом, еще и приплясывает. Потом вдруг случайно попала на любимовский спектакль «Антимиры» в Театре на Таганке по стихам Андрея Вознесенского. Это событие ни много ни мало спасло мне жизнь, открыв глаза на реальную ситуацию в искусстве. Долгое время Юрий Петрович и Андрей Андреевич значи-

ли для меня гораздо больше, чем просто режиссер и просто поэт. Много позже я познакомилась с Вознесенским лично, и вот уже несколько лет он с помощью средств массовой информации пытается рассекретить для читателя и, главным образом, для издателя несколько имен, в том числе и мое (порой переоценивая наши скромные возможности, видимо, в силу своего неукротимого метафорического мышления). Так или иначе, я пользуюсь случаем поклониться кумирам своей юности. Хотя сегодня речь о спасении уже не идет.

Другая форма творческой помощи, которую я не могу не оценить, была оказана мне и моим товарищам Кириллом Ковальджи, поэтом и критиком, чей литературный семинар в «Юности» долгое время был чуть ли не единственным в Москве легальным прибежищем для разного рода «модернистов». Отличающие эту аудиторию широта вкусов и демократичность обсуждения особенно ценились в наши тяжелые лучшие годы.

6. До того момента, как официальное отношение к действительности стало меняться, моя так называемая «работа» была практически никому не известна и в этом смысле не имела никакого отношения к действительности. Так что у меня была полная свобода в расстановке акцентов, и сейчас нет особой нужды что-то менять, от чего-то отказываться, а тем более стыдиться. (Нищему пожар не страшен.) С другой стороны, как автор, пишущий довольно много, и просто как безалаберная женщина, я не тряусь над каждым текстом, многое отбраковываю или просто теряю, и примерно половину написанного вообще не собираюсь включать в книги, если мне представится, наконец, возможность издаваться. Но это вопросы профессионального и эстетического плана, а отнюдь не нравственной позиции или социально-правовых норм.

А вообще-то в известном смысле каждое новое произведение можно считать отказом от предыдущего.

7. Своим литературным поколением считаю клуб «ПОЭЗИЯ» и некоторых других авторов, близких ему не в смысле анкетного возраста, а по тому кругу идей и общему художественному пространству, которое они создают вокруг себя и существуют в нем независимо от внешних обстоятельств и чьего бы то ни было высочайшего разрешения. Что же касается счастливого и трагического, то, по-моему, оба эти состояния свойственны каждому, кому хоть раз в жизни удалось сделать что-нибудь действительно классное. Не уверена, что это можно отнести и ко мне тоже, но раз уж сегодня мне задают подобные вопросы, то, наверное, пора подводить некоторые итоги. Потому что будущее — это всего лишь медленно осознаваемое прошлое.

ИЗ ЖИЗНИ ТЕРМИНОВ

(протокол заседания комиссии по наименованию
и переименованию от 10.2.87.)

§

Концептуал концептуалу
шамбалит что-то про Шамбалу

На Ломоноса Ломонос
посматривает снизу вниз

Боксер боксирует навывлет
хотя ему никто не верит

Пенджаб пенджабит Халистан
так что стон
стоит

Шифер колетса о шифер
Любер к люберу летит

§

Интеллигент интеллигенту
с улыбкой платит алименты

Утюг утюжит вещмешок
и это никого не шокирует

Де Голль проигрывает в гольф
Продюсер едет в Дюссельдорф
А пар подьемлет аппарат

А что такое вспученный пирлит
куда передислоцирован Шестой флот
и какая погода на БАМЕ
вам объяснят в программе ВРЕМЯ

Не забудьте выключить телевизор
! ! !

§

Время	лучший	лекарь
Время	лучший	токарь
Время	лучшая	швея-мотористка
	лучший	прораб сантехник и академик

Время л у ч ш е денег
Время перемелется ВСЕ БУДЕТ

За паровозом паровоз

За профсоюзом профсоюз

За леспромхозом ОБХСС

Надо отметить ОТМЕТИМ

Необходимо учесть УЖЕ УЧЛИ

Мне хочется сказать СКАЖУТ

§

Любовь дается не любым
а розовым и голубым

§

Горький родился в Горьком
Калинин родился в Калинин
Иванов в Иванове, Сандро в Чегеме
Жванецкий ижвестно где
в Жванессе
А Владимир Высоцкий на безымянной высоте

МИР ХИЖИНЕ ВОЖДЯ

Одиножды один один
Четырежды один один
И сто пятнадцатью один все равно один
одинешенек

§

Два комсорга-металлиста
собираясь на тусовку
рассказали любопытный случай

Лимитчица Ника в строительной мўке
малярке Венере оттяпала руки
В ответ Венера не страшась молвы
лишила Нику головы

О вдовы Все вы таковы
Что в лоб Что по лбу Что по лбу
Что в ГлавАПУ

Убийцыдевичкиойдевичкиубийцы
У — БИЙ — ЦЫ — ДЕ — ВО — ЧКИ
Не забудьте выключить
 телевизор

§

Примитивист примитивисту
отъел
потом пришел на место
Премьер-министр придя с премьеры
померил пульс и принял меры

Комсомолец! Помоги рокеру!
Рокер! Не мешай комсомольцу
 помогать тебе!

ВСЕ СИЛЫ ОТДАДИМ БОРЬБЕ

От стресса

К стрессу

О
Т

С
Е
Б
Я

К

С
Е
Б
Е

Пример покажет пионер
Пример покажет милиционер
Пример покажет революционер
А контрреволюционер покажет контрпример

А прокурор проктолог и поэт
как немой с немой говорит

§

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Небо и земля

И воля

И земля

И небо

(заседание комиссии по наименованию и
переименованию продолжается)

ПЕРЕХОД НА КОЛЬЦЕВУЮ ЛИНИЮ

Один — какой — то — в — общем

ей уступил

полстула

и вынув (сигарету)

и проглотив (зевоту)

и вывихнув (затылок)

и выставив (сапог)

и уронив (газету с результатом матча между
одесским Черноморцем и Баку — Нефти)

Сказал (три раза через левое плечо)

Вы такая очаровательная
Можно я Вам спою по телефону
на итальянском языке?

Она сказала

!!! ??? \$\$\$ % %...

Можно

Она сказала

Между

Виндсерфингом и ленчем

нокаутом и клинчем

какао и борщом

Между Акутагавой Юрием Петровичем

Константином Кинчевым и китайской борьбой ушу

между мыльной нир — ванной и иллюстрированной

Бурдой

в общем между черной субботой

и Утренней почтой

Но учтите

Я дорого беру

.

Он выплюнул (подсвечник)

и вышел (как заложник) зажатый (как бумажник)

весь в пятнах (как булыжник)

он вышел шаркнув ножкой (за книжкой записной)

прикидывая Что это с ним Что это с ней

Что это со мной

Что это с нами со всеми

.

Кружился легкий снег

Сужался гибкий круг

Осторожнодверизакрываютсяследующаястанция-

Филевскийпарк

Походкой матадора

Он вышел из (клозета)

достал (из секретера)

посуду (и белье)

включил четыре точки

(два Шарпа и Хитачи

рефлектор кофемейкер и Маяк)

Кружился легкий снег

Сжижался крепкий смог

вскружинился снежавился и лег

Она лежит

а он ее (догоняет)

Как это романтично

Как это в стиле ретро

Как это ретромантично

Как это

Как это за чем
Как это ничего не понятно

.
Она стряхнула пепел
пролиставая (Босха)
Она была повозка бильярд и арабеска
из воска и слюды

Она была так близко
Все было очень близко
к оплате по труду
к полной самокупаемости и хозрасчету

КРУЖИЛСЯ ЛЕГКИЙ СНЕГ
ЗА ОКНАМИ ВАГОНА
ЗА ОКНАМИ ВАГОНА
ТУННЕЛИЛСЯ ТУННЕЛЬ
ЗА ОКНАМИ ВАГОНА
ТЕМНЕЛА ТЕМНОТИЩА
СКАКАЛА СКУКОТИЩА
ЧЕРНЕЛА ЧЕРНОТА

Она сидела прямо
с закрытыми глазами
с карманом на колене
с билетиком в кармане
картонная (как ширма)
воздушная (как шар)

Смелее сэр Ваш выход сэр твою сэр

.

Он в ы ш е л на Октябрьской
и встретив старого школьного друга
простоял с ним минут двадцать у табачного киоска
не зная о чем говорить

ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ

1. Наверно, здесь полагается перечислить анкетные данные — рождение, учеба, работа и т. д., то есть то, что обычно вписывается в анкету. С трудом себе представляю жизненный опыт отдельно от жизни. И уж совсем не представляю поездок, командировок по «изучению жизни». Думаю, что сплетение тени и солнечных пятен на лесной тропинке, дождь над тульской деревней, где я родился, разговор случайных попутчиков в

вагоне, картина Сезанна на выставке могут на равных войти в «жизненный опыт» и сыграть в жизни, может быть, главную, решающую роль.

Первые стихи были опубликованы в журнале «Юность» в марте 1971 года.

2, 3. Понятия «изучение жизни», как я уже сказал, для меня не существует. Такие понятия, как самопознание, самосовершенствование, наблюдение, сопоставление, размышление и многие другие, существуют, а это нет. Думается, что во все времена человек движется между двумя полюсами — жизнью и смертью. Здесь напряженная трагедийность его существования — в осознании собственной личной конечности и бесконечности природы, рода. Проблемы, конфликты, высвечивающие, обнажающие эту драматическую ситуацию (а, собственно, только ею и занимается, на мой взгляд, искусство), характер, которые проявляются в эти моменты, интересуют меня. Они всегда актуальны. В осмыслении этой основной коллизии человеческой жизни, в умении различить ее в повседневности, в частной незаметной жизни и в огромных социальных сдвигах, в возвышении каждого человека, каждого дня его жизни, который никогда не проживается даром, зря, и состоит долг писателя.

4. Мне близки и почтенные классические роман и поэма, и авангардные поиски, когда они наполнены живой кровью, когда они не «дело техники», а дело жизни. Форма и содержание — суть одно и то же, как жизнь и живой организм.

Все же здесь, на мой взгляд, большую роль играет интуиция. Писатель должен почувствовать, что та или иная форма в данное время не работает, из нее «ушло напряжение». Перспективны те искания, которые всегда сохраняют теплоту жизни, как бы непривычно и эпатажно они ни выглядели на первый взгляд.

5. Трудно назвать всех, ведь даже на отрицательных примерах можно учиться, а таким образом получать творческую помощь. Все же осмелюсь назвать Бориса Абрамовича Слуцкого, в семинаре которого я занимался несколько лет, и чьи строгие, взыскательные советы, а в большей степени весь его облик, характер помогали мне.

6. Собственное творчество, если можно так выразиться, должно безжалостно пересматриваться всегда. Не переписываться, не косметически прихорашиваться, не избавляться задним числом от ошибок и слабостей, а именно пересматриваться, избавляться от наработанных стереотипов, ремесленной «набитости» руки и чувств, жажды внешнего успеха, в конце концов, материального достатка. Процесс этот сокровенный, болезненный, но абсолютно необходимый. Пожалуй, от него постараюсь не отказываться никогда.

7. Трудно назвать какое-либо литературное поколение (кстати, сомневаюсь в корректности этого термина) счастливым или трагическим. Если счастье — максимальное творческое выявление своего времени, то, думаю, что нам до него еще очень далеко. Но трагедии в высоком смысле слова здесь тоже нет. Все-таки, литература — дело одинокое и штучное и так до конца и непонятное. Будущее не за поколениями, стройными (счастливыми или трагичными) рядами идущими в это самое будущее, а за одиночками, за сумевшими.

ЖАРА

Асфальт размяк, листва в испарине,
и город глух, как после выстрела.
Он весь лежит на дне аквариума,
вода давно откуда вытекла.

Архангел круг над ним вычерчивает,
над сетью улиц варикозной,
уже крылом одним зачерпывая
придвинувшийся сумрак грозный.

Уже он различает вывески,
влечет его поток воздушный
вдоль по реке, навеки высохшей,
где скушен ныне сад Нескучный.

Летун тяжеловесный Барлаха,
он раздувает ноздри жадно.
Он над Ордынкой и над Балчугом —
горячий, грузный, медножабрый.

Что протрубит и что расслышим мы?
Быть может, только этот шорох,
с каким уходит время вышнее
в семипалатинские норы.

Оно сыпучее, текучее,
оно чужое и родное.
Хожу по городу и мучаюсь,
как безъязыкий гуманоид.

УЗОР

Так безлик, что уже ни на что не похож
этот день суетливый, нечеткий.
А пороешься — все-таки что-то найдешь,
хоть узор на балконной решетке.

И не вспомнить, когда он и где промелькнул,
дряхлый, старый, не очень красивый...
Кто ковал его, стебли железные гнул,
что влагал он в крутые извивы?

Он трудов не жалел, чтоб железо цвело,
чтоб чуть-чуть позатейливей стало.
Словно время в изгибы его затекло,
хриплой ржавчиной весь обметало.

Тонкий воздух вскипает вокруг завитка,
меж волнистых бежит перепонок.
Этот ржавый узор сохранился пока,
оттого-то и воздух здесь тонок,

оттого-то и медлит прохожий. Душа
прозревает исток, размыкает преграду.
Взгляд, поймавший в полете раскосом стрижа,
острых крыльев размах получает в награду.

Там среди облаков голубеет прогал,
там и выше просвет показался.
Он в трясине времен не исчез, не пропал,
кто узор выгибал, завитушки ковал
и с забвением жадным тягался.

ЧЕРТАНОВСКИЕ ПРОГУЛКИ

I

Жизнь, а синоним ей только обида,
жесткий мороз пробирается в пах.
Встретил на днях за углом инвалида,—
скрючены руки, окурок в зубах.
Я содрогнулся — брезгливость и ярость,—
стало быть, нужен и этот урод,
здесь пресекается опыт и род.
Но нас разделяет не пропасть, а малость,
общий мороз нас курочит и жжет.
Мне повезло, а тебе не фартило,
мог бы и я, да о чем говорить.
Мне изводить бесполезно чернила,
душу сигаркой тебе усладить.
Не выдавай же обиду. И рожу
выверни, сплюнув кривою слюной.
Топай в своих кирзачах по морозу
за обмороженной, гнойной судьбой.

II

Так я иду в легком облаке пара,
в том, что окутало губы и нос.
Вправит мозги и подсыплет мне жару
красный, как яблоко, крепкий мороз.

Сразу объявится, что не до шуток,
что я не знал до сих пор ни аза,

тесен отпущенный мне
 промежуток,
жизнь моя рядом и смотрит
 в глаза.

Не было жизни милей и дороже
той, что была и сказала прости,
ею я призван, душою встревожен,
значит, так надо, я должен идти.
И постепенно, сойдя с тротуара,
как по ступенькам в неяркий
 рассвет,

я ухожу в легком облаке пара,
остановившись, глядя себе вслед.

* * *

И прошли облака надо мной,
что-то птицы мне вслед
 прокричали...

Отчужденный от жизни земной,
я бродил по огромной спирали.

Я касался рукою стены,
я шаги свои слышал, но все же
обступившей меня тишины
я ничуть не сумел потревожить.

Были тени, их прежняя стать
к ним, казалось, еще возвратится,
подходили вплотную —
 не мог я узнать
их чужие знакомые лица.

Их тела колебались, текли
под порывами тяжкого ветра,
и косые лучи из земли
рассекали кромешные недра.

Мне навстречу шел некто, иным
он казался, от всех отличаясь,
тьнь безмолвно скользила за ним,
он на флейте играл, поднимаясь.

Голос флейты стирался на нет,
рассыпался на мелкие блики,
и за ними роящийся свет
золотился и таял безлико.

И ко мне приходили слова
и сливались в гармонии чистой,
но они исчезали, едва
я влагал в них подобие смысла.

То не явью назвать и не сном,
и когда на каком-то из кругов
наши души смешались в одном,
то они не узнали друг друга

и едва ли постигнуть могли,
что сейчас их не смерть
 разлучила,
что есть нечто сильнее любви,
жизни, смерти, движенья светила,

есть такая упрямая власть,
и такое гудит там горнило...
И влекомы и время, и страсть
тяжкой центростремительной
 силой.

ГЕННАДИЙ КАСМИНИН

1. Точно ответить на вопрос о жизненном опыте мне трудно, поскольку под рукой нет трудовой книжки. Однако, прошу поверить на слово, я не тунеядец и с рабоче-крестьянской, а также прочей биографией у меня все в порядке. Первые 20 лет жил в селе, учился в школе, а позже — работал, чуть более 20 лет живу и работаю в городе. Конечно, фактография судьбы оставляет родимые пятна на творчестве, но способов познания жизни и ее живописания — множество, не только, скажем,

такой: увидел, пережил, понял, воссоздал в слове. Есть и эмпирический путь. Есть вымысел. Есть фантазия. Корифеи умели забежать вперед своего возраста и опыта, как, например 14-летний Лермонтов с его стихотворением «Смерть гладиатора», а Артур Рембо в 18 лет уже завершил свой творческий путь, чего мне, к сожалению, сделать не удалось... Именно в этом возрасте районная газета «Сельская жизнь» напечатала первую мою подборку. Теперь я сомневаюсь, что жизненному опыту стоит придавать решающее значение. Пегас крылат, и не надо привязывать его веревкой к колу, намертво вбитому в землю.

2. Однажды я видел в южноказахстанском городе Чимкенте, как двое бродяг роются в мусорном железном ящике и тут же отправляют в рот найденные заплесневелые куски колбасы, тухлые яйца, хлебные объедки. Тогда все это казалось частным случаем, а сейчас стало известно, что в стране более 40 миллионов человек живут за чертой бедности, в нищете. Этого достаточно, чтобы понять, в каком неблагоприятном государстве мы живем. Один выстрел из прошлого оказался пострашнее ядерного взрыва, потому что обречен на муки и смерть миллионы человек. Это допотопного носового орудия отозвалось в Чернобыле и в Афганистане, и как знать, не отзовется ли в будущем. Что делать дальше, чтобы наши дети не прокляли своих родителей — вот, наверное, самый острый вопрос для всех, независимо от рода занятий и положения в обществе. Тут и экономика, и нравственность, и культура, и, как результат, то ли всеобщая гибель в экологическом концлагере, то ли обретение утраченных скромности, смирения, простоты и отказ от пожирающего Землю потребительского инстинкта. В нравственном смысле, — шаг в прошлое и есть шаг в будущее.

Я живу в своем народе, у меня с ним все общее — и место в переполненном автобусе, и место в очереди за мылом и сахаром, так что для меня «изучение жизни» — праздный вопрос. Другое дело, что для писателя особенное значение имеет знание своей истории и культуры, откуда мы пошли и как шли, с какими потерями и приобретениями, — тут требуется действительное изучение, чем по возможности и заниматься.

3. Долгов у писателей много, мало кто знает, что большинство из них живет если не за чертой бедности, то на угрожающе близком расстоянии от нее. В другие долги, как-то: «долг перед народом», я не верю, поскольку никогда не был нахлебником, работал и, надеюсь, приносил какую-то пользу. У писателя только один-единственный долг перед самим собой: быть честным и талантливым, беречь от гнили и порчи свою совесть и не бояться говорить правду и президенту и мусорщику. Не надо заискивать и ставить себя перед народом в уничижительное положение. Писатель — не слуга народа, а недреманный страж любви, свободы, добра и справедливости, всего лучшего, что есть в человеке и должно в нем умножаться.

4. Наверное, без классической литературы крепостное право продержалось бы на Руси значительно дольше, а без современной — не были бы возможны сегодняшние перемены. Литература влияет на формирование народного характера и созидает историю. Мне дороги именно эти бесценные ее свойства, космическая сила слова, которым ко всему прочему, можно и «дождь останавливать». А скольких людей ли-

тература спасла от смерти, вывела из нравственного тупика, подсказала, как жить дальше.

Что же касается формальных экспериментов, то они, наверное, нужны для внешнего разнообразия, как какое-нибудь экзотическое блюдо на столе, но духовную крепость давал и будет давать тот же самый неизменный тысячелетний хлеб культурной традиции, не стоит только портить его разными химическими добавками. И если уж продолжать эту «пищевую» метафору, то я предпочитаю демократическую литературу без примеси эффектных, но вредных для физического и духовного здоровья языковых нитратов.

Впрочем, да здравствуют несогласные!

5. Когда-то в Саратове поэт Владимир Федорович Бойко помог мне впервые напечататься в областной газете. В Литературном институте я учился в творческом семинаре Льва Ивановича Ошанина. Однажды мне необыкновенно повезло, 15 лет назад случай свел меня с замечательным поэтом и исключительным человеком, с которым не расстанусь и по сей день. Он помогает мне словом и делом, очень редко хвалит, зато взывает регулярно, это не переоценить, считаю, что он для меня — и пример в литературе и жизни. Я спорю с ним, не соглашаюсь, слушаю его, с удивлением обнаруживаю в своем лексиконе его словечки и понимаю, как это важно, чтобы что-то перетекало от старшего к младшему, наследовалось, не забывалось. Дай бог, чтобы каждому молодому писателю повезло на такое человеческое родство и литературное отцовство.

6. Пока еще историю переписывают в большей степени журналистскими или художественными средствами. Сенсационные, «жареные» материалы неотразимо действуют на обывателя, особенно молодого, и, конечно же, заставляют, осуждая сталинизм, сталинскими же методами решительно приговаривать прошлое к вышке. Но действительная правда придет к нам чуть позже, когда откроются и ныне секретные архивы, когда зрелищная сторона истории уступит место серьезному научному исследованию. Пока же наша история, недостаточно добросовестно прокомментированная, стала инструментом в борьбе за овладение умами и душами сограждан. Я не тороплюсь просить свой булыжник в прошлое — там мой отец и мать.

Вместе с тем я никогда не был апологетом Хрущева, Брежнева, Черненко, никогда не воспевал существующий общественный порядок, не занимался идеологической иконописью. Есть только одно стихотворение, которое, может быть, свидетельствует о некотором моем малодушии, — «Уводит летопись далеко...». Его я не то чтобы стыжусь, но предпочитал бы, чтобы его не было.

Вообще-то я без особой любви отношусь ко всему, что написано и издано мною, можно даже сказать, абсолютно равнодушно. Но когда это писалось и издавалось, я верил, что это хорошо.

У меня нет чувства стыда за свои даже самые плохие напечатанные стихотворения. Не стыдятся же родители своего некрасивого или не слишком умного ребенка. Есть чувство несостоявшихся надежд, и оно, пожалуй, самое горькое. И тем не менее буду пытаться что-то сделать — это и есть мое «не откажусь никогда».

7. За моим литературным поколением разгул безвременья и упадка общественной жизни после оттепели начала 60-х. Первые наши книж-

Они велят построить дом,
Для стужи запастись поленьями...
Ударю в грудь—услышу: дон-н-н!
И на колени для моления.

Услышь меня, внимли, поверь,
Сойди ко мне под шелест веток,
Своим дыханием повеи
И дай влюбиться напоследок.

Мне нужно выплеснуть до дна
Всю кровь свою без сожаленья,
И пусть согреться она,
Пока в печи горят поленья.

И по-другому я взгляну
На юбки женские и платья.
Себя отдам и к ней прильну,
И не разжать уже — объятья...

БЕРЕГА

Ты помнишь, мы тогда еще
любили,
И с нами забредали в ту страну
Березы, словно курочки рябые,
Клевать и трогать синь и тишину.

Любовь была на лыке и мочале,
Она одна служила тишине,
И мы не говорили, а молчали,
Две жизни: я в тебе, а ты во мне.

Среди стволов, антенных
и высоких,

Среди пространств
В семь тысяч верст и лье,
Вода журчанье прятала в осоке,
И тихо-тихо было на земле.

Где длился мир, где нужно было
мало —
Всего лишь хлеб и кружку молока —
Из века в век несла и поднимала,
Как царских рыб, любовников река.

Теперь не то — веревки
да прищепки,
Да резкие удары по рогам,

Да ямы, да строительные щепки,
Да свалка на дороге к берегам.

Не думаю, что я похож на психа,
Когда брожу по реденьким
кустам,
Где иногда бывает тихо-тихо,
Но нет любви и не увидишь там.

* * *

Садится в глубине лесов заря,
Топорщится по молодости озимь,
И пушкинской строке благодаря
Дворянский герб свой сохранила
осень.

Чахоточная дева, ты опять
Бежишь в лавчонку покупать
румяна.

Светает поздно, а темнеет в пять,—
Все вовремя:
не поздно и не рано.

И если ты растерянна, смиришь,
Роняй листву и думай, дорогая:
В другом краю уже светлеет высь,
Там жизнь начнется вовремя —
другая.

И срок настал переходить туда.
И слушать по болезненной
привычке,

Как ночь идет, уходят поезда,
И от платформ отходят электрички.

И я с тобою слышу этот вой
И тонущие, стонущие звуки
Над рельсовой двойною тетивой,
Над встречей нашей в нежности
разлуки.

Не пройден час, не завершился
весь,
Еще живут в листве опавшей
слизней,
И хочется пожить подольше здесь,
Здесь умереть, остаться в этой
жизни...

* * *

Дороги еще не раскисли,
Подтаяли только едва,
Еще не оформились мысли,
Еще не сложились слова.

Казалось бы, вешнее что-то
Должно взбудоражить меня,
Швырнуть за сугроб поворота,
Подбросить за колья плетня.

Мне нечего делать на кромке
Той, зимней еще, колеи...
Я медлю. И вещи в котомке
Лежат, как сомненья мои.

Когда устоится погода,
Раздарит букеты весна,
На целых великих полгода
Мне будет дорога ясна.

И только тогда осторожно
Из смутного опыта лет
Шагну я вперед и, возможно,
На чей-то стремительный след.

Какие-то крепкие нити,
Какие-то старые сны
Тревожат, а вы извините,
Меня при начале весны.

И к людям давнишняя жалость,
И страх за страдалец-народ...
А сердце стремительно сжалось
И дернулось тут же вперед.

ГОРЕЛОЕ

Не слышать перепелок во ржи,
Только спутник проносится, тикая,
И деревня стоит у межи
Обреченная, темная, тихая.

Это все отболело давно,
Это место зовется Горелое.
И судить никому не дано,
Где тут красное было, где белое.

Поднялась высоко лебеда.
Ну а те, что с детишками сосланы,
То протают весной изо льда,
То костями желтеют под соснами.

Не прощу я, пока не умру.
Не забуду, пока не забудется,
Как мяжиной шуршит на юру,
Будто деснами шамкает, улица.

Я вернулся, но я не люблю.
Под Москвой, как туристы
в Италии,
Говорят языком «Ай лав ю»,
«Се ля ви» и т. п., и так далее.

Лет полсотни пройдет или сто,
Вы и мертвые вспомните, сволочи,
Деревеньку свою, гнездо
Разоренное, перепелочье.

ПРОНЗАНИЕ НЕБЕС

В Тюмени водятся таймени?
Ну а в пустыне есть грибы?
Я думаю, что боле-мене,
А может, абы да кабы.

Какие реки на Алтае?
И что растет в долине Чу?
Я двадцать лет уже — летаю,
И все никак не долечу.

До Приполярного Урала,
До Сахалина, до Тувы,
Где панты ценятся марала,
А жизнь не ценится, увя...

А как там с бедствием Катуня —
Запроектированной ГЭС?
Так жизнь проходит vsue, vtуне,
В сплошном пронзании небес.

Другие — в Африку, в Египет,
В Европу — Лондон и Париж...
А мной еще и чай не выпит
В горах, где ты, орел, паришь!

Боюсь, умру, страны не зная,
Земля меня и не возьмет,
И молния пронзит сквозная
Незавершившийся полет.

Вот так предсказывать кончину
И страшновато, может быть...
Но я тогда найду причину,
Чтобы уехать и уплыть.

А ты, живущая под боком
В слезах ли, в капельках дождя,

Мне скажешь слово ненароком,
Я не услышу, уходя.

Куплю табак в дорогу, мыло.
Захлопну дверь — и все дела.
Никто не любит... Ты — любила.
Нигде не ждут... А ты ждала.

И все летания за горы,
Прыжки через долины рек
Любви не стоят той, с которой
Единственно ты человек...

ПЕТР КОШЕЛЬ

1. В пятилетнем возрасте меня родители увезли на Сахалин. Там я и жил до двадцати лет. Соседями нашими были бывшие зеки из многочисленных тамошних лагерей или такие же бесшабашные семьи, как наша. Что ни человек, так уж действительно характер. Один советовал: «Выпить захочется — супчику горячего похлебай, отпустит», другой, бывший сотрудник «Московского комсомольца», пересказывал сюжеты Диккенса и т. д. Телевизор впервые увидел в восемнадцать лет в Южно-Сахалинске, областном центре. В девятом классе стал печататься в районной газете, редакция которой — деревянная, еще японская халупа — стояла почти на берегу Охотского моря. Первым шедевром, увидевшим свет, был рассказ о Хрущеве. Ну потом поступил в областной пединститут, исключили. И пошла-поехала жизнь бомжа: Сибирь, Латвия, Белоруссия, Киев... Как умудрился прожить — и сам не пойму. Сейчас услышишь, например, молдавский жок — сердце сладко замрет.

2—3. Время нынче сложное. Определенные темные силы, пытаясь дестабилизировать обстановку в обществе, всеми средствами культивируют бездуховность, неверие в человека, в его гуманную суть. Шельмуется патриотизм, подростки, например, растут безо всяких духовных ориентиров. Что навязывается молодому человеку, идущему в литературу, искусство? Разные шагалы, раушенбергеры, войновичи. Поневолле вспоминается анекдот: я не антисемит, но я эстет, господа.

Выход из создавшегося положения один: русский писатель, если он еще этого не сделал, должен обратиться к истокам духовности, а это есть православная церковь. Именно она всегда воспитывала человека для чистой, честной жизни. Воспитывала гражданина, если хотите. Настольными книгами русского писателя должны быть не труды Маркса, а труды Соловьева, Леонтьева, Бердяева, Флоренского. Ведь это Маркс, как ни крути, привел нас и к 37-му году, и к мылу по талонам сегодня.

4. Теперь в основном я читаю и перечитываю русскую прозу прошлого века и американскую 20-х, 30-х годов и много нахожу в ней для себя. Нынешняя литература не по сердцу. Да и что выдается за литературу? Посредственные романы Рыбакова? Примитивные повести При-

ставкина? Или плохая стихотворная журналистика Евтушенко? Это не высокий столп литературы, это крысиная возня у его подножия. Я допускаю любые художественные формы в литературе, если это талантливо и нравственно. На мой взгляд, лишь два писателя выдерживают такие требования: Владимир Гусев и Юрий Кузнецов. А вообще, как ни банально, истина по-прежнему в простоте.

5. В организационно-литературном плане мне помог Вл. Соколов, в семинаре которого я как-то оказался. Он рекомендовал стихи журналам. Вадим Кожинов, в чьей квартире собирались разные интересные люди, внес некоторую сумятицу в мои благополучные стихи. Открылись многие неожиданности: декабристы вовсе не герои, а наоборот. Каганович — агент мирового сионизма. Так что творческой помощью были беседы и споры.

6. Не думаю, что сегодняшний день слишком уж поменял мое отношение к прошлому. Как являлся пятнадцать лет назад идеалом П. А. Столыпин, так и является. Его портрет висит у меня в комнате: спокойное русское лицо, умный честный человек. Как не любил я Троцкого, так и теперь не люблю. Ну а стихи? Плохо дело поэта, у которого стихи устарели тематически. Значит, это не стихи. У меня-то хороших стихов немного, но это не из-за тематики, а просто господь таланта большего не дал.

7. Поколение у нас какое-то не дружное. И не трагическое оно. И не счастливое. Усталое, пожалуй. В будущем это человек десять еще более усталых и еще более сумрачных людей. Больных и неразговорчивых.

* * *

МЕРА

Где его знаменитая трубка
и парадный расшитый мундир?

Лишь человек —
мера всех вещей

Начинается сизое утро,
и сегодня Хрущев победил.

в горьковатом воздухе,
текучем, как вода,
или скульптурном, как мрамор,

Так и будет. Да так и бывало.
Тянет Парка крученую нить.
Все Истории кажется мало,
все чего бы еще учудить.

в ностальгии по женскому смеху
над темным заливом,

в победившей идее,
осколки которой
впиваются в тело,

По тирану никто не заплачет,
Даже дочери не до того,
и одна только ближняя дача
сорок лет ожидает его.

и в разбитой идее,
осколки которой
впиваются в тело.

ЭТАЖИ

Там, где город раскинул разительные контрасты,
где соседствует с бардаком уют,
живут обыкновенные педерасты,
лирические песни поют.

Вот сидят они, пуская тягучие слюни,
на кухнях сидят и в гостиных тоже,
в январе зимнем и летнем июне,
ощущая себя до дрожи.

А в других гостиных и в других кухнях
сидят упоительные министры,
у некоторых, правда, глаза потухли,
но у большинства мысли быстры,
и в них мелькают лица, документация, нулевые циклы,
их мысли к голому анализу привыкли,
но, впрочем, голое — это уже педерасты.

Там, где город раскинул разительные контрасты,
где соседствует с бардаком уют,
продают печальные астры,
а за углом в морду дают.

Так пойдем же с белой астрой и синяком под глазом,
самих себя ненавидя,
послушаем, как в телевизоре товарищ Чазов
рассказывает о ползущем СПИДе.

А я пьяная
И румяная,
Накажи меня бог —
Непоганая...

В ПУТИ

— Тебе не страшно?
— Нет, не страшно.

Уж и не знаю, сколько лет
веду тебя сквозь мглу отважно,
а ей конца и края нет.
Как хорошо, что ты не видишь
звериных морд вокруг тропы,
как хорошо, что ты не слышишь
смерд человеческой судьбы.
Два тока белорусской крови,
отпущенные жизнью нам
и горстка призрачной любви —
все пополам, все пополам.

* * *

В своем отечестве пророк,
в чужом — дурак и провокатор.
Бывает, что в конце дорог
такую обретаешь плату.

Тепло чужого очага,
как ни старайся, не согреет,
отсохнут голос и рука,
глагол, скукожась, немеет.

Твоим пророчествам цена
оказывается три цента,
а истина, увы, смешна
без ленинского монумента
в чукотском стойбище, без рек
с безумным планом-поворотом,
без винного ларька, где снег
утопан с утречка народом.

ТРАВА

Я знал тебя грешной, а так получилось, что нежной
лежишь ты в земле.
Сибирская векша, сухой прошлогодний валежник,
картошка в золе.
Мы здесь проходили, и нас навсегда полюбили
цветы и трава,
мы здесь говорили, как дети в обиде твердили
пустые слова.
Тебе-то не больно, тебе пробиваться спокойно
апрельской травой,
расти своевольно на нынешней свалке помойной,
но я-то живой.
В осеннем Белграде, на крымской сквозной автостраде
ты снова стоишь.
Скажи, бога ради, чего ты с собою не сладишь,
чего ты не спишь?
Косынкою машешь, и нет обалденней и краше
лица твоего,
но больше не скажешь, но больше уже ты не скажешь
совсем ничего...

МАРИНА КУДИМОВА

1. Вопрос, характерный для культуры, в которой творчество долго подменялось биографией. Между тем некоторые ощущают в себе призвание с детства и идут к нему не по лестнице трудового стажа, а по параллелям и меридианам судьбы. В этом смысле моя «литературная работа» предшествовала жизненному опыту, а он, опыт, вне ее не мыслится. По общему мнению, до недавних пор это считалось ненормальным. Но меня вдохновляли примеры таких коллег, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. Рембо, и др.

Первые стихи были опубликованы в 1969 году в тамбовской молодежке «Комсомольское знамя». Я училась в школе, которая не замедлила меня за это попрекнуть «двойками» по точным наукам, видимо, намекая как раз на отсутствие опыта.

2. «Изучение жизни» — это эмпирика. Эмпирически я стою в очередях, люблю, спорю, встречаюсь и разлучаюсь, читаю газеты и ем кубинский картофель. Метафизически же скорее жизнь изучает меня на предмет совместимости и принятия в лоно. Я не уверена, что этот процесс закончится раньше моего физического конца, как и в том, что он начался одновременно с моим появлением на свет.

Основной конфликт времени не изжит за последние 70 лет, а в чем-то стал гораздо острее и болезненней. Это все те же «голод голодных и сытость сытых», то есть такая общественная ситуация, в которой бедность — порок. К сожалению, Толстой и Достоевский невозвратимы, как и Короленко или Глеб Успенский. Когда же «бедных людей» воспевают писатель-миллионер, не тяготящийся богатством, а именно наживающий его на голодном детстве, берущий реванш тиражами за полуго-

лодную юность, это обесценивает слово не только такого писателя, но, увы, бросает тень и на всю словесность. Сытость совести художника порождает избыточный вес его в собственных глазах и усиливает дистрофию духа в народе.

Проблемой мне сегодня представляется именно сама актуальность. «Не могу молчать» и «молчи, скрывайся и тай», такое сочетание актуального и вневременного, которое было у Пушкина, и — с другой стороны — некрасовское бесстрашие перед публицистикой, которое грозит сейчас вырождением лирики. Мучительно и рвано я мечусь между этими полюсами.

Что касается человеческого характера, меня, наверное, манит бездна между терпением и нетерпением, своевременным собиранием камней и преждевременным их разбрасыванием. В этом пространстве, мне кажется, осуществляется исторический характер нации.

3. Писатель — должник самого себя. Даже когда дарование осознается как поручение. Только так, полагаю, можно и не потерять независимости, и не впасть в гордыню.

4. Я уже отчасти на это ответила (см. вопрос 2). Исповедь — богу, проповедь — пастве, если она собралась. Это традиция содержания. В форме же традиция рутинна, и нарушить ее боится лишь малоодаренный. Мне уже доводилось писать, что новое в поэзии я связываю не с формой, а с жанром. Все искусства учились у поэзии, теперь ее очередь пользоваться их достижениями.

5. На ранней поре «тамбовского сидения» я получила письмо от Евгения Евтушенко. Он хвалил мало, но вдохновил собрать рукопись и участвовал в ее прохождении по коридорам. Долго меня этой поддержкой запугивали недруги Евгения Александровича, но ничего страшного не случилось. Я брыкалась и строптивилась изо всех сил, а теперь тяжело переживаю расхождения — во времени и пространстве, а не в убеждениях.

6. Мои ровесники знали гораздо больше, чем писали, а печатали гораздо меньше. Стыдно, что из высокомерия не делала в свое время ни малейших попыток опубликовать многое. Из высокомерия и безверия, за которое тоже стыдно.

7. Мое поколение меньше боялось, хотя ему еще было страшно. В этом его счастье. Оно еще лгало, но уже знало, когда лжет, и это касалось лишь вопросов самосохранения. А писали мы в основном то и так, как могли и желали. Это тоже счастье. Но из литературного процесса мы были выдавлены, как паста из тюбика, и размазаны по столам своих критиков, судящих о слоне по хвосту (я имею в виду известную притчу о слепых, а не масштаб наших дарований), втянуты в скандалы и коммунальные выяснюхи. Когда же вроде бы многие столы выскоблили, то пасту обратно в тюбики загнать не удалось, да она и подсохла местами. А столы снова накрыли не для нас, а для тех, кто голодал куда дольше. Трагедия наша в том, что, искренно желая прийти вовремя, мы безнадежно опаздываем и — более того — уже обрекаем на опоздание тех, кто идет после нас.

Будущее — это когда тебя читают. Это непредсказуемо.

* * *

Пути поселка все без исключения
Приводят к пляжу — даже

в январе.

Он залит солнцем сощобеспечения,
Горящим, точно шапка на воре.

И — многотонной массой
каменистую —
Пляж предстает, как сцена,

Оформлен раздевальнею
целиком,
сталистою,
Осводовским плакатом и грибком.

Одетые в пальто демисезонные
И босоножки местного литья,
Влачатся отпускники
беспризорные
На поиски досуга и шмотья.

На велике я еду из пекаренки,
Грузинский хлеб задумчиво жую
И кем-то наподобие Макаренки
Себя меж отпускниц осознаю.

Блатным достались впечатлетья
летние,
Загар и туристический кураж,
А этим — перебои в отоплении,
Электросон и нерабочий пляж.

Им строят глаз рабочие сезонные,
Что корпус ремонтируют сырой...
Отпускники проходят
беспризорные
В надежде чачи, сдобренной
махрой.

Покуда я лимоны пленкой кутаю,
Через забор глядят отпускники,
Привороженные казахской юртою,
Занявшей сад рассудку вопреки.

Пускаю их вкусить
от иллюзорности, —
Пусть перед сном почешут языки.

Невытравимый штемпель
беспризорности
И здесь пометил все, отпускники.

Дом на чужого псом цепным
кидается
И с пришлым остается на ножах,
Затем, что он в хозяине
нуждается
Сильнее, чем в гостях и сторожах.

Дом передышки не дает
раззявивам, —
Отдавливает пальцы, рвет штаны.
А люди, пренебрегшие Хозяином,
Подавно Благодати лишены.

Любовь не насыщается иронией...
Отпускники ушли путем своим.
Дома призренья, а не трудколонию,
И не «бугор», а пастырь нужен им.

Я искренне на ихней фене ботаю
И горестно им вслед глянжу
с крыльца.
Окружены отеческой заботою
Отпускники, забывшие Отца.

Встречаю я незваного
паломника, —
Он при Советской власти вестовой.
Нет на земле такого детприемника,
Где б он побыл наедине с собой.

Он достает «буграм» билеты авиа,
Для их банкетов закупает снесь.
Никто не спросит: что с тобой?
Рамбавиа?
Ведь так недолго и осатанеть!

Народ, прибыв для выправки
здоровья
И без призора побросав детей,
Использует природные условия
Для удовлетворения страстей.

Оплачены свершенья эпохальные
Радикулитом или же килой.

Напевы по ночам слышны
вакхальные,
Считай, из каждой дачи нежилой.

А утром пляж с ободранными
тентами,
И моря зуб неймет, хоть видит
око.
Кого считают здесь
авторитетами —
На это беспризорным чхать
глубоко.

Проводят взглядом и меня
на велике
И в Оймякон поедут ждать весны,
Не ведая, что — вечные
подельники —
Мы лишь до Судных труб
разлучены.

* * *

Упала в цене «Королева Марго»,
Был в красном гробу похоронен
Иуда,
И вышла из строя Украина,
покуда
Я переводила блатное аргю.

Снимался с трудом канонический
лак,
И я заносила в разбухший
письмовник
Не что говорил Заратустра, но как
Сказал бы российский
герольд-уголовник.

Коленца откалывал он, загинал
Такие фигуры сквозь зубы
стальные,—
Ломались конструкции
переводные,
И пальцы отдавливал оригинал.
И — цепью к галере, к барже —
бечево
Вязали язык раритеты и диски,

Но, будто канал
Беломорско-Балтийский,
Под стражей я рыла канал
речево.

От спекшихся губ, точно струп,
отлипал
Двуликий, толкучий, гугнивый,
доходный.
Великий, могучий, правдивый,
свободный,
Как сквозь плащаницу, снутри
проступал.

Едва ли обманется тот, кто стяжал
За грешное дело святое терпенье.
И если я снова сбивалась
на феню,
Господь немостою меня поражал.

Юродство — извольте! А вот
шутство —
Увольте! Я в эту низину не съеду
И не повлекусь ни с того
ни с сего
По ложному следу, по ложному
следу.

За этот молящийся матом народ,
За ро́ковый лепет, за пьяные
спичи —
До ветхозаветного косноязычья,
До равноначального Слова —
вперед!

* * *

Стряхиваю, сбиваю
Юношескую спесь,
Но недоумеваю:
Что меня держит здесь?
Нужный ответ затвержен,
Вызубрены азы...
Держит какой-то держень,
Столбик какой-то, стержень,
Кольшек для козы.
Я за него цепляюсь:
Он под рукою — тресь!

Думаю — изумляюсь:
Что меня держит здесь?
Первый, второй сочельник,
Зимний бесцветный пчельник,
Мокрые щеки, зуд,
Звездчатое роенье...
Снежные построенья
Сплющатся, оползут.
Двинувшиеся хляби,
Неразличимый брод,
В ветре, как будто в кляпе,
Полуоткрытый рот.
Лета медвежий угол,
Дачки в распятыях пугал,
Спутаны цвет и свет...
Может быть, все же осень —
В латках ее, в износе?
Может быть, все же нет?
Поворотясь спиной,
Чувствую тут и там:
Родина вслед за мною
Гонится по пятам.
И, завалившись набок,
Точно в груди клинок,
Слушаю этот вабик,
Хлюпающий манок.
Окна уже забила —
Только замок навесь...
Что же я здесь забыла?
Что меня держит здесь?

* * *

В персти, ниже в элите,
Люди, нет меня, нет!

Есть веселие пити,
Есть тоска не пьянеть.
Святогорские служки
Чаевых не берут.
Пушкин! Что же ты, Пушкин?
Тоже против, как Брут?
Мне, не вяжущей лыка,
Невозбранно... Но ты —
Песнопевец — улика
Нашей нечистоты!
Желтый прицвет арапский,
Точно кварцем нажгло,
Подноготную рабства
Разглашает назло.
Вон твой крестный в кирасе,
На падучем коне,
Нас ведет разукрасить
Легион фальконе —
Не скулой басурманской,
Не в турецкую чернь,
Так фамилией германской
Иль еще чем-ничем.
Сколь охапок, как в ясли,
До него улеглось —
Византийскую вязью
В след ордынских колес,
Чтоб со старой начинкой
Соль и пряность смешать —
Палестинской песчинкой
Мои вежды смежать.
Вырежь посох, Россия,
Оцени благодать!
Неудобоносима,
Не увязана кладь.
Но, задушенный в горстке,
Этот посох, как стырь,
Только под Святогорский
Подведет монастырь.

ВИКТОР ЛАПШИН

1. Живы в памяти послевоенные годы: голод, фронтовики-калеки, устрашающие слухи, ожидание новых бед... Это моя школа.

Первое стихотворение было напечатано в феврале 1959 года в Галичской районной газете «Северный колхозник». Мне было почти пятнадцать лет. Первая серьезная публикация — в 1977 году: подборка в альманахе «Истоки».

2. Странный вопрос! Все нынешние проблемы, характеры и конфликты современны. Хотя бы потому, что они — нынешние. Понятие «изучение жизни» я не понимаю. Как можно изучать жизнь? Ведь жизнь — это мы, люди, род людской. Можно ли изучать себя? Легко сказать: «Познай себя». А познал ли себя тот, кто к этому нас призывает? Если бы мы «изучили жизнь», то есть познали себя и мир, жизнь перестала бы существовать. В ней не было бы смысла. Разумеется, я не хочу сказать, что смысл жизни — в бесконечном познании. Сколько ни познавай, всего не познаешь. Само слово «познавать» носит откровенный характер лишь прикосновенности, причастности к мирозданию.

Смысл жизни, смысл человека — в творчестве, в созидании. Когда об этом забывают, когда этим пренебрегают — народ и государство катятся в бездну. Нам ли не знать?..

Можно, конечно, «изучать жизнь» так, как изучали ее государственные писатели. Съездил на строительство гидроэлектростанции, металлургического завода, на полярную станцию, на целину, добротню — и с пафосом! — описал все, что успел увидеть, — и вот вам шедевр социалистического реализма! А то и государственная премия с секретарством в правлении Союза писателей... Истинный писатель не пойдет по такому пути.

Поэт мудро сказал: «Все во мне — и я во всем». Настоящий талант обладает врожденным знанием жизни. (Вспомним: «Душа человеческая имеет абсолютное Знание».) Если ты живешь тревогами своего народа, если ты хочешь служить ему до конца всеми силами, — ты найдешь в себе такую высоту, такую вершину, с которой виден будет весь необъятный мир, где бы ты ни жил: в столице или в захудалом городке.

3. Писатель должен писать. Прежде всего. Писать как можно лучше. Смертный грех — закопать свой талант, то есть дар Божий. Прав Пушкин: «Цель поэзии — поэзия». И политические стихи могут быть поэтическими созданиями: «Клеветникам России», «Бородинская годовщина»... Мало ли! Писатель не должен забывать (должен не забывать!), какого он роду-племени, какая кровь течет в его жилах: литовская, русская, грузинская, ингушская... Без чувства родины... Вспомним Есенина!

Сейчас русский писатель должен пробуждать, возрождать в родном народе русский дух. Только он, русский дух, может в наше грозное, зловещее время противостоять мировому злу. И противостоит: иначе не клокотала бы такая ненависть в русофобах и русофобствующих.

Гибель крестьянства в аграрной стране, какой была дореволюционная Россия, равносильна гибели страны, народа. Но народ выжил. Среди его спасителей русские классики: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Толстой, Достоевский... Можно еще долго называть имена писателей, художников, философов. Бодрствует русский гений и ныне. Чем не залог возрождения?

4. Русская классическая литература сильна именно верностью народному духу, преобразенному тысячу лет назад Крещением. Слово Илариона о Законе и Благодати, яростные страницы Аввакума, провидческие речи Достоевского, — не един ли дух в них? И нам, русским писателям двадцатого (верю — не последнего!) века, должно нести старое доброе Слово людям и миру. Традиционность чудодейственна: писатели-традиционалисты никогда не устаревают. Современен Гоголь («Избранные места из переписки с друзьями», гениальная книга, ошельмованная недалеким Белинским), Достоевский («Дневник писателя»),

Толстой (статьи)... Они, старики наши, идут впереди народа, к их мудрым словам нужно прислушиваться, а не к «прорабам перестройки», которые были и «прорабами застоя».

Исканий в области художественной формы перспективных быть не может. Ретроспективных — сколько угодно. Разве мы не наблюдаем у целой группы литераторов стремления оживить труп авангардистской «поэзии» 20-х годов? Чтобы рабское следование прежним «новаторам» не бросалось в глаза, придумана «метаметафора». Объявилась некая рок-поэзия... Смеху подобно! Эксперимент всегда предполагает «искания в области формы», не более того. Где эксперимент, там утрата души, смерть поэзии. Переведите все метаметафорические и рок-стихи на другие языки! Везде они будут «своими».

Если я знаю, что я могу идти, если я знаю, куда мне необходимо идти, я не буду ломать голову над способом ходьбы. Все нормальные люди ходят одинаково. В темпе марша, а не в темпе вальса или фокстрота... Будет содержание — будет и соответствующая ему форма. О том ли думать надо?

5. С 1969 года я участвую в работе совещаний молодых литераторов Костромской области. В первые пять лет меня бранили за стихи, и бранили справедливо: они были плохи. С 1975 года я стал писать серьезно. В 1980 году в Костроме обсуждалась моя большая рукопись. Однако рекомендации на ее издание в Ярославле не последовало. Критик И. Дедков обвинил меня во всех смертных грехах... Дескать, я очерняю советскую действительность, не знаю жизни, ибо провинциал и т. п. и тогда я обратился лицом к Москве.

Конечно, мне помогали. Я благодарен В. А. Старостину, В. И. Шапошникову, Е. Ф. Старшинову (покойному). Но я убедился, что начинающему писателю помочь чрезвычайно трудно. А может быть, и невозможно. Как ни расписывай достоинства и красоту девушки, как ни разъясняй, как добиться ее расположения, юноша только тогда ее полюбит, когда в его сердце проснется любовь. Если человек талантлив, он созреет сам. Требуется ему общение, участие, благожелательность, без чего не будет уверенности в себе. Это очень важно! Вот почему я так благодарен В. В. Кожину и Ю. П. Кузнецову.

6. Мое отношение к современности и к прошлому не изменилось, так как я давно знал Главное, а с 1985 года становлюсь лишь более информированным.

Стыдиться мне нечего. Не отказываюсь ни от единой строки, если, конечно, она безупречная в художественном отношении.

По-моему, каждый из нас обязан служить России. Можно ли отказаться от такой службы? По мере сил, по мере таланта!

7. В жизни поколения существуют, в литературе — нет. Те же поэты и прозаики, которые родились в одно со мною время, появились на свет в самый раз! Поскольку мы родились в сороковые годы, значит, мы должны были родиться именно в сороковые годы, и только — мы! Значит, более никто, кроме нас, не сделал бы того дела, ради которого мы живем. Неужели же вовремя родиться и делать СВОЕ дело — не счастье? Где тут трагедия? Вот, скажем, Николай Шипилов... Живется ему тяжело. Но кому не тяжело? Счастлив ли он? Думаю, да. Что ждет писателей моего возраста? Надеюсь, народное признание и благодарность. Да будет так!

СМЫСЛ

Душа, мужайся! Путь мрачится,
Как волчья стая, ветер мчится.
Стенанья в чаще и мольба.
Высокий смысл во всем ты ищешь,
Без усталости по свету рыщешь,
Самой себя раба.

А смысл... Зачем тебе он нужен?
Вокруг него напрасно кружим:
Он только вольным откровен,
Но ничего для них не значит:
Душа парит, а сердце плачет...
Долой его! Но что взамен?

КУДА?

Куда это ветер собрался опять?
Чего ему надо?

Что толку березы клонить
и трепать,
И прахом слепые пути засыпать?
Ни строя, ни лада!

Куда это снова плывут облака?
Что надобно белым?
Все будет заветная даль
далека,—

Да не изойдет гулевая тоска
Ни словом, ни делом!

Куда это я — без нужды,
без дорог,—
Какая потреба?
Всего-то корысти — седой лишь
висок,

За тысячу лет стать достойным
не смог.
Ни хлеба, ни неба!

ГЛЯДИ И ДУМАЙ

Гляди и думай — кто перед тобою!
Ретивый хлыщ с надменной губою
Брезгливо цедит: «Что ни говори,—
Народ наш — быдло, черт его бери!
Все пьянь, да брань, да ужас мордобоя!
О чем в толпе толкуют, боже ж мой!
Кто с кем нажрался, кто кому по харе
Усердно съездил, как блевали в баре,
Как до утра гремели на гитаре,
Когда от потаскушек шли домой...
К пророчествам и увещаньям глухи,
Все, все вокруг податливы — как шлюхи!
И осрамились мы на белый свет!
Виновнику неукротимых бед —
Отцу народов задницу лизали,
Рукоплескали нечисти и швали,
Крушили храмы, где еще вчера
Молились богу блага и добра —
На встречу с праотцами уповали!..
Иуды! Оборотни! Поделом —
И кровь, и пот, и слезы:
Не покорствуй,
Не подличай из-за ковриги черствой:
На каторге и хлеб родной — колом!..»

Внимай и думай — кто перед тобою!
Теперь от правдолюбков нет отбою;
Все виноваты — только не они...
Без страха злобствуй, мстительно кляни
Судьбу, народ, обычаи, законы,
Мирскую власть, засилие мамоны,—
Никто не рявкнет: «Взять его за храп!»
Я краснобаев славил бы, когда б
Они и прежде голос не таили
И жажду воли смело утолили...

Умолкни, Переметная Сума!
Ты и сейчас брюзжишь не задарма:
Любой наскок на старое доходен,
И твой задор — угодлив, не угоден.
Народ же и в лихие времена
Твердил: «Нам революция нужна!»

ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Мы на земле — без земли
и без неба —

Жилы надсаживали ради хлеба.
Застили душу нужда и потреба.
Память иссякла, поруган завет.
Дело не спорится — радости нет.

Грянуло свыше: «Свобода
и благо!»
«Ладно бы так-то». — Вздохнул
работяга,
Только вздохнул тяжело, бедолага;
Плешь переели посул и совет.
Ладится дело, но радости нет.

Глянешь вокруг — и трухляво,
и ржаво,
Всюду незримые тлен и отравы.
Держится славой былою
державы —

Даром не прожили тысячу лет...
В радости дело, а радости нет.

ДОВОЛЬСТВО

У меня ни кола, ни двора,
Мозг в тумане,
В кармане дыра.

Но беспечно я век свой векую,
Рад бы, Господи,
Да не тоскую.

Если что —
Не сгребут за вихор
И не выволокут на двор,
Не посадят, собаки, на кол.
(Никому еще до сих пор
Не поддакивал я, не такал.)
В голове беспросветный туман,
Потому и не страшен обман:
Не отыщут ни бесы, ни боги
Никогда к моей мысли дороги.
Худ карман, да из вечной дыры
Выпадают все их дары.
Неподкупна душа поневоле.
Ничего мне не надо боле.

ПОРЫВ

Кому куда, а мне — на север,
В озерный край, в сердечный рай,
Где тучи грозные рассеял
Веселый вихорь Заиграй;
Где духу нет кабацкой голи,
Где нет корысти шутовству,
Где по своей и Божьей воле
В ладу с землею заживу;
Где пыл кичливый потеряешь,

Но обрешь покой зато,
Где праздно не повопросаешь:
«О Господи, за что караешь?» —
Ведь знаешь сам — за что...

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

1. Какой жизненный опыт предшествовал началу литературной работы? Кажется, вопрос предельно прост и понятен; так бы и хотелось на него ответить, просто и понятно. Но простота обманчива. Сразу же возникает сложность, когда вопрос упирается в конкретную судьбу. Сложность заключена в нахождении точки отсчета литературной работы поэта имярек. Где эта точка, после которой начинается начало? Точнее, это даже не точка, а многоточие, и начала совсем нет, а есть продолжение, ибо, начиная писать стихи, начиная говорить на языке травы и камня, поэт продолжает бесконечное таинственное движение жизни. Итак, я продолжил разговор на языке травы и камня, когда мне шел девятнадцатый год: в районной газете были опубликованы первые мои стихотворения «Лес» и «Поле».

Говоря о жизненном опыте, который предшествует всякой работе, не надо забывать об опыте, который человек черпает из книг, это в первую очередь относится к литературной работе. Без опыта, почерпнутого из книг, нет писателя. Жизнь, состоящая из вереницы дней и ночей, дарит человеку неповторимый опыт; каждый берет из этого опыта совсем незначительную часть для внутреннего сгорания, дабы продолжить движение. Огромная часть опыта ложится под спуд. До поры...

2. Проблема экологии самая острая. Взаимоотношения человека и природы зашли слишком далеко. Природа очень терпелива, она все еще ждет не милости, но уважения, сознавая, что человек (часть ее, пусть далеко не лучшая) поймет, что, уничтожая ее, он уничтожает себя. Проблема умирающих деревьев, духовное опустошение, порожденное пьянством и коррупцией, противостояние мира сытого, довольного и мира голодного, неудовлетворенного, обострение национальных отношений... Все это вызывает чувство боли. В жизни так много необыкновенных зеркал, которые «умножают количество людей» (Борхес), количество идей и, безусловно, проблем и конфликтов.

3. Быть честным и искренним. В чем долг писателя? Я пытаюсь ответить на этот вопрос в своих стихах. Приведу здесь одну строфу:

Как спою, как сыграю на сказочной лире?
Ведь писать — не тесать топором.
Не о том, не об этом, о чем говорили,
А о чем промолчали. О том.

4. Традиции романтизма. Но, к сожалению, в жизни мне не хватает внутренней свободы, духовной раскрепощенности, чтобы поднять и нести это зная. И, сознавая это, испытываю чувство грусти. Искания в области формы меня мало интересуют. Когда утоляешь жажду, не обращаешь внимания на форму сосуда — стакан это или кружка, важно, чтобы содержимое (читай: содержание) было по вкусу.

5. Старшинов Николай Константинович. Форма этой помощи в амплитуде от замечания по рифме до рекомендации в Союз писателей.

6. Может быть, сегодняшнее время меняет у кого-то отношение к действительности, и кто-то пересматривает свою жизнь, от чего-то отказываясь, чего-то стыдясь. С грустной улыбкой каюсь, что в молодости стыдился своего деревенского происхождения, к счастью, это прошло и никак не отразилось на дальнейшей поэтической работе; прошлое не пересматриваю, оно мое, каким бы оно не было. Взгляд мало изменился, глядя на сегодняшнюю действительность, по той причине, что многое сейчас я не воспринимаю как новое для себя и тем более неожиданное. Еще до «Детей Арбата» я знал по рассказам родителей, что у нас в селе в тридцатых годах за горсть украденного зерна ссылали в Сибирь, что за одно слово «рябой» давали семнадцать лет лагерей. Все это было как бы зашифровано подсознанием, и душа развивалась полноценно.

7. Свое литературное поколение я не могу назвать счастливым. Счастлив тот литератор, кто имеет возможность помочь представителю следующего поколения встать на ноги, обрести чувство пути. Мое поколение, без сомнения, носит в себе невидимый груз трагичности. Многим под сорок, публикации редки и случайны, и, по всей видимости, мы будем тем фундаментом, на который должно встать следующее поколение.

* * *

Я ударил родную прозрачную воду
Неумело-нелепым движеньем весла.
Убежала вода от земли к небосводу,
И мой облик, что облако, ввысь унесла.

В неоглядном пространстве, где тучи да птицы,
Пронесутся певучие звуки: «Вода...»
Я уверен: на землю вода возвратится,
Но мой облик назад не вернет никогда.

* * *

Счастливым быть не стыдно.

Камю

Мне стыдно быть счастливым,
Камю,

Жестокое идет время.
Кому плясать от счастья,
кому

Печальное нести бремя.
За радостью приходит беда.
Молчу, счастливым став, ибо
Мне стыдно быть счастливым,

На нерест не идет рыба.

Чебрец погиб, а яшень засох,
И облака скрипят в небе.
Закрыты двери, крепок засов,
Так страшно никогда не было.
В ладони цинковых и шиферных
крыш

Льет дождь, я узнаю запах.
Прости меня за горе, малыш,
Мне стыдно, что я твой папа.
Мне стыдно знать, что в жизни
все есть,

А я живу, стыдясь детства.
Как горько спать мне сладко
и есть,

Куда же от стыда деться?

Мне стыдно быть счастливым, Камю,
Все поделило время на части.
Кому плясать от счастья, кому
Молчать и жить, стыдась счастья.

ЛИЦО

С лица воду не пить.
С лица твоего не пить. Морщины, как трещины.
Да это земля, которая воды не пила давно.
Я думаю, этого горя не касалась женщина,
Только женским ладоням разгладить горе дано.

Гуляя по лицу огонь. И пеплом — горькое облако —
Заволокло твою память, запорошило следы.
Смотрю на твое лицо, остановившись около
Двух голубых родников чистой веселой воды.

Видю я дом, крыльцо, дерево. Это не прошлое.
Это — мой нынешний и завтрашний день.
Я пью с твоего лица. Лицо у тебя хорошее,
Не замутила его недружелюбная тень.

* * *

Эта мельница нас перемелет.
Вечный мельник давно переметил
Наши души — ржаное зерно.
У беспечной реки загораем.
Наше счастье лежит за горами.
Где мы были, забыли давно.

Увлечлись мы веселой игрою,
Под озоновой страшной дырою,
На воде мы писали слова,
Мельник выбьет дубовые клинья,
Ветер вскинет сосновые крылья,
И по кругу пойдут жернова.

* * *

Темно ему в доме, а в доме
светло.
Льняные лучи проросли сквозь
стекло.
От света колышутся створки.

Он смотрит, но света не видит
во мгле.

Пустая бутылка стоит на столе.
Засохшие хлебные корки.

Но слух его тонок, надежен,
костист.

Далекий и странный, неслыханный
свист

он слышит и, свисту внимая,
дрожит и глядит не мигая во тьму,
и друг закадычный приходит

к нему,
бутылку из тьмы вынимая.

Когда его сердце засохло,
как хлеб,

он в то же мгновенье неожиданно
ослеп.

Темно ему в доме. Он выйдет,
закинет нелегкую голову вслед
летающему облаку, в солнечный
свет,

но этого света не видит.

* * *

В этом доме заброшенном некому жить.
Неразбросанной куча навоза лежит.
Сумасшедший петух плещет крыльями: «Некому...»
«Проживал тут хозяин, вставал поутру,
И навоз выгробал из сарая...» — так думают все, кому
Заглянуть посчастливилось в эту дыру.

В этой богом забытой норе поутру
Он судьбу собирал по бревну, по перу,
А петух «кукареку» кричал и не важничал.
Только женщина дом стороной обошла.
И он сбился с пути, загулял и забражничал,
Потому, что она ему дух обожгла.

А быть может, другая причина была.
«Жизнь как сажа бела» — вот такие дела.
Дух полынный витает, печален и горек.
В этом доме петух сумасшедший живет,
Проходящему мимо кричит:
«Ал-ко-голик!»
И от горя засохшую землю клюет.

* * *

Кто отсюда уехал, не вернется назад.
И земля позабудет, что был такой житель.
Упирается в небо зацветающий сад,
а под облаком кружится ангел-хранитель.

Сохрани звон и стрекот, и певца схорони
в тростниковую полость, под гусиные клики.
Пересыпаны солью ушедшие дни,
и хранит моя память забытые лики.

Я тяжелой работой избываю тоску
и молчанием птиц в дальний край провожаю.
Уезжать не хочу ни в Тамбов, ни в Москву.
Я тут поле засеял. И жду урожая.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

1. Я начала писать стихи в восемь лет, печататься — в шестнадцать (журнал «Смена» № 3, 1972 год). Если подразумевать под «жизненным опытом», как это стало принято в последнее время, набор ремесленно-

профессиональных навыков и знание производственно-бытовых подробностей, то такого жизненного опыта у меня, конечно же, не было.

Но если определить его как путь, пройденный самосознанием, то я все же смею утверждать, что кое-какой опыт жизни у меня уже вырисовывался из хаоса детских впечатлений, то есть уже был.

Я знала доподлинно: 1) что жизнь человеческая трагична; 2) что она кончается смертью, и тогда люди плачут, и играют торжественные и пронзительные медные трубы; 3) что в человеке есть То, что Никогда не Умрет, и потому Я равно Я плюс Нечто; 4) что Бог, несомненно, есть, и Он очень близко; 5) что Он меня любит, и я Его люблю ответной любовью; 6) что жизнь (вообще и моя, в частности) имеет высокое предназначение и полна глубочайшего смысла; 7) что жизнь есть служение. Очень хорошо помню вдруг поразившее меня ощущение: «Мне еще только семь лет, а у меня уже столько всего было в жизни!»

Наверное, так же, как в эмбрионе, есть уже все, что потом разовьется и проявится во взрослом человеке, в детстве нам явлено, как призрак, как намек, как предчувствие, все, что произойдет с нами впоследствии. Когда же происходит, мы оглядываемся назад, вспять, словно отыскивая крепкую, верную почву. И когда нам кажется — так уже было когда-то с нами: и трава пахла так же, и электричка гудела, и дождь развозил грязь по дорогам, бывшее предчувствие и нынешнее воспоминание смыкаются и делаются единым бытием, вынутым из потока времени.

2. Человек. Человек как проблема, характер и как конфликт. Для меня изучение жизни состоит в самом переживании жизни — на всех уровнях — чувств, разума, воли, духа. Но это, кстати, совсем не то же, что информированность о жизни.

3. Прежде всего долг писателя в том, чтобы писать хорошо. Когда Господь сотворил небо и землю, первое, что он подумал о своем творении, было то, что это — хорошо. И разговор о писателе как о творце начинается именно с этого. Потому что, если писатель пишет плохо, каких бы важных, сокровенных, великих идей он ни касался, это будет лишь опошлять их, и тогда разговор о писательском долге теряет всякий смысл.

Итак, писатель должен писать хорошо. Настаиваю на этой простейшей мысли именно потому, что у нас об этом забывают слишком часто. То есть писатель должен быть верен себе как художнику. А больше писатель никому и ничего не должен. «Веленью Божьему, о Муза, будь послушна!» Дальше начинается личное дело самого писателя — исповедует ли он свободу творчества, несет ли добровольный крест социального служения — это его право, а не долг, ибо и то, и другое, если это художественно, есть служение Слову.

4. Мне близки все традиции, которые рождены и выношены любовью к слову, к культуре, будь то пушкинские или лермонтовские, гоголевские или буинские, блоковские или мандельштамовские. Традиции, в которых слову отведена «оформительская», служебная роль по отношению к высказываемой идее, мне представляются мертворожденными и бесплодными. В этом смысле — действительно «мысль изреченная есть ложь».

К сожалению, почти вся современная советская поэзия грешит именно этим, сводя разговор о себе к «тематике» и «идейному содержанию», по преимуществу.

Когда слово становится мелкой монетой, которой платят по счетам бытовой, социальной, эмоциональной и рациональной жизни, оно именно что размывается, обесценивается.

Обращение к Слову как к образу, сквозь который нам сияет мир абсолютных ценностей, мир ноуменальный, восстановление значимости и цельности слова, обезличенного и растасканного на нужды потребителя,— есть единственный, на мой взгляд, путь художественного и духовного творчества.

5. Булат Окуджава когда-то — уж очень давно — сказал мне: «Только никогда не думай, что можешь своими стихами осчастливить кого-то». Эта незамысловатая и неприметная на первый взгляд, а на самом деле мудрая и глубокая фраза, в какой-то мере послужила мне панацеей от многих соблазнов, в том числе и от искушения гордыней избранничества и мессианства. Пожалуй, это была самая серьезная творческая помощь, оказанная мне, хотя мне многие так или иначе помогали. Объясню почему.

Художник не может уклониться от антиномии, предлагающей ему признать как эмпирическую бесполезность культуры вообще и его дела, в частности, так и их онтологическую необходимость. Культура ведь еще никого не осчастливила и не облагодетельствовала. И в то же время — без нее становится невозможной жизнь человеческого духа.

Пушкин и преподобный Серафим Саровский, жившие в одно время и так и не ведавшие о существовании друг друга, однозначно сформулировали позиции художника (а духовная жизнь есть также искусство) в этой ситуации. «Цель поэзии — не нравоучение, а идеал», — написал Пушкин. — «Спасайся сам — тысячи вокруг тебя спасутся», — сказал преп. Серафим. Истина говорит сама за себя, «сердце любит оттого, что не любить оно уже не может», и проповедник проповедует, потому что не может не проповедовать, — главным останется личный подвиг, совершаемый в глубинах души — бескорыстный, не рассчитывающий на земной результат. И только такой подвиг художника может преобразить картину мира.

И не случайно порой приходится нам наблюдать, как небесталанный писатель, как только впадает в тон учительственный, указующий, наставляющий, оскудевает как художник и приобретает сомнительный дух самозванства, а то и шарлатанства.

6. Ни моего отношения к действительности, ни картины прошлого для меня сегодняшний день не меняет. Тем более, не заставляет меня пересматривать с его точки зрения того, что я писала: у меня никогда не было «внутреннего цензора», и я не выезжала в литературную жизнь на «паровозах». Если я и стыжусь каких-то своих стихов сейчас, то по соображениям чисто эстетическим — как стыдятся неуклюжести, неприбранности. Тем не менее я ни от чего не отказываюсь: «Еже писах — писах».

7. Считаю трагическим, как и все литературные поколения. Творчество вообще не располагает к комфорту. Что же касается «поломанных судеб» моего литературного поколения, о чем сейчас так часто приходится слышать, то ведь судьба, она на то и судьба, чтобы ее принимать, как она есть, особенно если это — судьба русского писателя.

МАЛЬЧИК ПЕТЯ

Вот и август кончается. Дождик затягивается.

В двери стучится, из ладоней выливая воду,
Петя блаженный.

Ему одиннадцать лет.

Он взрослый уже человек:

— Мама, как я устал!
Я хочу возвратиться в природу —
в облако,
в дерево, в снег...

Петина мама — совсем седая,—
отхлебнув торопливо кофе,
со словами «Петя, еще не пора»
продолжает рассказ:
— Конечно, если глянуть вот так —
то жизнь равна катастрофе,
но она целомудренней наших взоров
и милосерднее нас!

Петя выходит в сад.
Прислонясь к оконной раме,
Петина мама невидящим взором смотрит
ему вслед.
И такая горячая, такая горячая нежность
к Пете и его маме
заливает небо и землю,
и меня вместе с ними,
и мне уже тридцать лет!

О не подсказывай мне развязку
к этой, давно затянувшейся драме,
и, куда время не ткнуло
в свои страницы перстом,—
зачем ты, возраст-могильщик,
размахиваешь пустыми руками,
ветвями осенними жестикулируешь,
витийствуешь смородиновым кустом?

Мы и так мучительнейше живем
и околицами пробираемся к свету.
Не говори, какие холодные нас ожидают края —
только выйдет час —
и какие суровые зимы еще нас притянут к ответу,
и, быть может, лишь мальчик Петя
заступится там за нас!

ТРИ ДНЯ

Говорят, когда человек умирает
и уже не чувствует боли,
душа его еще целых три дня
по земле бродит устало,
бродит она по дорогам земной юдоли —

там, где любила она,
там, где она страдала.
И, уже скинув с себя одежды немощи человеческой
и житейские попеченья складывая у порога,
как впервые, всматривается она в лица,
вслушивается в речи,
словно что-то хочет о жизни узнать
из эпилога.

...В первый день помедлит душа моя над Москвою,
пока она зеркала завешивает,
пугается отражений,—
с ее речами окольными,
с дорогой ее кривою,
с площадями побед,
с лестницами унижений.
С ее полетом, истерикой, чванством и панибратством,
с солнцем ее закатным меж изломанных веток,
с детством моим и юностью,
с моей бедой и богатством...
И благословит душа моя ее напоследок!

А во второй день душа моя вспомнит свои скитанья,
там, где, как говорят, и дым приятный и сладкий,
где древний призрак Отечества с ходу дает задание —
принести ему то — не ведаю что и разгадать загадки.
Там, под суровыми соснами,
над поздней россыпью клюквы
живут, земным благоденствием
не тешась, не обольщаясь,
и боятся лишь Прокурора,
произносимого с заглавной буквы...
И благословит душа моя все это, прощаясь!

Ну а в третий день душа моя пустится,
собираясь духом,
туда, где, кроме нее одной,
нет виноватых —
к священномонахам, иконам,
к старикам и старухам,
и встанет она меж нищих, блаженных и бесноватых.
В одинокую, на высокой горе,
забредет келью,
подпоет: «Господи помилуй!» и «Аллилуйя»,
и, благословив последним благословением,
уйдет с метелью,
унеся ожог последнего поцелуя...

О неужели никто, к кому стучалась она,
сдерживая рыданье,
и три дня говорила:
— Я с вами, и не убита! —
Ничего на земле не отыщут
ей в оправданье,
ничего небу не скажут
в ее защиту?

ПЕРЕПИСКА ГРОЗНОГО С КУРБСКИМ

Пишет Курбский Грозному:

«Почто бесчестью
землю русскую предал? — волшбой и лестью
утоляя пыл своенравный:
в люциферовых играх, в бесстыжих масках,
в скоморошьих бубнах, в козлиных плясках —
опоганил трон православный!»

Пишет Грозный Курбскому:

«Сгинь, лукавый!
Сам отверг ты Отечество с его славой,
сам отвергся крестного целованья:
пренебрегши душой и Господним страхом,
предавал ливонцам и всяким ляхам
храмы Божьи на поруганье!»

Пишет Курбский Грозному:

«Сгинь, нечистый!
Сам толкнул ты меня на путь тернистый,
честь боярства пуская прахом,
кровью праведной упиваясь досыта,—
почто сгубил Филиппа митрополита,
Корнилия зарубил одним махом?»

Пишет Грозный Курбскому:

«Сгинь, изменник!
Басурманский прихвостень, ада пленник
от семян Иуды осатанелых...»

Пишет Курбский Грозному:

«Сгинь, денница,
Вельзевул, Антихрист,— почто родиться
ты явился в наших пределах?»

...И такая брань сквозь столетья мчится,
отзывается в русской душе, двоится.
Полнолуние. Солнечное затмение...
Но встает из крика, стона и всхлипа
чудотворный образ мученика Филиппа,
и Корнилий грядет из тленья!

Ходила я по земле Отечества моего,
и поняла я, что не все оно здесь,
перед глазами,
ибо и на реках и безднах имя его,
и кадильница его полна туманами,
облаками...

Кажется, вот оно — размахивает тысячами ветвей!
А оно — в небе своими корнями нас защемило,
ибо нет для Отечества моего
отошедших в персть сыновей,
но — усопшие да почившие
до побудки архангела Михаила.

И когда мы в день особого поминовения говорим:
— Вечная память воину Николаю,
убиенному Александру,
заблудшему Глебу,—
мы все ниже спускаемся по лестнице рода —
к ним,
и все выше восходим по ступеням Отечества —
к небу!

И когда человек выходит на дневные труды
и зерно опускает в землю,
и оно гибнет под градом,
у него остается надежда,
что небесные уцелели плоды,
и они прорастают ветками,
окружаются вертоградом.

Так гадай после этого — где, как, отчего
да откуда докуда Отечество распространилось:
вот оно, под рукой — а никак не ухватишь его,
вот оно — необъятно, а в сердце сполна уместилось!

* * *

Солнца! моря! вина!
винограда!

Текст твердя молодой и кондовый, И услышала я с высоты:
подбоченясь, с улыбкой стальной, — Все, что хочешь, я дам тебе,
я хочу быть богатой — здоровой, чадо,
а не бедной—усталой—больной. но без этого — ближе мне ты!

ЛАРИСА ТАРАКАНОВА

1. Если скитания по детским больницам и санаториям можно отнести к жизненному опыту, в таком случае он был достаточно богат для шестнадцатилетнего подростка. Скучная действительность, усеченные

радости детства — не думаю, чтоб это были необходимые условия для возбуждения творческой фантазии. Тем не менее скромная реальность рождала пышные мечты. Это выразилось в первых неуклюжих подражательных строчках. Слава богу, у моей мамы хватило такта и ума, не вступая в процесс написания стихов, поощрять их возникновение. Замечательно, что Дворец пионеров на Ленинских горах скликает в свой литературный клуб начинающих сочинителей, дает им свободу самовыражения и, главное, творческую среду, наивную, косноязыкую, лукавую, возбуждающую. Эта среда и вытолкала заботливо первые публикации: в газете «Московский комсомолец» в 1964 году, в сборнике «Час поэзии» издательства «Молодая гвардия», 1965 год. Можно праздновать юбилей.

2. Наша деловитая многотрудная действительность выдвигает на первый план деятельного изворотливого хозяина жизни. Очевидно, это оправдано исторически. Но грустно, что из жизни уходит романтизм в его чистейшем и высоком смысле. Мечтать стало некогда. Говорят, западное общество разобщено богатством. Нас разобщила бедность. Как найти золотую середину материального и духовного благоустройства — вот задача общества. Не одними пятилетками ее решать и даже не милостивым признанием церкви. Перед «нашим паровозом» вместо коммуны замаячил тупик, и мы стали искать виноватого. Но кто же из многочисленных машинистов, сменявших друг друга, виноватее всех, уже не доискаться. Единственный путь, у которого нет конца, это дорога в космос. Все остальные конечны. Это признавали и марксисты. Поэтому никто не застрелился с горя, а мы глубоко задумались.

Реальность потребовала из забвения свежие творческие силы, без них опять не обойтись: нужна полноценная наука и полнокровное искусство. Поколение, мечтающее о десятках наименований колбас, получив эти наименования, удовлетворенно вздохнет и двинет в филармонические залы? Не уверена. Даже в самом благоустроенном обществе почтенный, милый, честный обыватель составляет его абсолютное большинство. Искусство слишком тонкая материя, чтобы удовлетворять всех без исключения. На этом мы спотыкались не раз. Эта очевидность воспринималась бы нами не столь болезненно, если бы искусства у нас было много и везде — в библиотеках, в магазинах, витринах, в скверах и на площадях. А пока что библиотек мало, и они бедны, особенно детские. Магазины грязны и пусты. Витрины убоги. Скверы запылены. Если на площади стоит памятник, то непременно страшно монументальный, давящий, нечеловеческий. Современное искусство существует как бы в резервациях: в творческих домах, узких просмотрах, полузакрытых вернисажах. Нынче ему отписали Арбат. Оно там «ночует». В теперешнем варианте наш Арбат стоит десяти Монмартров хотя бы потому, что стойко вытесняет «мальчика со струей» пусть и декоративным, пусть и наивно-ремесленным забывленным отечественным пейзажем с луной и целомудренной маковой.

Что касается «изучения жизни». Кавычки тут не случайны. Средняя школа вышибла из меня всякое желание «учиться». Но хотим мы того или нет, жизнь, разумеется, диктует нам свои уроки, и мы постепенно умеем. Этой школы не избежать. Ее проходят и плотник, и академик со всем своим энциклопедическим багажом.

3. Когда я думаю о том, что тысячи людей ежедневно встают по звонку и спешат на свои рабочие места, мне становится неловко за то, что я не спешу вместе с ними и даже не сажусь по часам за письмен-

ный стол, и даже могу неделями не написать ни строчки. Но за ненаписанное мне никто и не заплатит. Тогда как известно, что у нас пока что оплачиваются тонны и кубометры никому не нужного, созданного на рабочих местах, выращенного на больших гектарах. И все-таки долг... Конечно, он есть. Он заключается в том, чтобы работать честно, не преувеличивая меры своего таланта. Это трудно, граничит с самоуничижением. Но лучше недооценить себя, чем стать посмешищем.

4. Я слаба в теории. Мне думается, классика и есть традиция. Классики чту. По поводу художественных форм. Люблю: в музыке — Чайковского, в живописи — Шишкина, в литературе — Пушкина. Вот такая я дремучая. Может, потому, что многие так называемые художественные формы стремятся унизить меня, показать мне же мое лохматое животное доисторическое нутро в то время, как мне хочется совсем много: любви, полета, радости.

5. Давно-давно милый добрый Яков Захарович Шведов совершенно для меня неожиданно выпросил в Литфонде материальную помощь молодому литератору. Эти пятьдесят рублей для меня глубоко символически. Я никогда ничего не просила ни у кого. Мне дорога была независимость. Хотя соблазн притутиться к большому имени возникал порою. Мне дружески кивали Юлия Друнина, Булат Окуджава, Арсений Тарковский (царство ему небесное!). И еще многие, кому могу поклониться и честно посмотреть в глаза — их вниманием я ничуть не злоупотребляла. А внимание было. Леонид Мартынов на приемной комиссии в Союз писателей сказал — давайте примем ее, иначе это дитя зачахнет. Великодушный человек. Недаром что большой поэт.

6. Отказываться от прошлого — дело глупое. Какое бы ни было — оно поучительно. Вспоминая двадцатилетней давности Дни литературы в Узбекистане и Сибири. Я была «молодое поколение». На трибуны не кидалась, не высывалась, уютно ездила, смотрела, угощалась. Не могла не видеть в нескольких метрах от дастархана (пиршественного стола) убогое житье за глиняными дувалами, худо одетых детей, заезженных тюменских поросят, как нищи села, какая девственная грязь на дорогах засасывает наш праздничный «уазик». Видела, потупляла глаза: кроме меня, около сотни крепких голосистых литературных дядек видят то же самое. И ничего. Речи говорят, поросят кушают. Совесть отдыхала. Хватило ума не разразиться какой-нибудь одой «во славу». И то хорошо.

8. Условия, в которых творило, пробивалось и пробивается наше поколение, не самые благоприятные. Хотя для кого-то они и были подходящими. Ведь существовал совершенно четкий стереотип, который сулил издательский успех. Теперь смешно, но некогда редактор строго советовал мне: «Пиши гражданские стихи». И я, глупая, мучилась, потому что мне не хотелось писать о БАМе. В понятие «гражданские» не входило правдивое слово о жизни. Действовал стереотип. Вышли тысячи одинаковых поэтических книг разных авторов. И тогда заговорили о застое в поэзии. Глубоко заблуждение. Кто был поэтом двадцать лет назад, тот им и остался. Приспособленцы замешкались — новые стереотипы запаздывают. Но одно угадали быстро: сейчас многое дозволено. Вплоть до матерщины. Не будем сгущать. Не трагическое наше поколение, а слегка придушенное, как нынче говорят, командно-административной системой. Наше время истекает, на смену идут новые голоса. Пушкина среди нас не объявилось. Но был Рубцов. Это совсем немало.

* * *

Поэзия вышла из строя —
Не хочется ей воспевать
Безумную мощь гидростроя,
Морей рукотворную гладь.

Не грустно ли нынче, поэты:
Толчете одно и одно.
Румяные наши рассветы
Подернуты пеплом давно.

И в сказочных реках наяды,
Какую весну напролет,
Вдыхают незримые яды
И бьются как рыбы об лед.

Поэты, ну что же вы, ну же!
Спешите узреть с высоты
Атласную радугу в луже
И бывшего леса следы.

Пусть честное резкое слово
Звучит «вопреки» и «вразрез».
Там можно лишь вымолить снова
Народный к себе интерес.

СКАЗКА

В одном старинном государстве
Когда-то правил хмурый царь
И, не замеченный в коварстве,
При нем ученый секретарь.

Дела страны пришли в упадок:
За недородом недород.
И, полный всяческих догадок,
Роптать повадился народ.

Чтоб одолеть людскую смуту,
Царь, не найдя, кого казнить,
Вдруг повелел — сию минуту
Все балаганы упразднить.

Умолкли музыка и скрипки,
Сидит без дела лицедей,
И стали редкостью улыбки
На лицах взрослых и детей.

Никто, смеясь, не бьет баклуши.
Ни вольнодумства, ни острот.
А все высасывает души
За недородом недород.

Царь испугался за корону
И своего секретаря
Набраться чуждого закону
Послал за дальние моря.

С секретаря и взятки гладки:
Не воротился ко двору.
Как видно, чуждые порядки
Ему сказались по нутру.

Меж тем народные усилья
Все ж принесли свои дары:
Заполонило изобилье
Опустошенные дворы.

Опять держава процветает.
А все волнуется народ —
Ему музыки не хватает,
И балагана, и острот...

Какая в сказке подоплека,
Какая, спросите, мораль?
И для чего ходить далеко,
В чужую вглядываться даль?

Духовный голод — тоже сила.
И незаметная, она
Народы крепкие косила
Похлеще горького вина.

* * *

О чистота, куда ты делась,
И нынче как тебя назвать?

Любимый, я уже разделась.
Мне больше нечего скрывать.

Да, не красавица с обложки,
Простая, как миллионы тел.
На мне лишь мамини сережки.
Скажи, ты этого хотел?

Игнатий Поликарпович был очень терпеливый.
Он тихо поклонился: — Ну что ж, я подожду.
Ведь у него есть Соня, и, значит, он счастливый,
И не такую в жизни умел терпеть нужду.

А в городе так шумно, и все куда-то мчатся,
И жизнь в цветах и красках уносится вперед.
Еще совсем немного, все станет получаться.
Игнатий Поликарпович потерпит, не умрет.

И станет жизнь такая, которая мечталась,
Когда пылал зарею необратимый век,
И все имело цену, и дружески срасталось —
Турбина и былинка, и просто Человек.

АНАТОЛИЙ ТЕПЛЯШИН

1. Может быть, я напрасно усложняю простой, по сути, вопрос, но для меня жизненный опыт и литературная работа неразделимы. И не слишком радостное детство, и служба на флоте, и работа в море, на заводах, в газете, в колонии строгого режима, и учеба в Литературном институте, и прочитанные книги, написанные стихи, статьи — все это и есть мой жизненный опыт и в то же время — в этом истоки моей литературной работы. К сожалению, мы часто разделяем литературу и жизнь, духовные и материальные стороны действительности.

Мои первые стихи были опубликованы в многотиражной газете «Металлург», а первая центральная публикация была в 28-м номере альманаха «Поэзия».

2. Для меня второй вопрос неразрывно связан с первым. Некоторым юмористам уже оскомину набили биографические врезки перед публикациями молодых писателей. В них обычно перечисляется, где данные писатели работали, и надо сказать, что у многих писателей очень экзотические в этом смысле биографии. Прежде чем написать что-нибудь стоящее, наши писатели активно «изучают» жизнь. В результате к сорока годам у них выходят одна-две тоненькие книжки, и к ним, как в насмешку, все время приклеивают ярлык «молодого писателя». Все малоизвестные писатели у нас числятся молодыми, хотя в их возрасте Пушкин, Есенин, Лермонтов уже закончили свой творческий и жизненный путь. Но ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Есенин не «изучали» жизнь — они жили и писали. Что касается меня, то я за профессионализм в любом деле и в писательском тоже. Поэтому мне кажутся, мягко говоря, непродуманными выступления некоторых писателей по Центральному телевидению, где они заявляют, что писателям вообще не нужно платить за их труд, и я не согласен с таким термином «Книжного обозрения», как «работающий поэт». Для меня работающий поэт — это поэт, который пишет стихи, и если он не может прожить на литературный зара-

боток и вынужден подрабатывать, то это его личное дело, но уж никак не заслуга и не обязательная привилегия.

Самым горьким конфликтом современности я считаю конфликт между долгом человека и гражданина. Представьте себе батальон солдат, «любой ценой» берущий высоту, которую, как потом оказывается, и не надо было брать, а брали только потому, что командир полка был зол на комбата и послал его с батальоном на верную смерть. А наши ребята в Афганистане? А наш Орско-Халиловский металлургический комбинат, дающий стране сталь и чугун и в то же время сокращающий жизнь жителей нашего города? А ведь на нем работает сорок тысяч человек. Сорок тысяч судеб, характеров. Я не пишу об этом напрямую в стихах, скорее это дело публицистики, но эти проблемы всегда кровоточат во мне и накладывают отпечаток на все мои стихи.

3. Когда я только начинал писать стихи, я представлял долг писателя ни больше ни меньше как в том, чтобы служить Отечеству. Но потом я задумался, что это, наверное, долг всех граждан нашей страны, а не только писателей. Но, может быть, долг писателя в том, чтобы всегда писать и говорить правду? Но это скорее долг политиков, историков и юристов. А ведь были годы, когда многие из них как будто бы забывали об этом долге. Но, может быть, долг писателя в том, чтобы воспитывать людей на основах гуманизма? Но разве это в первую очередь не долг педагогов? «Красотой спасется мир»,— сказал Достоевский. Так, может быть, долг писателя в том, чтобы служить красоте, создавать ее? Но этим заняты и художники, и артисты, и музыканты. В чем же он, долг писателя? Для меня он в пушкинской формулировке: «Слова поэта суть его дела». В наш век, когда слова истерты, замызганы, когда они служат не для выражения мыслей, а чаще для сокрытия их, долг писателя заключается в том, чтобы вернуть каждому слову его первозаданную чистоту. А мой личный долг? За последние три года я потерял почти всех близких мне людей старшего поколения. Жили они трудно и честно, но ушли — и как будто стерлись в памяти людской. Сказать о них, за них — в этом вижу я свой долг. Смогу ли я его выполнить, сумею ли?

4. Мне близки традиции русской философской лирики. Баратынский, Тютчев, Заболоцкий... Этот перечень можно продолжать до бесконечности, так как практически у каждого из наших поэтов есть философские стихи. Я считаю, что поэт должен выходить к читателю не только со своим голосом, своей судьбой, но и со своей философской системой, со своим мировоззрением. Когда-то это было в порядке вещей, сегодня многие из нас гордятся своим невежеством. Мало того, что мы ленивы и нелюбопытны, но и вся жизнь наша устроена так, чтобы мы стали еще ленивее и нелюбопытнее. Мало настоящих книг, особенно в глубинке, но самое главное нет Учителей, Наставников, которые учили бы нас мудрости. Те знания, которые мы получаем в школе,— это суррогат знаний, а заниматься самообразованием не хватает часто ни времени, ни сил. Что касается исканий в области художественной формы, тут многие из нас не блещут разнообразием. Не разработаны огромные жанровые пласты прошлых веков, а всякие «черные квадраты» в поэзии представляются мне малоперспективными.

5. С благодарностью называю четыре имени. Николай Николаевич Сидоренко — будучи руководителем нашего семинара в Литинституте, он внушил мне священный ужас перед русской поэзией и избавил меня

от некоторой самоуверенности, присущей молодости. Василий Ефимович Субботин — напротив, подарил мне веру в собственные силы и, по сути, был крестным отцом моей первой книжки «Открытый океан». Наше общение было непродолжительным, но я по сей день нахожусь словно в магнитном поле влияния этого прекрасного поэта, писателя и человека. Николай Константинович Старшинов — с его легкой руки я стал молодогвардейским автором и готов быть им до глубокой старости. Игорь Иванович Шкляревский — он написал предисловие к моей первой книжке «Открытый океан», которое стало для меня своеобразным критерием в дальнейшей творческой работе. За неимением места я вынужден говорить об этих людях сухо, по существу вопроса, но на самом деле их влияние на мою жизнь и творчество, конечно же, выходит далеко за рамки сухих фактов.

6. У меня нет практически стихотворений, за которые я испытывал бы чувство стыда, если говорить, конечно, о содержании, а не о художественных достоинствах. Но в этом нет моей личной заслуги: я не был ни умнее, ни прозорливее своих сверстников. Но обстоятельства складывались так, что я долгие годы был оторван от литературного процесса, который вольно или невольно требует от поэта создания номенклатурных произведений, откликов на злобу дня. В этом, кстати, нет ничего плохого, если поэт не кривит душой и не создает заведомо официозные произведения, преследуя свои личные цели. Поэт — дитя своего времени, поэтому правомерны его попытки выразить время в своих стихах. Его ошибки связаны с трудностями роста общественного сознания, с мучительными поисками истины. У меня этот процесс шел несколько иным, личностным путем, и если мне приходится за что-то краснеть, так это за свою жизнь, за ее пошлые и теневые стороны, но стихи, как дневник души, здесь ни при чем.

7. Я считаю свое литературное поколение и счастливым и трагическим одновременно. Внешне благополучное, оно тем не менее лишено жизненной стойкости отцов, их исторического оптимизма, их спокойного, мудрого отношения к жизни и смерти. Но нет в нас вольности, дерзости, открытости наших детей. Наше поколение в чем-то сродни лермонтовскому, и его бессмертная «Дума» («Печально я гляжу на наше поколенье...») сегодня звучит особенно злободневно. Но есть в наших душах такой опыт, какого не было у наших отцов и не будет у наших детей. Этот опыт называется — прозрение. И чтобы мы ни увидели, прозрев — прекрасную ли равнину, окаймленную широкой и вольной рекой, в водах которой отражается храм, или развалины того же храма трех наших святынь: Веры, Надежды, Любви, — все равно, прозрение — это счастье. А нам, я думаю, суждено прозреть до конца. И заново отстроить храмы из холмах России и в своих душах, и заново постигнуть великие истины Любви, Добра и Справедливости, и, конечно же, пронести их свет в своих произведениях. Да будет так!

* * *

На кофейной гуще не гадали,
с призраком беседы не вели —

медленными трудными годами
в неизвестность будущего шли.

Так сложилось? А могло иначе?
Ничего уже не изменить:

все ошибки, все просчеты — наши,
некого и не за что винить.

Нам от этой мысли веселее,
сердце вырывается из пут.
Человек — один во всей
Вселенной —
собственный прокладывает путь.

Но порой душа кричит от боли:
что с тобой? куда же ты глядел?
Неужели ты по доброй воле
выбрал свой безрадостный удел?

Собственной несбывшейся
судьбою
этот путь несправедливый мостил?
Если ты не шутишь — над тобою
кто-то очень страшно подшутил.

Что же ты, растерянный и жалкий,
хочешь в оправдание сказать:
что любая скверная гадалка
худшего не может предсказать?

То, что запоздалым сожаленьем
и прозреньем горестным богат,
человек, один во всей Вселенной,
в собственных ошибках виноват?

ПРИЗНАНИЕ

Неизвестным художникам

На вашей улице сегодня праздник.
Колокола кипят, и тают свечи.
Фанатики искусства.

Камикадзе,
на бреющем ворвавшиеся
в вечность.

Потомки, ослепленные судьбою,
наполненную вспышками
от взрывов,
стремятся запоздалою любовью
восстановить земную
справедливость.

И в оправданье прошлых
поколений,
травивших вас и мучивших
напрасно,
мы говорим:
жизнь, полная творений,
таких, как ваши, — эта жизнь
прекрасна.

Судьба всегда —
часть созданного нами.
И каждый может быть ее достоин.
Земля опять несется под крылами,
но мир спокоен.

Навсегда спокоен?

Последний раз под тяжестью
отплакав,
летите над земною круговертью,
рожденные для участи атлантов
и без вести пропавшие
в бессмертье.

* * *

Врачи боролись до конца,
дыханье стерегли,
но не спасли они отца, —
как видно, не смогли.

И я ничем помочь не мог:
бессильны крик и плач.
И безнадежно за порог
шагнул дежурный врач.

Он постоял, вздохнул —
и прочь
пошел, не пряча глаз.
Он честно прожил эту ночь,
хоть и отца не спас.

Не бог же он в конце концов,
он тоже
чей-то сын.
И я остался над отцом
один, совсем один.

ПРОЗРЕНИЕ

Атлантов труд и вечная тревога,
Тернистый путь и горестный

итог —

Вот все, что смог бы ты просить
у бога,

Когда бы ты в него поверить смог.

Ты бедно жил, но не жил ты
убого,

Ты падал в грязь, но чист был
твой исток,

И ради пятисот заветных строк
Ты все отдал — и не считал,

что много.

Но, осмотрясь дорогою земной,
Ты понял вдруг, что страшною

ценой

Ты оплатил страницы тонких книг,

Что ни одной душе ты не дал
счастья,

И твой порыв сыновнего
участья —

Замерзший ком земли
в прощальный миг.

МОЛИТВА

Да не остудят сердца никогда
Ни вечный лед, сползающий

на сушу,

Ни серых лет глухая череда,
Как будто молью выевшая душу,

Ни лживый треп без меры
и стыда,

Свинцовой пробкой заложивший
уши,

Ни крик души в измятую
подушку,

Ни трубный голос Страшного
суда,

Ни подлый страх, сковавший нашу
речь,

Ни головы, слетающие с плеч
У тех, кто не давал обет
молчанья...

Поэт России, на какой же свет
Ты шел по бездорожью столько
лет,

Не изменяя горькому
призванию?..

СТАРИЦА

Речной поток уходит стороной.
Сюда и шум его не долетает.

Здесь комарье тугой гудит
струной,

да желтый дым над ряскою
витает.

С утра потянет ветерком с реки,
подернет «окна» сеткою

морщинок,

и в них качнутся, точно поплавки,
оранжевые чашечки кувшинок.

Никто не видит этой красоты:
сплошь берега позаросли талами.

Пуста вода, окрестности пусты,
Тропинки скрыты в травянистом
хламе.

А было время:

светлым рукавом,
который важно охраняли цапли,
неслась река в стремленье

роковым
избыть себя, излить себя до капли.

Но в темных недрах зрели
родники,

и в синем небе набухали тучи —
и вновь плыла живая гладь реки,
камыш качая, подмывая кручи.

Но что-то преградило светлый
путь:

деревья ли, сорвавшиеся в воду,
подводный выступ,

обнаживший грудь
в засушливую тихую погоду?

И, проторив спасительный проток,
ушла река

и думать перестала
о берегах привычных и про то,
что будет вскоре с этими
местами.

И все, что пело летнею порой,
дарило свет, печалило кого-то,
плескалось рыбой, чайкой,
детворой —
все превратилось в мутное
болото.

И если ты
со стороны реки
прорвешься вдруг на лодке
одинокой
в застойный мир, где плещут
мотыльки
и комарье клубится над осокой,—

о чем ты вспомнишь и о чем
вздохнешь:
о том, что жизнь твоя —
одни невзгоды,
о том, что ничего уж не вернешь,
как эти переменчивые воды?

О том огне, что вспыхнул и погас,
подернув сажей зелень тонких
веток,
о тех мечтах, осмеянных не раз
холодным и циничным нашим
веком?

А может, о друзьях, что вышли
в путь
наполнить смыслом прожитые
годы:
и вот живут сегодня —
как-нибудь! —

все тем же самым циникам
в угодую?

Нет, долго оставаться здесь
нельзя:
они отравой дышат, эти воды.
Там, над водою чистой, как слеза,
иные мысли обретут свободу.

Река тебя подхватит, как листок,
и понесет нездешней стороною...
Но где ж он, твой спасительный
проток?
Камыш стоит нетронутой стеною.

ТАТЬЯНА СМЕРТИНА

1. Все началось рано. Много отроческих тетрадей со стихами. Самые первые — опубликованы в районной газете «Арбажский льновод», мне было 13—14 лет. С тех пор и до сегодняшнего дня эта газета печатает мои стихи постоянно. А в центральных изданиях все началось поздно и тяжело.

2. Актуально и важно — большое и малое. От слезины человека до погибшей реки. От раздавленной стрекозы до экологического кризиса. От земли в горсти до земли всего Отечества. Потому что одно из другого вытекает. И все конфликты современности зарождаются в прошлом. А понятие «изучение жизни», по-моему, для поэта бессмысленно. Надо не изучать, а жить, и не выделять себя, как «изучателя», возвышающегося над живущими.

3. Долг писателя — быть правдивым и не торговать душой ради дельчества. И не воображать, что ты — богом избран. И — сострадать. И еще долг — молчать, если сказать нечего.

4. Мне близко то, что понятно, что тревожит. Можно осилить любую «заумь», но бесполезно тратить душевные силы на изыскание мысли и чувства там, где пустота, где сверкает одна конструкция. Не знаю, как можно вести поиск художественной формы. Специальный поиск, по моему, даст мертворожденную форму. А настоящее новое (форма) может лишь родиться при выплеске чувства, когда не знаешь — как выплеснуть? И вдруг оно выливается в нечто, чего не было ранее. Форму может породить душа. А натужное размышление может породить в поэзии не форму, а формочку — любопытный литературный ребус для однодневного аханья читателя. Удивить — это еще не значит достигнуть совершенства в чем-либо, так как удивлять способны — и Разум и глупость. И Красота и пошлость.

5. Иду самостоятельно. Но в принципе я бы и не желала, чтоб кто-то взял за руку и куда-то вел. Я бы хотела иного — чтоб не мешали идти туда, куда душа зовет. С благодарностью помню положительную рецензию Олега Дмитриева на мою первую книгу «Ягодиночка». Эта рецензия решила судьбу книги. Помню поддержку Альберта Лиханова — именно благодаря ему появились мои публикации в «Смене». Но часто бывает, что судьба стихов зависит от одного «движения мизинца» какого-либо человека. А у того — дела поважнее. И все же не хочу быть судьей.

6. Не могу понять людей, которые постоянно что-то меняют, меняют без конца, в зависимости от обстоятельств. Надо выбрать что-то одно и быть верным этому. Конечно, человек может совершить в выборе трагическую ошибку и потом «прозреть» — я это понимаю, но ведь и «прозреть» можно единожды, такова суть этого слова. При этом я не исключаю постоянное самоусовершенствование и труд во имя того, для чего живешь.

Не отрекаюсь от своих строк, а, наоборот, хотелось бы переиздать некоторые вещи без навязанных мне сокращений, а именно: поэму-быль «Венец из ярых пчел», месяцеслов «Марья — зажги снега»... А также наконец-то издать знахарский «Травник», объемом 11 авторских листов, который нигде не опубликован.

7. На последний вопрос я отвечу первым стихом подборки.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

И не один талант зачах!
Не нам искать удачу:
Мы шли с повязкой на очах
И на устах в придачу.

Сжигал бездействия огонь!
И, плюнув на карьеру,
Мы стулом называли трон
И презирали веру.

Сгорали мы по одному,
Мы к истине стремились —

Но вновь проваливались в тьму,
И в тупики ломились.

Жестока мафия царей —
Она удавом душит!
Парнаса мафия страшней —
На скальпель нижет души.

Чудес от слова ждать? Смешно.
Литкухней все свершено —
Там рыбок золотых ведро
Давно распотрошено.

Кипел, варился пересуд:
«Исчезли золотые...»

Отечество!
Не ешь тех блюд:
Нам больно,
мы — живые!

ЛИТИНСТИТУТСКОЕ

Я не знавала шумной славы,
И неизвестно до сих пор —
Иль головою пасть на травы,
Или на плаху под топор?

Москва, ломай мне белы крылья,
Но только — недуг исцели!
Собор Блаженного Василья
Измазан красками зари.

Метет январь по белосвету,
Мне ввек не встретить вьюги злей.
Я тоже злюсь и не уеду,
Хоть здесь намного холодней!

Изогнут мост над речкой тонкой,
Меж льдом и камнем спит вода,
А по морозу голос звонкий
Ведет неведомо куда.

И я — за ним, за ним по миру!
Под черным валенком в ветрах
Поземка гнет из снега лиру
И разрушает на глазах...

* * *

За окнами лес
Подернут туманом.
Читаю я здесь
Роман за романом.
И ходят, и бродят
Вкруг нашей избы
Какие-то люди,
Как всходят грибы...

Княжны Таракановой
След на лугу...
Раскольников прячется
В темном логу...

Родник утекает
И топит сто дум!

За елью стоит
Протопоп Аввакум...

КРАСОТА

Красный мак огнясь, пылая,
Красотою ослепляя,
Царски был хорош!
Это кто пред ним такая —
На коленях, в дождь?

Весь подол разорван в клочья!
Это пугало сорочье.
И горшок — венцом.
Пряди-космы ветер точит
И бледно лицо.

Все ж она, раскинув руки,
Лишь на мак глядит! И в муке
Слезы льются вниз —
Нет ее страшней в округе,
Хоть с тоски давить.

Мак той «бабы» не заметил!
И, красуясь в жарком лете,
Стал вдруг — коробком.
Тут его осенний ветер
Оборвал рывком.

Мир вокруг смолчал спокойно,
Лишь та «баба» преклоненно
Над сырой грядой
Уревелась ночью темной
О потере той.

Наутре похолодела,
Птицей вверх рванулась смело,
Охнув пред концом,
Вскинув руки —
полетела!
В грязь упав лицом...

ТУПИК

По малину в заломник
Мы ходили за Тупик.
А Тупик — деревня это,
Что жила на белом свете
Много, много лет назад...

Так уж ямы говорят,
Да замшелые гнилушки,
Сруб колодца на опушке,
И седая лебеда,
И полынная гряда...

Кто-то камень
Вздыбил к выси,
И на камне этом высек:
«Здесь сосной
зашибло Дарью».

Все рябинники по краю...
Кто здесь жил? И кем забыт?
Много лет Тупик молчит.

Лишь скользит во мхи,
как змейка,
Кое-где узкоколейка —
От войны еще осталась!
Помнит лет минувших тягость:
Здесь ведь бабы лес валили,
На себе тот лес возили...

А теперь — тут бродят лоси,
Алой клюквы рдеют горсти,
Да у сгнившего старья
Мрачно греется змея.

Иногда сюда с корзиной
Бабы ходят за малиной,
Возле камня севши в ряд,
Хлеб и яйца едят.
Мне места знакомы эти
До травиночки во рву,
Словно я на белом свете
Уж не первый раз живу...

И тоска такая душит
Перед камнем, где репей,
Словно в жизни той,
Минувшей,
Вроде было веселей...
И куда та жизнь умчалась?
Все забыто,
скрыто далью...
Лишь строка одна осталась:
«Здесь сосной
зашибло Дарью».

* * *

А там, где в доме парни,
Оттуда дым угарный.
В ограде — сапожищи,
И мотоцикл — как трон.
Весь день транзистор свищет
Под блесен перезвон.

А там, где в доме девки —
Ворота строят крепки.
Там травы, словно павы,
В окошко — взгляд отца.
Малиновые мальвы —
Как стражи у крыльца.

Когда заря восходит,
Дома те знает вроде...
Швыряет стружки в сенцы,
Где парни спят обычно.
И розовые ленты
Роняет в клеть девичью.

ВЛАДИМИР УРУСОВ

1. Когда-то, лет двадцать назад, без труда написалось несколько десятков стихотворений, темы которых варьируются до сих пор. Сейчас труднее быть естественным, непредсказуемым, опыт усложняет ход мысли и простые чувства убиваются оговорками, знанием частных истин. Как будто разбилось зеркало и мир стал пестрым. Для восстановления гармонии осколки надо срастить живой плотью, по граням, которые должны быть точно подобраны, чтобы рубцы были почти незаметны.

И кто из нас, лентяев, готов к такому труду? Поэтому примеров системного мировоззрения, частной философии, без которой невозможен большой поэт, нет в нашей компании ни у кого.

Другой взгляд на соотносимость поэзии и жизненного опыта. Стихотворение рождается из первой строчки, она определяет весь ход, строй и лад, шелест ветра и вздох человека, навсегда остающийся в словах, продиктованных свыше. Это факт везения — услышать. И нужен дар — абсолютный поэтический слух. При чем тут жизненный опыт?

Первые мои, я надеюсь, именно такие «произведения» были опубликованы в альманахе «Поэзия» лет пятнадцать назад. Тогда мне везло гораздо чаще.

2. Актуально в поэзии неожиданное. Свои «смелые» стихи мы писали давно, так долго, что они ко времени публикации устарели и вызывают недоумение. В этом трагедия нашего поколения. Или, вернее, драма, на фоне которой комедианты постарше легко приспособились к болоту безвременья. И тем более сейчас в мутном омуте эпохи болтовни живется им не тужится, бесхребетным. Сломать можно только что-то твердое и надо бы гордиться тем, что наше сопротивление было подавлено. Но это черная гордость, от бессилия и для покоя.

Быть может, кто-то слышит в ходе времени лязг железных шагов. А вдруг это лоскотанье консервных банок, волочащихся по следу. Уловить разницу в этих звуках дело не простое, но жизнь изучать для этого нам уже поздно. К сорока годам можно только подучиваться, больше доверяя себе, своему опыту. Вот здесь он необходим.

3. Про долг писателя можно было бы прямолинейно, по-белогвардейски отрубить: «Долг — наша честь!» И это так. Но в чем наша честь? Почему Россия была придавлена и обескровлена, лишена лучших людей, какой рок втянул страну в серию братоубийственных боен. И что делать нам. Ждать вождя с энергией арийца, хваткой и дальновидностью англосакса и т. д.? Или долг писателя — изучать ход событий, предостеречь... глупых людей. Но кто знает меру собственной глупости.

Если бы можно было определить долг писателя — это давно было бы сформулировано. Долг писателя — исписаться. Исписавшийся поэт может перейти на прозу, а прозаик — углубиться в дебри мемуаров: «Я — о себе». Поэтому анкета преждевременна.

4. Отношение к традициям в литературе — элитарный вопрос. Чтобы серьезно говорить об отношении к традициям, надо бодро чувствовать себя в первой десятке русских писателей. Чем меньше оснований для таких претензий, тем размашистей объятия с прошлым или его отрицания. Наше поколение воспитано на поэзии начала века, и перекличка с тем безвременьем эхом замирает где-то в развалинах церквей, в проулках глуповских городков, в казармах столичных окраин.

Насильно прерванная связь времен, замкнутость нашей системы привела к отставанию от западной литературы, от русскоязычной литературы, изъятой из обращения. Если серьезно говорить о первой десятке — там полсотни вакантных мест, и начинать надо с подступов к честной бытовой прозе. Мемуарно-дальнобойная литература о довоенном периоде нашей истории не тема анкеты, это чьи-то долги. Но поэзия, поэзия...

Где средства, достойные цели, где мелодия, зашарканная глагольными рифмами. Какие уж там искания... в области формы. Многословные разрозненные заметки по частным поводам — вот наша поэзия. Я уж не

говору о судьбе, о жизни поэта. Которая должна выбиваться из обывательской, да не искусственно — на БАМе поработал, в Афгане отметился, — а по высшему счету, от природы, по везению. Такой судьбой не завладеть, это дар.

Благополучие, отсутствие пути — и вот кто-то более ироничен, но до уровня Саши Черного дорога далека, с хромотой на И. Анненского. Тоньше пишут наши дамы, но кухонно-любовные медитации, их грустные вещицы лишь умиляют. И тогда они говорят басом. Назло тенорам с песнями о детстве и деревне, о дедах. Тут разделение труда — о бабках пишут прозаики, так вышло. Сообща пишется только о чужой войне. О грибной России. Ни о какой новой форме тут речи быть не может. Дорога накатана, шарабан — хорошая, почти американская повозка.

Что же в перспективе? Быть может, пробьется струя живой воды — в синтезе, в сплаве личных переживаний с мгновенной, в пределах одного стихотворения переоценкой, сменой точек зрения, в смещении и насаивании смыслов подтекста, когда в меру полный охват противоречивого мира (в случае удачи!) даст представление о неуловимой, неподдающейся прямому называнию гармонии времени и человека в этом времени. Почему-то это есть в наивных афганских песнях, сделанных неумело, но прочно, без оглядки на мастерство. Или это от заданности — в 20 строчках сказать обо всем: о любви и смерти, о чужой пустыне и далекой Родине. О друзьях. Или это печать той же Судьбы, причастности к делу, кровью и гарью подпитывающей слово. Но будет ли продолжение? Ведь там еще движется, дышит живая глыба прошлого. Слава Богу, туда возврата нет. Оттуда только облака.

5. Мне помогали и творчески, и по-деловому, прямо — редакторским топором гася глупости в навале чепухи моих опусов, и косвенно, — молчанием по поводу многолетних каких-то уходов моих в лихую, например, но неизбежную писанину хабаровского геофизического периода. Куняев пожал плечами, а я почесал в затылке: где ж ты тайга, ружье на столбе и красная печка в палатке, где тоска, залитая спиртом. Спирт надо было разбавить водой — писать прозой. Это урок.

И не забыть старшиновского, всегда неожиданного (ну, может, я и просил когда чего, отчетно бы тут и не соврать) вмешательства в мои вяло текущие литературные дела. Первая книга, вступление в Союз, публикации в альманахе. Без такой поддержки многие из нас растерялись бы, утратились, затерялись.

Конечно, помогала Л. Васильева. Большая подборка в Дне поэзии и, кстати, там же статья В. Кожина могли бы ввести меня в строй действующих поэтов, да тот пыл, замеченный и поддержанный так щедро, увял, иссяк. Но это уже моя беда.

Возвращаясь к 70-м годам, я вспоминаю Б. Д. Пуцыло, тогда сотрудника литконсультации при СП. Не было такой командировки, чтобы я не зашел в пенал его сумрачной кельи на улице Воровского, и не было случая, чтобы я не застал его там с сигаретой над развалом рукописей таких же, как я, визитеров. Сразу отобрав десяток стихотворений, он снова и снова выделял их среди хлама новых. Небрежно мною правленные, они крутились в бумажном водовороте, пока не всплыли, наконец, в два приема вытянутые на страницы альманаха. Что тут сказать, кроме как «спасибо», которое звучит так отдаленно, так давно.

6. Сейчас действительно бытует мнение, что времена поменялись, и внешние приметы есть. Но кооперация, кроме туземных товаров, ничего не дала, штурмовые отряды милиции вооружились дубинками и рэзовскими кепками, а «Память» ест поездом дзэсовцев, самоуничтожаясь и опошляясь. Крыша над державой все та же. И странно выглядит массивированное скатывание ванек-встанек вдоль по левому да вдоль по правому уклону, как будто не было основы, позиции у наспех поверивших в разлом, временной надлом.

Вряд ли кто из нас в конце 60-х не прочитал, не усвоил эстетику, политическую пестроту Солженицына, Платонова, Булгакова, Замятина. Гумилева даже у нас на кафедре в горном институте перепечатывали почти в том же полном виде, как он сейчас подарен всем.

Да, процесс идет вширь, тотальная публикация известного, но приержанного как-то влияет на общественное представление о нашем литературном богатстве. Можно захлебнуться. Но моего поколения это не коснулось. Мы это проходили. Чем застой хуже этой новой говорильни, неясно пока. Поэтому не стоит кувыркаться.

Впрочем, это зависит от темперамента. Допускаю более резкие высказывания, акцентирование внимания на желательности перемен. Но ход исторического времени — объективный процесс, управляемый экономикой, ее возможностями.

Мы все те же. Страна не готова к резким подвижкам. Это как тектонические процессы в земной коре — вулканы задымили, в Японии перебилась весь хрусталь, а плита под нею — на месте.

Так же трудно сбить с толку и нас. Не хочется никаких катастроф. Но писать правду — надо!

7. О судьбе моего поколения преждевременно что-то говорить, итоги подводить рано. Да и есть ли лицо у этого поколения, можно ли разглядеть его характерные черты? Мало сказать, что среди нас нет единства, как у шестидесятников, которые, даже пикируясь, подыгрывают друг другу. Разбитые на группы или попросту единолично разобщенные, мы находимся в отношениях широкого спектра — от равнодушия до откровенной вражды. Интересно, что эти отношения выстроились совсем не на основе зависти к успеху или различии творческих программ, почти не выраженных. Быть может, такая система отношений устраивает наших «старших» или даже поощряется ими в ряде случаев совсем не бескорыстно. По-умному сводя счеты между собой, они используют посредников? Тогда наша глупость действительно трагична. Трагикомична.

Я не призываю к стадности. Смешна картина единомыслящего конгломерата, шествующего по широкому проспекту Согласия с мычанием в унисон. Но и разброд, раздрызг при наличии общего дела — нелеп.

Наше будущее, если оно имеет претензии на достоинство, на смысл не зря прожитой жизни — в уходе от суеты, в осознании пути страны и нашей причастности к ее судьбе, в нашем стремлении к правде настоящей литературы. Это хорошая основа для единства.

* * *

Вот маячит темный флаг
впереди —
в чистом поле комиссара встречай

(пулю в лоб тебе за крест на
груди).

Эх! По золоту погон получай.
А на красную звезду сквозь туман
дырка маузера хмуру глядит.

Рвань лампасную терской атаман
подобрал себе — к бандиту
бандит.

Мать-анархия, российский
бардак —
воля в глотке, да земли два
вершка.
В дым черемухи, в ближайший
овраг
наши-ваши повели мужика.

И побили козырей всех мастей,
в карусели заржавел механизм...
На фундаменте из белых костей
должен намертво стоять
коммунизм!

* * *

На окраине сонной столицы,
где кружил на ветру листопад
и над свалками каркали птицы,
я ловил твой задумчивый взгляд.

Ты казалась тряпичной игрушкой,
у которой пружинный завод
был разбит телефонною двушкой
из набора карманных острот.

И за чашкой кирпичного чая
я сидел, как китайский болван,
в такт словам головою качая,
и смотрел в заоконный туман.

Бился в сумерках газовый факел
над мерцающим кафелем стен,
словно снился мне розовый ангел,
заблудившийся в джунглях антенн.

И когда оглянувшись случайно,
я наткнулся на злые глаза,
мне понравилась бездна
и тайна —
это были мои небеса!

Звук сочился сквозь мертвую
воду,
дернешь нитку — ошейник звенит.

Я лакаю из блюдца свободу,
у тебя ослепительный вид...

* * *

В пестрой тьме городских окраин
заиграет магнитофон
и ответит собачьим лаем
тишина с четырех сторон.

Я усну — городок приснится,
его скромный рабочий лад,
вождь чугунный с пустой
десницей
и на церкви кривой плакат.

Слава тем, кому надо славы!
Человек проживет и так:
в профсоюзе найдет управу
на ревнителем жирных благ...

Молча выберет депутата
и на Май в розовую синь
русской водкой помянет брата,
пулей сбитого в пыль пустынь.

И любовь его тоже сказка
к детям, женщинам и Руси,
как разбитый асфальт и краска
на измятых боках такси.

Дать бы волю железным нервам
и шарманку бы завертеть,
сочинить па-де-де с припевом
на грядущую жизни треть!..

Только юность моя далеко,
плод эпохи — лежу в дыму,
пью вприкуску и сплю глубоко,
не завидую никому.

* * *

Я думал, жизнь моя — борьба.
В борьбе за мой покой
звенела медная труба,
и жизнь текла рекой.

Так продолжались дни мои,
и я построил дом,

песчаный замок для семьи
на острове одном.

Идут года, возврата нет,
ночным не верю снам,
когда рисует лунный свет
дорогу по волнам.

И проплывают корабли
из серебра небес,
зовут меня на край земли,
в страну больших чудес.

А я сижу на берегу,
на золоте песка
и ключ от лодки берегу,
и нет на ней замка!

* * *

Эта комната прошлым полна.
Отзываются медленным звоном
позабывших вещей имена,
растекаясь в дыму заоконном.

Что за рухлядь, какое тряпье!
Ваза жалкая склеена грубо.
Я не помнил сто лет про нее,
и насмешливо морщатся губы.

Но хранит она тени — цветы.
Я тушил о хрусталь сигареты,
и смотрела так радостно ты
на случайные наши букеты.

Ничего — заживет, зарастет,
или вовсе она разобьется.
Хлам пылает — и чист горизонт,
и заходит за окнами солнце.

* * *

Если я проснусь в раю —
бога ль, божию коровку
отпустить уговорю
на три дня в командировку.

Пошататься по земле,
срезать ивовую палку,

помешать огонь в золе,
завалиться на рыбалку.

Познакомиться в кафе
с легкомысленной девицей,
на троллейбусе в Москве
без билета прокатиться.

Съесть мороженое, щи,
научить вещать пророков —
а потом ищи-свищи,
где я шастал тыщу сроков!

* * *

Старятся акселератки
в юбках до пят
и в смазных сапогах,
с кухонным фикусом в кадке,
с внуками на руках.

Где ты, смешная девица,
профиль, летящий во мгле?
Юность, далекая птица,
крылья полощет в золе.

Дурень с фотоохотой!
Мне в объективе видней,
как изуродован модой
дым черно-белых теней.

Скользкий чулок на платформе,
узкий смешной воротник.
К локтю приник в полудреме
джинсовый мальчик-старик.

Сон золотой не нарушу,
низко склонюсь над столом —
да сохранит вашу душу
этот дремучий альбом...

* * *

Невесомый посыпался снег...
Сколько нежности в светлом
паденье.
За четою влюбленных калек
счастье тихое двигалось тенью.

На платформе стояла толпа,
ожидая зеленых вагонов.
и не видел никто, как слепа
эта бедная пара бездомных.

Словно нищий ладонь протяну
двум иконам в сверкнувшем окладе,
лишь полцарства за душу одну
поделитесь, подвиньтесь, подайте.

Но как небо их взгляд отстранен —
не нарушить их волчьего бега,
не постигнуть божественный сон
в жарких шубах из ветра и снега.

* * *

В нашем отстраненном поколенье
лопнут лапти и прольются щи,
и не треснет лишь долготерпенье,
в Лету канув камнем из пращи.

Эй, щенки, желаю вам удачи,
а себе желаю — ничего,
чтобы не давать лохматым сдачи
снизу положенья своего.

Где они, удары по мордасам,
бой с делягой, схватка с подлецом...
Вспоен разведенным русским квасом,
ускользаю в рукопись лицом.

Там в страницах желтых с грязью слиплись
капля крови, мысли между строк —
из кого-то выйдет славный витязь?
Выше уши, будущий бульдог!

МАСТЕРСКАЯ



ВЯЧЕСЛАВ КУПРИАНОВ

Поэзия и ее свобода

Очень много было споров, досужих домыслов, попыток научно обозначить, что такое свободный стих. Да и не свободный стих вообще, а именно русский, поскольку наше русское должно быть особенным, не таким, как у других, а иначе нам этого и вовсе не надо. Крылось за этим странное довольство тем, что уже есть, скрашенное благородным желанием это уже имеющееся улучшать постоянно в заданном направлении. Одни полагали, что надо все лучше и лучше рифмовать, так, чтобы даже и незаметно было, что речь рифмованная, иные рассупонивали рифму до болтанки, зато легче двигался внутри такого стиха здоровый смысл все еще современной поэзии. В исключительных случаях позволялась полная безрифменность, но размер должен был оставаться точно пригнанным, как галоши, чтобы не оставались при ходьбе по лирическому бездорожью в реальной грязи. Надежный старый белый стих! А если отбросить и метр, к которому сводят часто все связанное с ритмом, понятием более объемным, так вот без метра и без рифмы якобы остается пустота, в которой полностью растворяется привычный туман поэзии.

Приходится слышать от стихотворцев, по долгу службы или служения литературе читающих верлибры, что они так могли бы писать «до бесконечности». Могли бы, но не пишут. Объективности ради надо признать, что некоторые все-таки действительно так пишут, дискредитируя свободный стих. Но дискредитаторы есть в любом жанре. Однако попробую остановиться на этом аргументе — потенциальной бесконечности свободного от рифмы и размера художественного произведения.

Приведу для начала пример отнюдь не художественный. Не уверен в точности, не хочу заглядывать в устав, но со времен военной службы припоминается такое определение функций затвора:

Затвор служит:
для досылания
патрона в патронник,
для запирания канала ствола,
для производства выстрела,
для выбрасывания стреляной гильзы.

Я бы хотел обратить внимание всех, кто хочет понимать верлибр, на этот пример. Это пример хорошей деловой прозы. Можно ли его продолжить «до бесконечности»? Нет, ибо этим исчерпано действие затвора. Исчерпана идея затвора. Предметное содержание этого текста определяет не только его границы, но и четкий порядок, изменить слова невозможно, ибо изменится, исказится и суть описанного действия.

Художественный текст отличается от подобного наличием содержания, дополнительного к предметному. Уже неказистая пародия, расширяющая содержание до бесконечности, может быть отнесена к сочи-

нениям, вызывающим катарсис прежде всего у знающих «оригинал», образец переиначивания:

Солдат служит
для засылания в логово врага
для запирания подступов к окопу
для производства выстрела
для выбрасывания на свалку истории

Неделовой характер этого текста очевиден, а его художественное несовершенство как в возможности других «пародийных» вариантов, так и в ощущении потенциальной возможности его продолжения, если не «до бесконечности», то в любом случае можно что-то еще «присочинить», а что-то и выбросить без особого ущерба для содержания. И еще можно сказать, что этот текст весьма слабо «омывается» бесконечностью не потенциальной, то есть «дурной», а бесконечностью актуальной, полной, втягивающей совершенные творения человеческого духа в вечный контекст мировой культуры. Как бы все это объяснить поподробнее прежде всего самому себе?

У М. Пришвина есть великолепный рассказ о сути сочинительства, так и называется — «Сочинитель». Подпасок не хочет читать свеженапечатанный рассказ автора, и вот их диалог:

«Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?»

— Не все,— ответил я,— но есть немного.

— Вот я бы так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как. Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утятя — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалеюку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну а дальше-то что? — спросил я.— Ты же по правде хотел noch представить.

— А я же и представил,— ответил он,— все по правде. Куст большой, большой. Я сижу под ним, а утятя всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, коротко,— удивился подпасок,— всю-то ночь напролет: свись, свись, свись».

Что здесь происходит? Подпасок желает здесь от автора неслыханной гениальности, чтобы он мог описать ночь так точно, «по правде», как это можно сделать с затвором. Автор же признается в своем авторском безвыходном положении — в необходимости «выдумки», вымысла, внесении своего неточного «я» в «точную» единственную «ночь». Подпасок опровергает само предположение о невозможности объективно выразить состояние ночи, он просто сажает себя этой ночью под куст и исчезает в этой ночи как в бесконечности. Для этого исчезновения ему многого не надо, достаточно этого «куста» и свиста утят. А на вопрос профессионального сочинителя — а дальше-то что — он просто вводит координату времени — «всю-то ночь напролет». Там, где сочинитель мучается в поисках развития сюжета, природный человек погружается в длительность озвученного времени, и в этом его художественная правда жизни. Для такого читателя уже готово оформленное стихотворение:

Ночь. Куст большой, большой у бочага.
Я сижу под кустом, а утята —
свись, свись, свись.
Всю-то ночь напролет.

Дальше начинается дело вкуса. Если отбросить первую строку, если отвлечься от чисто русского происхождения этой картины, не рассуждать об особенностях дзэн-буддийской эстетики японцев, то чем это не хокку:

Я сижу под кустом, а утята —
свись, свись, свись.
Всю-то ночь напролет.

Идя от деловой уставной прозы к прозе лирической, мы пришли к некоторому образу стихотворения. Даже к форме хокку. Но надо заметить, что в японской поэзии хокку отнюдь не верлибр в европейском представлении. Современный свободный стих в Японии возник в начале нашего века как противоположение традиционным хокку (хайку) и танка, а развитие традиции происходило через отрицание регламента краткости. Можно сказать, что понадобились японцам именно не ограниченные, а, попросту говоря, длинные стихи. У нас же в последнее время многие «верлибристы» обратились к спасительной краткости древне-японских трех- и пятистиший и стали их вписывать в русский контекст. Загляните в последние сборники Эдуарда Балашова (хотя он не считает себя верлибристом) или в первый в нашей стране сборник свободных стихов — «Белый квадрат». Вот «хокку» Аркадия Тюринна:

Все отражает, не унося,
Река. А время
Все уносит, ничего не отразив.

Или не менее философствующее трехстишие Карена Джангирова:

Странно!
Ушли годы.
А жизнь осталась.

И для разнообразия абсолютно иные по темпераменту и образному усилению стихи Миланы Алдаровой из ее первой книги «Отсрочьте суд!» — под названием «РыБЫ!»:

да! мы — рыбы с разных глубин!
не приближайся!
сплющит...

Я оговорился — «для разнообразия»,— будто предыдущие примеры однообразны. Нет, их роднит лишь случайная в общем-то для нашей традиции укладывать в три строки свои чуткие мысли. Но мне эта минимальная форма понадобилась еще и для ответа на назойливые вопросы неприятелей верлибра — а почему это не записать в одну строчку, не изобразить честной прозой? Да потому, что честная проза — это уже поэзия. Никто не требует, чтобы занесенные к нам со стороны восхода солнца хокку были записаны как проза. Ведь если подумать хорошо, то уже запись любой прозы абзацами, периодами говорит о необходи-

мой дискретности, продиктованной смыслом. Другое дело, что разбивка рифмованного метрического ряда на строки — задача автоматическая, даже примитивная. В свободном стихе это уже задача интуитивная, творческая, надо верно выстроить и разделить смысловые и образные периоды. Иногда перебивы строк — это усиленные знаки препинания, только не грамматические, не обычная пунктуация, а авторско-поэтическая. Потому грамматическая пунктуация часто отбрасывается как излишняя, остается только актуальное членение текста. Этим пытаются подчеркнуть как большую внутреннюю связность внутри отдельной строки, так и их незвуковые (то есть неритмические и не рифмующие), а значащие связи между собой. Чем более плотен по смыслу или по эмоциональному заряду текст, тем более он стремится к взаимодействию горизонталей и вертикали, он ищет явно дополнительное измерение, чтобы показать свою кристаллическую структуру стороннему взгляду, чтобы верным путем провести направленное на него внимание, чтобы удобнее занять место в предполагаемой памяти.

Если позволить себе сравнить поэзию с живописью, которая преодолевает плоскостность через перспективу, то для поэзии, тем более для свободной, вертикальная запись есть ее перспектива. Потому раздражает неверно выбранная «длина строки», ее произвольный слом, на который часто идут неважно в каком стихе ради построчной оплаты.

Текст художественный, то есть неоднозначный, имеющий, как говорили в древности, «преносительное» значение, иносказательное, он и произносится иначе, нежели однозначный, деловой или описательно-прозаический. Интонация свободного стиха отличается и от прозаической, и от легко монотонируемой, распевной рецитации рифмованных силлаботонических стихов. Это различие не только наблюдаемое, но и рассмотренное на ряде многочисленных экспериментов в кандидатской диссертации Г. Кедровой, защищенной на филологическом факультете Московского университета.

Я уже упоминал в некоторых своих статьях о тройком представлении литературы в противоположность сложившемуся учению о двух ее разновидностях: поэзии и прозе (см. «Заметки о свободном стихе» в «Дне поэзии-1981», Москва). Взаимопроникновение поэзии и прозы известно — вернитесь еще раз к примеру из М. Пришвина. В кандидатской диссертации М. А. Бузоглы «Вирлибр и проблемы соотношения поэзии и прозы» наиболее корректно и плодотворно исследован этот вопрос. Исходя из положений современной общей риторики, разработанной академиком АПН Ю. В. Рождественским, диссертант приходит к выводу, что для различения поэзии и прозы должны существовать такие тексты, которые «одновременно являлись поэзией и прозой, не поэзией и не прозой и оставались бы художественной литературой, не переходя в научную или журнальную». Таким «третьим» типом речи и оказывается верлибр, как говорится, если бы его не было в природе, его бы пришлось изобрести — для полноты теории словесности. Хорошо, что и в русской природе он оказался, хотя все время приходится что-то изобретать, чтобы доказать и отстаивать его право на жизнь.

М. А. Бузоглы берет три признака, или категории античной словесности: логос, то есть словесное выражение, мелодика, включающая в себя стихотворный размер и рифму; этос, то есть отношение к аудитории; пафос, то есть авторская позиция. Комбинации этих трех признаков дают три типа литературных произведений.

С точки зрения логоса для верлибра не существенные различия

метрической и периодической речи, он, что называется, эти свойства нейтрализует. С точки зрения этоса верлибр должен иметь наряду с художественной образностью и художественным строем так называемые диалектические, то есть аналитические формы, объединяясь в этом с прозой. С точки зрения пафоса, верлибр — лирическое произведение, написанное от лица индивидуального автора. Все это можно представить в следующей матрице:

Художественная литература

	Проза	Поэзия	Верлибр
Логос	+	+	—
Этос	+	—	+
Пафос	—	+	+

Далее М. А. Бузоглы справедливо пишет: «Свободный стих по характеру ритмического построения больше всего походит на ритмику «фигуры мысли», то есть на хорошо построенную «складную» речь, составляющую единое, логически завершенное целое. Оправданием графического, строфного изображения верлибра на письме будет логическое сопоставление, противопоставление и соподчинение составных частей свободного стиха. Тип структуры построения текста верлибра представляет собой некое поэтическое логизированное доказательство, со своим определенным ритмическим рисунком, основанным на приравнивании осмысленных логических частей произведения. Таким образом, несмотря на отсутствие в верлибре традиционной метрики, как в стихах, в нем наличествует определенный односоставный, чаще всего единоподчиненный ритмический рисунок, который, несомненно, и делает его непохожим на прозу».

Кстати, все это объясняет, почему верлибр даже с авторскими извинениями нельзя цитировать в статьях в прозаической записи. Сомнительно также цитировать какую-то часть целого верлибра, подвергая выломанную часть своей критической экзекуции. Очень часто такое частичное цитирование говорит о том, что цитирующий не понял весь текст, не дочитал, он как бы поймал вдруг сам себя на другой мысли, не присущей автору, и стал ее внушать читателю, не видящему настоящего текста. Не подумайте, будто я предвзято охраняю верлибр от критического вмешательства. Косноязычие в нем проявляется — если оно несчастное свойство неопытного сочинителя, — то есть видеть можно и в одной-единственной строчке, точно так же, как и в дурной прозе или в дурных стихах. Но возьмем из сборника «Белый квадрат» такое стихотворение Владимира Бурича:

Солнце сменяет Луну
Солнце сменяет Луну

Одно Солнце
Одна Луна

Чистая случайность
только задержавшая развитие
человеческого воображения

Можно лукаво процитировать только две первых строки, более того — две последующих присовокупить и сказать, как это любят делать рецензенты для демонстрации своей эрудиции: Волга впадает в Каспийское море. И задержать надолго, если не человеческое воображение, то интерес конкретного читателя к творчеству русского поэта В. Бурича, который до сих пор известен за рубежом гораздо более, чем у нас дома.

«Содержанием верлибра является этико-философский, аналитический смысл текста,— продолжает в своей диссертации М. А. Бузоглы.— Однако от прозы его отделяет художественное образное и рефлексивное выявление содержания, которое приближает верлибр к поэзии». Вот этот «этико-философский, аналитический смысл» сбивает зачастую с толку неопита-читателя и неопита-критика верлибра. Ожидают такого же лиризма, как и от распевного мерного стихотворения с образом лицедействующего автора, ищущего со-страдания, со-чувствия, со-настроения прежде всего.

Внутренняя лаборатория мыслящей души нам менее известна, во всяком случае, она находилась всегда где-то на окраине искусства. Диалоги Платона, «Мысли» Паскаля, «Опыты» Монтеня читали скорее философы, нежели ценители изящного. Дневниковые записи М. Пришвина до сих пор полностью не изданы. Излияния чувств прекрасны, но и безопасны при любом строе. Мысль таит в себе вечную опасность уклона, сомнения — от любой догматики она увлекает в дебри поисков доказательств, будь то бытие божие или единственность верного пути общественного развития, и обратное — от логики она влечет к медитации, к тайнам откровения. И надо заметить — а это особая серьезная тема, что в нашей русской традиции особенно заметно негативное отношение к мысли, к «умствованию», которое никаким, кроме как «лукавым», быть не может. Особенно остро это понимал Николай Бердяев.

Кстати, большинство наших критических рассуждений об «интеллектуализме» в современной советской поэзии были беспредметны.

Вернемся к диссертации М. А. Бузоглы: «С точки зрения пафоса верлибру, как и лирической поэзии, свойственны не только медитации о внешнем мире, но и медитации рефлексивные, обращенные в глубь переживаний поэта. Однако в отличие от лирической поэзии, прямая или скрытая медитативность которой требует для своего выражения осязаемой словесной экспрессии, верлибр своей медитативностью чаще всего выражает аналитическое самоуглубление автора, не стремящегося вызвать яркую непосредственную эмоциональную реакцию читателя». Это еще одна сторона туманного для многих предмета нашего рассмотрения. И не только в эмоциональной тусклости верлибра дело. Сами наши эмоции замкнуты на некий узкий спектр, в который можно быстро войти и столь же быстро выйти. Возьмите эффект кино, как правило, люди, высыпавшие из зала после сеанса, в большинстве своем уже отключены от переживаний, заставлявших их досмотреть фильм до конца. Если же фильм сложен, интеллектуален, «медитативен», то большинство зрителей покидают зал, так как не хотят соответствующего напряжения своего внимания на ином уровне. В нас наименее воспитана рациональная

эмоция, близкая по ощущению к эвристическому переживанию — переживанию открытия, решения умственной задачи.

Мы очень часто сетуем на школу, насколько она отбила у своих выпускников интерес к художественной литературе, заменив воспитание культуры восприятия прекрасного заучиванием готовых и скучных клише — «типов» и «образов». То есть предметно-историческое содержание художественной вещи, не имеющее отношения к эстетике, затмило в преподавании собственно интересную сторону литературы. Потому сфера «интересного» у современного человека сузилась, вся «культура» свелась к индустриально поставляемому отдыху, рекреации, то есть восстановлению сил для последующего, не всегда любимого труда.

Но не только дурное понимание литературы, но и дурное понимание математики обедняет наше грядущее чувство. Сведение всякого дискурсивного мышления к алгоритмическому, к стереотипным способам решения задач, отнюдь не способствует формированию эвристической эмоции — радости творческого, оригинального решения.

Парадокс нынешнего существования верлибра еще и в том, что он, пытаясь расширить сферы нашего художественного познания, натывается в своем благородном порыве на все более сужающуюся аудиторию. Но и в этой сужающейся аудитории, возвращенной на популярной, не столь давно эстрадной поэзии, для верлибра вряд ли найдется понимание, скорее следует надеяться на публику, еще не «испорченную» никакой поэзией. Характерно, что один из сборников свободных стихов западногерманского поэта Ханса Магнуса Энценсбергера носил подзаголовок: «Стихи для нечитающих стихов».

Словом, положение, как в верлибре Ивана Буркина — «ИТАК, НАЧИНАЕТСЯ...»

На белой бумаге,
похожей на необитаемый остров,
высадился поэт
и начал создавать читателя.

Конечно, каждый поэт создает своего читателя, но не каждый на «необитаемом острове». Уж какая на нем свобода!

И много ли нас на нем, на необитаемом острове русского свободного стиха? В уже упомянутом «Белом квадрате», изданном тиражом 3000 экземпляров, нас четверо. Вслед за ним выходит сборник «Время Икс» в том же московском издательстве «Прометей», гонорар от этой книги 18 верлибристов отдают в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Армении. В этом же году в Западном Берлине выходит составленная мной антология русского свободного стиха с XVIII века до наших дней. Но на немецком языке. Возможно, издадим опять-таки за счет авторов «Белый квадрат-2», нарушив геометрию и вместив туда более четырех поэтов. Все это — малотиражные издания. Издательство «Современник» планирует в 1990 году издать составленную мной антологию современного русского верлибра, куда уже сейчас входит более чем 150 авторов. Не слишком ли много? Не слишком, если в ней впервые дается выход многим их тех, кто в течение двадцати, а то и тридцати последних лет не мог напечатать ни строчки. Но на многотиражность этого издания тоже не следует рассчитывать. Ведь если литературоведы все еще не вполне себе представляют исходя из уровня своей науки, что такое свободный стих, то представьте себе замешательство рядового

книготорговца, которому предлагают какие-то неведомые «верлибры», написанные неведомыми авторами.

Так как же, наконец, определить верлибр?

Верлибр есть жанр художественной литературы, симметричный прозе относительно поэзии.

Если снова обратиться к матрице (таблице), то это очевидно. Определение это образно, несмотря на его «структуральность». Оно подчеркивает тройственность, троякость, троичность словесности. Из него явствует, что верлибр не угрожает поэзии, не разрушает прозу, а находится в дополнении к ним. Он как бы подтверждает взаимопроникновение жанров, которое есть взаимообогащение, а не взаимообкрадывание, что есть основное правило бытия всех духовных сущностей. Именно духовная сторона слова раскрывается наиболее полно в свободном стихе, который наследует духовному стиху древности, гимнаграфии.

В этом смысле свободный стих наследует самому древнему виду речетворчества, давшему начало как прозе, так и поэзии. Здесь я и заканчиваю, поскольку можно сбиться на древний спор, что было раньше — яйцо или курица. А быть может, и здесь есть определенная третья сущность? Например, петух?

ВИТАЛИЙ БОРИСПОЛЕЦ

Родился в 1962 году в Киеве. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета. Работает в газете «Київська правда». Стихи публиковались в республиканской периодике.

БЮРО НАХОДОК

Почему,
когда я пришел
в бюро находок
за оставленным в автобусе
зонтиком,
на меня смотрели
так же подозрительно
и недоуменно,
как если бы не я,
а зонтик
пришел за мной.
Может быть,
интуиция профессионала
подсказала им,
что пытаюсь присвоить,
по сути, чужую вещь,
потому что себя самого
потерял много раньше.

ПЕЙЗАЖ

На белые страницы
истории
нахлынули штормовые волны
черных букв.
Над морем жизни
нависли грозовые облака —
глаза
выживших очевидцев.

ПРИСТРАСТИЕ

Никто ныне
не пытается доказывать,
что Земля вертится,
все заняты
изобретением
вечного двигателя,
и дело вовсе

не в пристрастии
к техническому прогрессу,
просто прослышали,
что за это
не сжигают.

СОН

Я сплю как убитый.
Но иногда по ночам
страдаю от бессонницы,
глядя на свой
беспечный сон.

Мой пульс ровный,
как тиканье
часового механизма
из обезвреженной мины.

Голова свежая,
как выстиранные бинты,
сохнувшие на балконе.

Тело невесомое,
как улыбка
летающего с нераскрывшимся
парашютом.

Я сплю как убитый.
Но кем?
Не тем ли,
кто засветил
цветные сны моего детства,
оставив взамен
лишь один черно-белый —
мою жизнь.

АЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦ

Родился в 1962 году в Киеве. Лауреат 1-го Хлебни-
ковского фестиваля верлибра в Ленинске-Кузнецком в
1988 году и I Международного фестиваля свободного
стиха «Европейский дом» в Калуге (1989 год).

НЕ ДАНО

Я должен быть
на востоке
на западе
на юге
на севере
и пятого не дано

Я должен быть
на земле
под землей
над землей
и четвертого не дано

Я должен быть
или не быть
и третьего не дано

Я должен...
и другого не дано

* * *

Юность — березовая роща,
зрелость — фруктовый сад,
старость — буковая аллея,
вычеркнутая из «Красной книги»

СКОРОСТЬ

становись дикой ланью
и жажда жизни
заставит тебя быть первым
в борьбе с хищником

становись хищником
и голод
заставит тебя быть первым
в борьбе с ланью

становись спортсменом
и честолюбие

заставит тебя быть первым
в борьбе с соперником

становись ветром
и любовь к скорости
заставит тебя быть первым
в борьбе со всеми

или становись мячом
и тогда у футболиста
бегущего за тобой
к воротам соперника
просто не будет смысла
быть впереди тебя

КРУГОВОРОТ

слезу уронили в реку
и река унесла ее в далекое
и без того соленое море

с моря сорвались
летучие молекулы воды
в которых не может быть
никакой соли

а наутро хлынул на мою голову
казалось
совсем соленый дождь
мстя за того
кого я незаслуженно обидел

ПАМЯТЬ

Я помню,
как мой дед в 1919 году
играл
белогвардейскими погонами,
прусскими касками
и английскими галунами.
А вы говорите,
что я родился
в 1962-м.

Я помню,
как отец в 1946 году
учил уроки у копилки,
сделанной из
гильзы
мелкокалиберного снаряда,

и ходил в школу в галифе
армейского покроя,
а вы говорите,
что я родился
в 1962-м.

Я помню,
что мировых войн
было две,
а вы говорите,
что я умер
на третьей.

ИВАН БУРКИН

Родился в 1919 году в Пензе. Сборники стихов:
«Только ты», 1947; «Рукой небрежной», 1972; «Путешествие из черного в белое», 1972; «Заведую словами», 1978; «13-й подвиг», 1978; «Голубое с голубым», 1980.

L'ART POETIQUE *

В триумфальной арке (Парижа)
есть что-то от брюк тореадора —
и наоборот.

Люблю аналогии,
в которых два предмета
относятся друг к другу,
как Лжедмитрий к Димитрию
и наоборот.

* Все стихи Ивана Булкина взяты из сборника «13-й подвиг», 1978, Филадельфия, Copyright © by Ivan Burkin

ЛУНА НАД САН-ФРАНЦИСКО

Чуден, как Днепр у Гоголя,
город Сан-Франциско под луной.
Луна словно Оксана
смотрит на него из небесной Малороссии,
и Сан-Франциско как парубок в белой свитке
стоит измученный ожиданием
и опоясанный блеском.
Какая струна кольнула его в сердце,
какая волна кидалась к нему на шею в светлые ночи —
он весь охвачен томлением,
и улицы его как кисти цветущей акации
висят над хлебосольным заливом.
Николай Васильевич!
Встаньте,
возьмите перо,
забудьте про Оксану и луну в Гамбурге
и посмотрите на луну,
которую делают в Сан-Франциско,
на Тихий океан,
который объездил весь земной шар,
но вернулся опять в Сан-Франциско,
чтоб лежать, как влюбленный,
у ног любимой...
Эх, луна!
Эх, Сан-Франциско!
Эх, Николай Васильевич!

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ

В каменных крестословицах
Нью-Йорка,
где услужливые окна трут
вечером
друг другу спину,
где правая сторона продает левую,
где левый глаз отказывается
помогать правому,
где нули капают как слезы,
а слезы похожи на горькие нули,
где в кудрявом блеске
саксофонов
отворяются лица негров,
где, открывши рот, красавицы
обнажают как пулеметные ленты
зубы,

где кто-то из Пятой симфонии
Бетховена
упорно стучит в мою грудь,
где память подает мне на золотой
ложке
душистые стихи Хлебникова,
где в темных барах я опускаюсь
на живописное пьяное дно
и нахожу затонувшее сокровище,
сверкающее пронзительным вином
и чистой душой —

в каменных крестословицах улиц
небытие определяет
сознание...

ВЕСНА

В гнездо из пальцев
прилетел карандаш

и начал чирикать.
Дерево позвонило портному
и заказало себе юбку;
портной позвонил дереву
и заказал грушу.
Гроб заказал себе покойника.
Кто-то сочинил страну для
скрипки.

Вера надела выражение Лизы,
потому что Лиза
одела своим лицом кавалера
Веры.

Пиджаку дали адрес,
и он поехал искать
две руки, спину и грудь.
Глазам дали задание
расставить мебель азбуки,
задержать уезжавшие буквы
и доставить их в голову.
Полицейский играл на пистолете.

Река текла к Пушкину,
и разочарованная пуля
покончила самоубийством.

РУССКАЯ ЗИМА

Стоял декабрь.
мороз спешно организовывал
зиму,
и русские глаза,
привыкшие к любым видам,
гостеприимно принимали
новый пейзаж:
бескрайние поля,
заносямые тишиной и холодом.
Мой отец стоял посреди декабря,
и я видел, как в воздухе
замерзали его теплые слова.

ЛЮДМИЛА ВОЛОШИНА

Родилась в 1937 году в Орджоникидзе. Окончила Ленинградский университет, юридический факультет. Кандидат юридических наук. Стихи публиковались в журнале «Работница».

* * *

Колхозный пастух,
осужденный за тяжкое
преступление
к восьми годам лишения свободы
с отбыванием в колонии
усиленного режима,
не знает писателей —
ни классиков, ни современных.
В его библиотечный формуляр
собственноручно вписаны им
с ошибками и без кавычек
только названия взятых книг
за два отбытых года:
Вкус рябины. Журавлиная родина.
Мои колодцы. Полюшко-поле.
Иду по земле.
Вешние воды...

АННОТАЦИЯ

Альберт Швейцер. Письма
из Ламбрене —
методическое пособие о том, как
искать свой путь в жизни,
строить жилища,
понимать на тебя непохожих,
чередовать огородные культуры,
лечить язвы,
делить хлеба,
как быть человеком.
Издано небольшим тиражом
для имеющих доступ
к дефицитным товарам.

* * *

Если катастрофа на пороге
то детям нельзя рождаться

Но они рождаются
может быть по инерции
может быть во искупление
а может быть потому что знают
куда и как повернуть историю.

* * *

Растения не знают
о смерти

животные не знают
о смерти
человек знает
он говорит
— Не бойтесь мы будем вместе
— О чем ты? —
спрашивают глаза
лошадей и ромашек.

ИСАННА ВОРОНОВСКАЯ

Родилась в Ростовской области в 1955 году.

* * *

Отчуждением и беспамятством
меченные
старые дети детского дома
не верят в чудеса и сказки
В одинаковых пальтишках
как серенькие мышки
украдкой взглянув на чужих
ослепительных матерей
зарываются в безголосые игры
не перекричать их угрюмой тоски
Посменные няньки поспешные
сказки рассказывают

молока хватает на всех
не хватает единственных матерей
их рисуют в тетрадках
одаривая лучшими платьями
и именами

* * *

Кошка живет в моем доме
цвета кипящей смолы
причудница надменная дикарка
к коленям льнет прожорливым
и пылким тельцем
тихий мир ласковой лапой умыв

у печки свернется молнией
шаровой
желтыми вспышками глаз
ловит шипящие космы огня
зажмурясь дремлет упрятав
сонный нос
в свои блаженные серебряные
гимны

АКВАРИУМ

Храм пленников в живородящем
трансе
нерасторжимость сна и стен
стена догнала ползучие объятия
водорослей
в стекло уперлись недоуменно
в неоновом зуде подсветки
забыли раковины свои певчие
дары
вцепясь в песок качаются
гордыней
в зеленой воде близорукие жабы
замшелые мечтательные идолы
набухая блаженным хохотом
отщипывают пух небесных
отражений

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ-КРОТКОВ

Родился в 1959 году в Крымской области. Окончил
Московский государственный институт культуры. Рабо-
тает в библиотеке. Стихи публиковались в журналах

«Сельская молодежь», «Мулета», «Континент» (Париж), «Worldview» (Шри-Ланка), «Польа» (Югославия), в газете «Московский комсомолец», лауреат 1-го Хлебниковского фестиваля свободных стихов в городе Лединске-Кузнецком (1988 год).

* * *

каждое слово
с хрустом
с кровью
родная речь по зубам
разве что
иностранцам

НАТЮРМОРТ

ушел троллейбус
высохли чернила
песенка спета

o o o

с каждым днем
в думах о хлебе насущном
становлюсь
мудрым и трезвым
учусь содержать мозги
в чистоте и порядке
учусь видеть
и не понимать

* * *

Е. Пашанову

в больнице лица
вытянуты
как на портретах Модильяни
не в порциях дело
говорят мне
а в предвкушении воскрешения

* * *

К.

жизнь длится в течение поцелуя
все прочее —
мемуары

9*

* * *

днем
ты
отражение моей ночи

ночью
я
слепок с твоего тела

* * *

фиксирую мгновения
паузы между ними —
выдох углекислоты

* * *

Петр Первый
рубил рубил
щепки летели
прорубил в Европу окно
а дверь — не успел

* * *

О тоска невыразимая!
Г. Айги

пыль в горсти
и соль на губах
замри сердце

* * *

успеть бы успеть бы
губы сухие теплые
и совесть еще чиста
поезда идущие мимо
запах воспоминаний
и копать на коже
успеть бы успеть бы
вечер в складках лица
и беспроегрышная лотерея

ЮРИЙ МИЛОВАВА

Родился в 1952 году. Окончил Тбилисский институт иностранных языков. Работает на производственном объединении «Орион». Стихи публиковались в журнале «Литературная Грузия», в альманахе «Дом под чинарами».

* * *

Еще до того, как одинокая ладья летописца
Появилась на странице хроники,
Подняла парус,
Разбила первую волну,
Истина уже стала сыпучим, выработанным пластом
земли,
Полным мифов, трагедий, падений богов и
цивилизаций.

Прежде чем нежная милость колосьев
Опоясала горизонт,
Выросло начало,
Когда весенний рассвет касался обледенелого поля,
А крестьянин пахал его,
Шаг за шагом
Спрессовывал время —
Фундамент столь неделимый,
Что даже у самого
Отчаянного лгуна
Одна судьба
И одна правда.

* * *

Древность
По моим представлениям —
Двуединство необычное, позабытое.
Там два врага — два спутника прошлого —
Покой и Ярость —
Ужились непринужденно и бездумно,
До легкомыслия.
На Мтацминде в переулке «Коте Месхи»
Люди начинают стареть, когда стареют слова клятв,
Еще самых первых, детских,
Потом испуганных,
Гораздо позже —
Даже одетых в легкие развевающиеся одежды
обещаний,
Всегда не менее трудных,
Чем голос вечности, любви и верности ей.

Но есть истина,
Дымом словесной вязи летящая из окон,
Нежность — чуждая торопливости,
Исчезающая перед подножием фуникулёра,
Как фимиам.
Так слагается
Утонченная летопись переулка.

* * *

В тысячный раз принимаю к сведению, но удивляюсь,
Что нам угрожают аэрозоли, целлофановые пакеты, политиканы.
Если средства массовой информации собираются
Действительно стать в скором будущем
Подлинным, современным хлебом насущным,
То это всё больше хлеб мира,
А не эрзац сухарь войны.
Человечеству требуется осмысление мира,
А не осмысление безумного щелкания кнута
Над головами воителей,
Впрягшихся в баллистическую, термоядерную колесницу.
Ее еще не стронули с места,
Но достаточно одного оборота этого колеса,
Чтобы не осталось больше никакой информации.

ЕВГЕНИЙ КОЛЕСОВ

Родился в 1951 году в городе Костроме. Окончил Московский институт иностранных языков имени М. Торгеза. Поэт-переводчик с немецкого и новогреческого языков. Живет в Москве.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Меняю
двух принцесс
со всеми удобствами —
кухня 10 м, телефон,
Метро рядом —
на
одного
дракона —
желательно
где-нибудь
в новом районе
Вселенной.

ЗООПАРК

Когда на моей улице ранним утром
безнадёжно перепутываются
времена года,
ко мне неслышно подкрадываются
безработные тигры и пантеры
крокодилы
и даже, кажется, удавы
чтобы еще раз попытаться
получить хотя бы временное
место
в Зоопарке моего сердца

ОЩУЩЕНИЯ

Будто глиняный глобус,
на черепки расколосась память —
лопнули обручи параллелей,
развязались шнуры меридианов.

Глубокие моря и мелкие буквы,
малые города и большие страхи,
синагоги, церкви и мечети,
воины со щитами,
украшенными головой Медузы
для устрашения врагов внешних

и внутренних,
корабли с изогнутыми бортами
и письменные столы с бумагами,
футбольные поля,
поросшие жесткой травой
и прочие чудеса —

все распалось, рассыпалось,
разлетелось,
и нам теперь остается
всю жизнь собирать черепки,
успеть торопясь воедино собрать
мозаику наших ощущений.

ТАТЬЯНА КУДИНА

Родилась в 1964 году. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. В печати выступает как переводчик стихов с английского.

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Темноту слов
сжигают
напалмом фраз
во имя
буквы закона.

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отсутствие острых углов
приведет вас
в замкнутый круг.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Голуби мира
живут
на помойках
клюют
картофельные очистки
ждут
звездный час.

РЕПЕТИЦИЯ

Ария
цветочного горшка
замирает
на фальшивой ноте бутона
огорошенного
отсутствием воды
с комнатной температурой.

ВЫБОРЫ В ЯНВАРЕ

Иней
нализывющий
на оконные стекла
июньские сны
против
гласности
глаз.

ПАМЯТКА ВРАЧУ САНЭПИДЕМСТАНЦИИ

Гниют:
рыба — с головы
травы — на корню

корабль — снаружи
человек — изнутри

* * *

Друзьям

выложишь
душу
чтобы облегчить
совесть —
возвращают
вывернутой наизнанку.

ИХ ПРАВЫ

Рыжие муравьи
верят в бога
живущего в их квартире

и
устраивают демонстрации
за
запрещение химического оружия.

ВЗАИМОСВЯЗЬ

В лабиринтах пещеры
убитых имен
есть переход
ведущий
в лабиринты
без вести пропавших
идей.

МИХАИЛ ОРЛОВ (Томск)
1946—1984

ОТВЕЧАЮ

Говорят:

— Разве это стихи?
— Это слишком сложно!
— Это слишком утонченно!
— Это никому не нужно!

Что отвечу?

Разве это я наполнил весь мир шепотами, блеском, яростью ветров и рек?

Разве это я вдохнул румянец в девичьи щеки и силу в юношеские мышцы?

Разве это я снарядил в путь караваны мысли, белые и расписные ладьи?

Разве сам я значу больше маковой росинки?

И не так же подчиняюсь ветру всеобщности, как любое событие?

Разве это я говорю своим языком?

ЕСЛИ ХОРОШЕНЬКО ПОСМОТРИШЬ

Откуда взлетают бомбардировщики?
Вой. Дрожь. Старт.

Колеса несущие бегут
по широкой бетонной равнине,
по бетонной пустыне,
по бескрайнему полю
твоего сердца, приятель!
Вот откуда взлетают бомбардировщики!
Из твоего сердца. Да.
Из пустыни твоего сердца.

* * *

Неправда, что дома скрывают
людей.

Крыши прозрачны,
дома прозрачны.

Одежда прозрачна.

Все, что у тебя есть,
должность, социальные
накопления,
улыбка и смерть —
они прозрачны.
За ними всегда разглядишь, кто ты.
Ничем не скроешь своего сердца.

ЛЕДЯНОЙ НОЖ

Меня не удивляют спутники,
паутиной орбит заткавшие землю.
Не удивляет, что
поцелуи, слезы, человеческая жизнь
сворачиваются в электронный луч,
разлетаются в пространстве, словно
семена вселенского тополя, и прорастают
за тридевять земель, в пустыне,
в горах, на море
поцелуями, слезами, человеческой жизнью.
Не удивляет пересаженное от одного
к другому сердце.
Не удивляет, что из щепотки урана
мы добываем тепло,
согревающее целый город.
Это все человеческое, нами созданное.
Меня удивляет жестокость,
растущая в человеке, в его душе,
в его глазах.
Жестокость.
Откуда у нее эта цепкая сила?
Из какой тьмы?
Из какой выгребной ямы?
Ледяной нож, режущий человечество на кровавые куски.

НЕЖНОСТЬ

Вот искусство любви: затаив дыхание смотреть
в лицо любимой и пальцами коснуться сомкнутых

ресниц. Так чутко, чтобы почувствовать их ранящие остря, и так тихо, чтобы не вспугнуть затаившийся сон.

ТЕНИ ДАЛЕКИХ РАССВЕТОВ

Кузнечик, все лето стерегущий на тонких ногах окончание своей песни; белая чушка, облепленная молочными поросятами, как девушка мечтами; конь, стреноженный перевязью из собственного хвоста, пьющий силу из множества горлышек трав; молниеносная ругань грозы вслед раскидавшему копыны ветру.

МИХАИЛ РАХМАНОВ

Живет и работает в Баку.

ДУРАКИ

дураки, ох,
какие они дураки.
сами не знают,
какие они дураки.
не говорят,
какие они дураки.
не поступают
как дураки дураки.
и не подумают,
что дураки, дураки.
думают — умники.
думают, дураки — мы.

ЧАСТОТЫ

часто вас вижу,
чаще чем вижу.

часто вас слышу,
чаще чем слышу.
редко от вас ухожу,
реже чем ухожу.
часто к вам возвращаюсь,
чаще чем возвращаюсь.

ОБОРОТНИ

грубые
нежные слова
кричат.
а слабые?

а слабые
сильного слова
не слышат.
дико
шуметь и молчать.

СТАРЫЕ ПОЭТЫ

все равно это были несчастные люди.
даже если очень богатые и всегда сытые.
первые из каталога новейших поэтов.
бедные ребята не знали что творили.
можешь попробовать — писания их
безупречны.
(позже другая беда одолела поэтов:
их глаза уставились в одну точку.)

СТАТЬИ

ОЛЬГА ПАНЧЕНКО

НА МОСТУ СУДЕБ

Режиссер-Время.

А. Блок. Из «Записных книжек»
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице.
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный профиль над ухом —
Все таинственно в пришлеце.

А. Ахматова. Поэма без героя
А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других,—
Когда уже совсем неинтересны
Герой и героиня, и прошло
Так много лет, что никого не жалко,
И, кажется, сам автор
Уже начало повести забыл,
И даже «вечность поседела».
А. Ахматова. А в книгах я последнюю
страницу...

...Почти «у устья Леты-Невы», близ Финского залива, на Комаровском кладбище хоронили Анну Андреевну Ахматову. «И тут,— вспоминает поэт Евгений Рейн,— произошел такой эпизод. Подъехала машина, из нее вышла женщина в очень дорогой, чуть ли не собольей шубе, подошла к краю могилы, сбросила шубу, стала на колени на краю могилы и расплакалась изумительной красоты шаль. Из этой шали выпала очень большая охапка роз (...) Это была дочь Бальмонта Нина Константиновна Бруни». Между тем не было шубы из соболей и охапки роз. Но, в самом деле, была дочь Константина Дмитриевича Бальмонта, со скромным букетом, знавшая Ахматову на протяжении десятков лет.

Откуда же эти розы во множестве? Думаю, что из стихов самой Ахматовой, любившей их. Если перелистать ее двухтомник, то соберется уже не охапка их, а значительно больше: «Там были последние розы,/И месяц прозрачный качался/На серых, густых облаках...», «Хорошо здесь: и шелест, и хруст,/С каждым утром сильнее мороз,/В белом пламени клонится куст/Ледяных ослепительных роз», «Когда я вышла, ослепил меня/Прозрачный отблеск на вещах и лицах,/Как будто всюду лепестки лежали/Тех желто-розовых некрупных роз,/Название которых я забыла».

Шел август 1969 года. В течение полумесца я жила на Финском заливе, иногда выезжая в Ленинград. Находясь недалеко от Комарова, узкой песчаной полоской вдоль залива ходила на могилу к Ахматовой. Запомнился голубь, глядящий сверху на черную плиту, и три засохших цветка, не потерявших своего натурального цвета.

Издали мне показали дачное жилище Ахматовой, так что ее присут-

ствием я была полна. Но, проезжая время от времени электричкой мимо станции с небезызвестным названием Озерки, вспоминала по какой-то касательной, не прямой ассоциации: «Я пришла к поэту в гости...» И меня тоже непреодолимо влекло — «в гости».

Многие, наверное, помнят рассказ К. Г. Паустовского во второй книге «Золотой розы» о том, как он разыскивал — по интуиции — последний дом Блока.

Не раз я перечитывала этот кусок прозы, заражаясь мыслью: вот так же попытаться отыскать дом на Пряжке, да и вообще все сохранившиеся дома Блока в Ленинграде.

Но как это сделать?

По интуиции, как Константин Георгиевич? Но такого «поводыря» я не обнаружила в себе, а может быть, не смогла ему довериться. По письмам восстановить адреса трудно, хоть в некоторых они и обозначены. Однако с тех пор и названия улиц — блоковских — изменились, и нумерация домов. И тут мне пришла на помощь статья И. Быстрова в Ленинградском альманахе за 1957 год.

На одной странице моей записной книжки уместились все бывшие адреса Блока.

И все-таки сначала захотелось туда, на последнюю блоковскую квартиру, где он прожил вплоть до августа 1921 года. Где в 1914 году и была у него в гостях Анна Андреевна Ахматова.

На Пряжку я шла не по набережной Невы, как когда-то Паустовский, с дочерью, а от Невского. Кружа дворами и перекрестками, вышла на улицу Декабристов, бывшую Офицерскую. Улица показалась широкой, с высокими домами серого камня, серым небом, отражающим асфальт, даже зелень здесь выглядела мраморно-серой. Серая зелень, подумалось мне, и не оттого, что пыль, но оттого, наверное, что нельзя быть зеленой, если все кругом такое каменисто-серое.

В размышлениях о цвете почти миновала квартал, как вдруг заметила наконец-то — зеленую! — воду с отражениями. Обернувшись, увидела на углу кирпичное здание с традиционной мемориальной доской, каких так много в Ленинграде. Единственной была надпись: «В этом доме жил с 6 августа 1912 г. и умер 7 августа 1921 г. Александр Блок». Так, значит, здесь, сюда. Сюда он приходил и отсюда уходил в течение целых девяти лет. Здесь делал дневниковые записи, о которых годы спустя узнает Ахматова: «1914 год. 15 августа (...) Встреча на Царскосельском вокзале с Женей (Е. Ивановым.— О. П.), Гумилевым и А. Ахматовой». Ахматовой это же вспомнится так: «А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем 15 августа 1914 г. на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме) (...) Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

В действующую армию Блок ушел в 1915 году. Вернулся — в 1917-м. И только 10 августа 1921 года он выехал отсюда совсем — его увезли на Смоленское кладбище и похоронили под старым кленом, рядом с могилой деда.

Расстояние между рождением и смертью — сорок один год. От бывшей Офицерской до Университетской набережной, 9, старого «ректорского дома» — всего 35—40 минут ходьбы. Красный, пузатый, как раскаленный самовар, дом этот обносился здесь задолго до Блока и сколько простоит еще. Разросшиеся кражистые деревья смотрели на него по причине своего солидного роста несколько свысока. Они забыли, каждый год роняя листву, свою шуршащую память, что в этом приземистом

доме родился большой поэт России, с высокой и сыновней любовью к ней.

«Как памятник началу века/ там этот человек стоит,— уже не о доме, а о самом Блоке сказано Анной Андреевной Ахматовой.— Когда он Пушкинскому дому,/Прощаясь, помахал рукой/И принял смертную истому,/Как незаслуженный покой...» Написано в одном из «Трех стихотворений» цикла, насквозь реминисцирующегося с блоковской лирикой. В котором как будто бы издалека — цикл датирован 1944—60 годами — сама Ахматова машет рукой Блоку.

Случайные пересечения и встречи в реальной жизни, оборвавшиеся со смертью Блока, не прервались в стихах Ахматовой. Хорошо известна статья Виктора Максимовича Жирмунского «Анна Ахматова и Александр Блок». Но я думаю, что ею не исчерпывается эта большая тема. Тем более, что В. М. Жирмунский разрешает себе быть субъективным в оценках и исследовательских интерпретациях.

Впрочем, как не быть субъективным, если любишь тех, о ком пишешь. И хотя статья Жирмунского датирована 1970 годом, это взгляд младшего современника, к тому же знавшего Ахматову на протяжении многих лет.

Относясь к поколению, которое выросло с «тайной» любовью к Ахматовой (узнавание ее в школе сводилось к постановлениям о журналах «Звезда» и «Ленинград»), я, конечно, буду субъективна по своему.

Самой Анной Андреевной Ахматовой, да и многими воспоминателями воссоздается одно из реальных пересечений ее и Блока на литературном вечере — у курсисток на Бестужевских курсах. Ахматовой выпадает читать после Блока. Она внутренне ежится и бросает реплику: «Не могу читать после Вас». На что он отвечает лаконично: «... Мы не тенора». Эпизод этот не случаен, а скорее знаменателен, судьбоносен. Ахматова всю свою жизнь (на три десятилетия совпавшую с жизнью Блока, и всю долгую, остальную — уже без возможности случайной встречи на Царскосельском вокзале) не мыслит без факта существования такого поэтического явления, как Александр Блок. Она живет и произносит свое некрикливое слово — всегда! — перед лицом Блока, после Блока. Независимо от того, кому читает — Б. Пастернаку, В. Корнилову, молодым Е. Рейну и И. Бродскому...

Думаю, что и меня определенная настроенность ахматовского звука вывела из Комарова на бывшую Офицерскую, а затем на Университетскую набережную.

От этих — первого и последнего свидетелей жизни Блока — я пошла теперь по мостам и перекресткам, на которых он останавливался. Мимо желтого здания с колоннами, бывших казарм Гренадерского полка, смотревшего бесконечным рядом окон. И оттого, казалось, уходящим, убегающим от разговора. Хотя Блок прожил здесь самый продолжительный срок — 17 лет, с 1889 года по осень 1906-го.

В 1889 году за много верст от города Петра только рождается Анна Андреевна Гóренко. В 1906-м она уже живет неподалеку, но только готовится стать Ахматовой. (Первые стихи ее первой книги «Вечер» датированы более поздним — 1909 годом). А Блок в это время уже пишет свою «переходную» книгу «Нечаянная радость». И в одном из писем 1905 года Евгению Иванову, будто нечаянно, роняет: «Непремненно со всеми что-то случится в какую-то октябрьскую оттепель».

В 1906 году «Нечаянная радость» выходит в свет, и одна из главных вещей этой книги — поэма «Ночная фиалка», толчком к написанию кото-

рой послужил сон. В предисловии к книге Блок напишет: «Нечаянная радость» близка. Она смотрит в глаза мне очами синими, как очи королевы «Ночной фиалки», которая молчит и прядет. И я смотрю на нее, но вижу ее как бы во сне. Между нами нет ничего неразгаданного, но мы все еще не знакомы друг другу» (разрядка моя.— О. П.). Это звучит почти как прозаический пересказ фрагмента поэмы.

Итак, поэма-сон. Ее главный герой случайно попадает в небольшую избушку, где собрались короли. Они «сидели, веками дожидаясь привычных поклонов, и от времени позеленели их кудри», а «опустив над работой пробор», бесцельно пряла свою пряжу «королева забытой страны, что зовется Ночной Фиалкой». Но однажды герой слышит голос из родины новой, и к нему нечаянно приходит радость. Он прощается с ветхой избушкой, устремляясь навстречу приближению больших кораблей.

А теперь — короткий бросок назад, к началу моей статьи, к «Поэме без героя», с отсылки к которой и началось это хождение по улицам и страницам печатного текста: «Или все это было сном? С мертвым сердцем и мертвым взором он ли встретится с Командором в тот, пробравшись проклятый дом? И его ль поведано словом, как вы были в пространстве новом, как вне времени были вы?»

Ахматова, если верить современникам, не любившая прямых апелляций к снам, различающая в своих стихах, где сон, где явь, вдруг вопрошает: не сон ли это? Отчего? Думаю, что скорее — от кого? От Блока.

Преображение сна в творческое действие было для Блока своего рода нормой, естественным движением. Вариации на темы сна, грезы в его лирике многократны: «Жил в лесу, как во сне,/Пел молитвы сосне,/Надо мной распростершей красу...», «И каждый вечер, в час назначенный / (Иль это только снится мне?)..», «В тихий вечер мы встречались/ (Сердце помнит эти сны)...» В «Ночной фиалке» сон не в скобках, не между прочим, а источник и первооснова авторского текста.

Есть соблазн перекинуть воздушный мост между приведенными строчками «Поэмы без героя» и «Ночной фиалкой». Но скорее всего сознательной переклички нет. В «Поэме без героя» было стремление выстроить в стихе вещественную и духовную атмосферу («от Блока»).

А вот стихотворение 1943 года «А в книгах я последнюю страницу...», написанное Ахматовой в Ташкенте (в моей читательской памяти) отчетливо аукалось с «Ночной фиалкой». Иронией, тоской, всем лирическим сюжетом: неожиданная тайна — и обыденность, будни как листки отрывного календаря — и миг, обращающийся в седую, позеленевшую вечность. Напомню продолжение ахматовского текста:

...И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль, кем-то обведенный
На белоснежной извести стены,
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И говорят, когда лучи луны —
Зеленой, низкой, среднеазиатской
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук.
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.

Прямой реминисценции из «Ночной фиалки» опять-таки нет. Скорее это реминисценция «наоборот».

«Нечаянная радость» у Блока оборачивается у Ахматовой нечаянной тоской, чудом, которое уходит, оставшись неразгаданным («Приезжих мало, местные привыкли./И, говорят, в одном из тех домов/Уже ковром закрыт проклятый профиль»).

Примечательно и другое: Ахматова вводит в свой текст — дома, стены, вспоминающие о человеке, веря в то, что они «говорят».

Поэтому и я позволю себе вернуться к оставленному сюжету.

В 1906 году, году выхода «переходной» книги Блока «Нечаянная радость», он переезжает на другую квартиру, на той же Петроградской стороне, по Лахтинской улице. Улица сохраняла со времен Блока свое старое название и облик: старые дома с типичными ленинградскими дворами-колодцами, окна в окна.

Дом долго искать не пришлось, хотя он стоял скромно, выглядел очень строгим и совершенно не выделялся среди других. На стене не было мемориальной доски, и, верно, многие жильцы не подозревали, что здесь когда-то жил Александр Блок. Многие стихи, созданные на этой пристани, далеки от «Нечаянной радости» и просто от радости. Это стихотворения замкнутого холодного пространства, кажется, отчужденного, полувраждебного герою. Разомкнувшегося зимой 1907 года блистательным циклом «Снежная маска». Но прожил здесь Блок недолго. Осенью 1907 года состоялся переезд на Галерную, поближе к театру Комиссаржевской, в котором шел его «Балаганчик», готовились к постановке «Незнакомка» и «Король на площади».

Само слово «Галерная» вызывало у меня в памяти галеры, Петра и не Блока, а Анну Ахматову с ее «Стихами о Петербурге»: «Сердце бьется ровно, мерно,/ Что мне долгие года!/ Ведь под аркой на Галерной/ Наши тени навсегда (...) Мне не надо ожиданий/ У постылого окна/ И томительных свиданий./ Вся любовь утолена./ Ты свободен, я свободна,/ Завтра лучше, чем вчера,/ Под улыбочкой холодной/ Императора Петра». С циклом, датированным ею 1913 годом, не связанным с Блоком.

Недалеко от Исаакя, в начале квартала улицы Красной (бывшей Галерной), я увидела бордовое с фасада, небольшое каменное здание. Со двора его выкрасили в желтый цвет: окна квартиры Блоков были где-то на втором этаже и выходили как раз сюда. Двор показался тоже колодцем, но менее глубоким и темным.

Жизнь здесь, судя по рукописным свидетельствам Блока, начиналась теплей и праздничней, чем на Лахтинской. «В квартире нашей, — писал он матери 20 сентября 1907 года, — очень хорошо, сейчас (утром) яркое солнце. Полируют ширмы, вешают занавески».

В октябре 1907 года в этом доме завершается цикл «Фаина» — своего рода шлейф «Снежной маски», а в ноябре 1909-го — отголосок того же «снежного цикла»: «Две тени, слитых в поцелуе, / Летят у полости саней. / Но не таясь и не ревнуя, / Я с этой новой — с пленной — с ней...»

В. М. Жирмунский в названной ранее статье дважды вспоминает блоковское «Вновь оснеженные колонны...» в связи с лирикой Ахматовой. Он обращает внимание на структурную, синтаксическую переключку между блоковским «Нет, с постоянством геометра/ Я числю каждый раз без слов...» и ахматовской строфой «Но с любопытством иностранки, / Плененной каждой новизной...» (стихотворение 1929 года «Тот город, мной любимый с детства...»). А в полустрофе из «Поэмы без героя»: «И в каких хрусталях полярных, / И в каких сияньях янтар-

ных/ Там, у устья Леты-Невы», по мнению Жирмунского, ощутимы аллюзии блоковского стихотворения.

Названные переключки представляются мне куда более отдаленными и натянутыми по сравнению с приведенными стихами Ахматовой 1913 года, «рифмующимися» с Блоком и по лирическому сюжету «снежной свободы» двоих, и словесному строю:

«Ведь под аркой на Галерной/ Наши тени навсегда» (Ахматова)

«Две тени, слитых в поцелуе...» (Блок)

«Мне не надо ожиданий/ У постылого окна...» (Ахматова)

«Ведь со свечой в тревоге давней/ Ее не ждет у двери мать» (Блок)

«Завтра лучше, чем вчера» (Ахматова), «Чем ночь прошедшая сияла,/ Чем настоящая зовет...» (Блок) и так далее.

Ахматова и Блок, бесспорно, были породнены городом, общими друзьями и литературными привязанностями. И все-таки примечательно, что переключка, о которой идет речь в стихотворениях Ахматовой и Блока, родом отсюда — с одной и той же Галерной.

Аллюзий блоковского «На островах» в упомянутых строфах «Поэмы без героя», по-моему, просто нет. Скорее можно говорить о варьировании Ахматовой образов всего цикла «Снежная маска».

Но в этой же квартире, на Галерной, была задумана и создана драма «Песнь судьбы». Устами главного героя, Германа, Блок говорит о своем состоянии, в котором он пребывал в 1908 году: «Все бело. Одно осталось: то, о чем я просил тебя, господи: чистая совесть. И нет дороги. Что же делать мне, нищему? Куда идти (...) Выведи, прохожий. Потом, куда знаю, сам пойду».

В мае 1908 года, в процессе работы над пьесой, Блок оставляет такую запись: «Земля обетованная — путь. Тайная сущность «Песни судьбы» — в том, что знаю пока я один — и сам не угадаю (разрядка моя.— О. П.). Рогачевское шоссе. Покровское — Ивлево». Блоком называются окрестные места дедовского Шахматова.

Анна Андреевна Ахматова угадывает в первом из своих «Трех стихотворений», что «разбойный посвист молодого Блока» слышится отсюда, с Рогачевского шоссе. Очевидно, прав В. М. Жирмунский, связывая эти строчки Ахматовой с аллюзией стихотворения Блока «Выхожу я в путь, открытый взорам...», помеченного самим поэтом: «1905 г., Рогачевское шоссе».

Но важно и другое: эта авторская помета — в записных книжках и под стихотворным текстом — дает возможность увидеть не только взаимную связь этого стихотворения Блока из цикла «Осенняя воля» с драмой «Песнь судьбы», но и движение единой мысли о судьбе России — из лирики в драму.

До Малой Монетной, предпоследней квартиры Блока, я так и не доехала. День кончался.

Почти через двадцать лет, не задаваясь, как это было в юности, определенной целью — пройти близ блоковских домов, я, ведомая каким-то десятым чувством, неожиданным совпадением вышла к дому на Галерной, а от него — на Пряжку.

А направлялась я меж тем не к Блоку. Шла впервые к своей новой ленинградской знакомой. Мы собирались, гуляя, дойти до церкви Николая Морского, где отпевали Анну Андреевну Ахматову. Ленинград был по-зимнему белым, заснеженным. Хотя Нева из-за своенравности характера уже вскрылась в этом конце февраля.

Неожиданностью было то, что моя приятельница оказалась живущей «по соседству» с Блоком, с его бывшим домом на Галерной. И эта ленинградская улица — длинный коридор, состоящий из вереницы облупившихся дворцов, с глядящим в ее начало — в арку — Медным всадником, — моей старой знакомой.

Вторая радостная нечаянность выдалась по пути.

Недалеко от церкви с воздушной бирюзовой колокольной мы остановились, и моя знакомая махнула рукой в сторону одного их мостиков: «А тут прямо по Обводному, к Блоку. Тут он любил гулять».

Шла «к Ахматовой», а попала — и «к Ахматовой», и «к Блоку» сразу.

Известно, что личные встречи Ахматовой и Блока были немногочисленны и по преимуществу беглы. Встречи их творческих судеб неисчислимы.

И, может быть, есть в этом какая-то закономерность, распространяющаяся на творческое бытие. Самые пронзительные стихи Ахматовой — это стихи несбывшихся, несостоявшихся встреч. «Таинственной невестричи/ Пустынны торжества,/ Несказанные речи,/ Безмолвные слова <...> / Шиповник Подмосковья, Увы! при чем-то тут.../ И это все / Любовью/ Бессмертной назовут», — писала она в одном из самых своих трагических циклов «Шиповник цветет». А Блок в 1908 году в письме, адресованном матери, ронял: «Чем хуже жить — тем лучше можно творить».

Реальный мост между кусочком земли, на котором стоит церковь Николая Морского, и той стороной улицы, медленно ведущей к Пряжке, вызвал в моей читательской памяти еще один мост литературного происхождения.

В пересечении этих двух судеб — во встречах и не встречах — отдаленно присутствует сюжет романа. Об этом с большой деликатностью уже писалось В. М. Жирмунским.

Но интересен не сам по себе сюжет, а его литературное преобразование.

О Блоке и романе написано много. И неудивительно: он наследовал поэтические традиции таких «романсовых» поэтов, как Фет, Тютчев, Полонский. Его жизнь проходит в те годы, когда увлечение оцыганенным русским романом было очень широко. Первые поклонники граммофона с восторгом слушали популярных тогда исполнительниц романа — Варю Панину, Анастасию Вяльцеву. Так, в одном из дневников 1913 года — Блок уже жил на Пряжке, — отмечая события прожитого дня, он записывал: «Иду на Английскую набережную, 12. Там сначала пел граммофон — Варя Панина и Шаляпин — божественная Варя Панина... Потом говорили о футуристах, об Игоре Северяnine и об издании моих книг к осени...»

«Красота страшна» — Вам скажут, — (Вы накинете лениво) Шаль испанскую на плечи,/ Красный розан — в волосах, — напишет Блок в 1914 году, как замечает сама Ахматова, испанской строфой романсеро. И будет в этом изящном мадригале неосторожное пророчество: «Не так проста я,/ Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Хотя форма романа здесь была подсказана вовсе не Ахматовой, равно, как и розан, и шаль, но предсказана ею еще в стихотворении 1911 года, которое Блок мог бы слышать на «Башне» у Вячеслава Иванова:

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»

— Оттого что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

И за этими непропетыми строчками звенела гитарная струна и звучал фортепьянный проигрыш. Как в традиционном романсе, здесь присутствует лирическое «я» героини и ее «он». Как в романсе, и она, и он, условно говоря, действуют не вполголоса, не вполнакала, здесь все «очень». Однако крайняя степень обостренности состояния не дает еще движения сюжета: сюжет движим противостоянием, на котором издавна строятся жестокие романсы: он уходит — она догоняет, спокойно — жутко. Мелодрамой, жестоким романсом отдает и ее реплика: «Шутка/ Все, что было». Стихотворение отличается от романса концовкой, житейски-бытовой, разговорной, благодаря которой оно не замыкается, не заканчивается, а останавливается на смысловом многоточии.

От стихотворения Ахматовой есть мост к Блоку, мост, на котором не прощаются, как в известном романсе Полонского, а встречаются. Это одно из блоковских стихотворений 1916 года. Написанное в последнем доме, на Пряжке, когда Блок уже был полон и полонен романсом:

Превратила все в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.
И зубами дразня хохотала,
Неожиданно все позабыв.
Вдруг припомнила все — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.
Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась
И, должно быть, навеки ушла...

Ситуация отчасти напоминает ахматовскую: встреча — разговор — обида — расставание. И та же словесная деталь: «Превратила все в шутку...», введенная в контекст. И сквозное противостояние образов, развивающееся от строки к строке: красивой — подурнела, слезы — хохотала, позабыв — припомнив, воротилась — ушла.

Но «романс» в своих стихах не узнается Блоком. В том же 1916 году он пишет Ахматовой в ответ на посылку ею поэмы «У самого моря», отрицая в ее стилистике те образные остря, без которых не представимо во всей целостности творчество самого Александра Блока:

«Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они — не пустяк, и много такого образного, свежего, как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у с а м о г о моря», «с а м ы й нежный»,

«с а м ы й кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и сюжет. Не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче и неприглядней, больнее. Но все это — пустяки, поэма настоящая и Вы — настоящая».

Это написано Блоком, «преодолевающим символизм» прежде всего в себе самом, а потому отталкивающегося от его знаков и в чужом творчестве.

И мертвый жених, и куклы, и это пресловутое «самый» — не одно из немногих «зеркал» с отражением Блока?

«Как мало в этой жизни надо нам, детям,— и тебе, и мне./ Ведь сердце радоваться радо и с а м о й малой новизне./ Случайно на ноже старинном найди пылинку дальних стран,/ И жизнь опять предстанет странной, окутанной в цветной туман». (Здесь и далее разрядка моя.— О. П.)

«Где-то», «какие-то», «незнакомка», «неизвестность», томление «неразгаданностью» — все это органические свойства поэтики Александра Блока.

«Слова носятся не у г а д а н н ы е в воздухе», — писал он в 1905 году в плане статьи «Краски и слова». И в одном из писем 1908 года признавался: «Проклятие отвлеченности преследует меня и в этой пьесе («Песнь судьбы». — О. П.) (...) А в жизни еще очень много сочности, которую художник должен воплощать».

Наверное, этой тоской по «сочности» в жизни и искусстве продиктовано блоковское письмо Ахматовой. Его можно воспринимать и как адресованное самому себе.

Несмотря на то, что в 1915—1916 годах Блоком пишутся важные стихи о России, далекие от отвлеченного, он испытывает чувство неудовлетворенности, свидетельство чему запись от 25 марта 1916 года: «На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал».

Мы-то знаем, что преодоление материала происходило в творчестве Блока до последних дней. Менялась жизнь — и изменялось дыхание строки. Но одновременно с этим уже после «Двенадцати» и «Скифов» в дневнике 1920 года рядом с размышлениями о политической ситуации в Европе появились тексты романсов, выписанных из «Полного сборника романсов и песен в исполнении» А. Д. Вяльцевой, В. Паниной, М. А. Каринской: «Я вам не говорю про тайные страданья,/ Про муки страстные, про жгучую тоску...»

Убедиться в том, что оборвавшийся разговор не продолжается, а только возникает или не возникает вновь, мне приходилось неоднократно. Даже если вы разговариваете не с живым человеком, а с оставленным им домом.

Дом Блока на Пряжке «заговорил» со мною вновь. От Никольского собора меня вывело к нему несколько мостов и перекрестков. Внешне дом мало изменился, разве что «потеплел» немножко цвет его камня, не раз, должно быть, подновлявшегося за это время. Теперь здесь открылся музей Блока. Жители уже привыкли к этому и говорят: «Так это давно!»

Широкая лестница, ведущая на четвертый этаж. Медная табличка на двери квартиры.

Просторная прихожая. Висячий телефонный аппарат на стене и большое трюмо, в котором — с удивлением — узнаю себя. Кажется, здесь все должно отражать Блока, и только его.

Но больше всего удивляет воздух — не музейный, запах живого человеческого жилья.

Глядя на пиджак, накинутый по-домашнему на спинку стула в маленькой комнатке Блока, отделенной ширмой, испытываешь ощущение остановленного мига: «И проходят, быть может, мгновенья, / А быть может — столетья».

Вот и часы на столике рядом остановлены. Стоит только завести их, и...

Ощущение это знакомое. Есть соответствующий ему словесный штамп: кажется, что поэт просто вышел из комнаты. Да, почти так. И девочка — служащая музея, вовсе не экскурсовод, — плетя свою пряжу и вдруг отрывая пробор от работы, произносит с неожиданной трогательностью, путая, кто есть кто: «Это мама Александра Александрыча, а это дедушка, а это тетя».

Спускаюсь на второй этаж, где действительно жила Александра Андреевна Бекетова. И в комнате, которую Блок видел в последний раз, где лежит его посмертная маска, — вдруг — замечаю портрет, о котором неоднократно слышала и читала. Последний портрет уже мертвого Блока, выполненный художником Л. А. Бруни.

Я внимательно смотрю на этот горестный профиль. Заострившиеся черты, нарисованные почти одними линиями, без штриха. Пытаюсь разгадать, почему он сделан синим карандашом на случайной как будто бы картонке. Вспоминаю при этом некстати читаное и слышанное о многозначности «синего» в поэтике Блока. И еще не знаю, что через полгода услышу длинную историю этого портрета от жены художника Нины Константиновны Бальмонт-Бруни.

Я не буду воспроизводить и пересказывать ее здесь полностью: она длинная. Скажу только, что портрет рисовался молодым Львом Бруни: вместе с женой он пришел проститься с Блоком. У гроба они встретились с Анной Андреевной Ахматовой, которая была в глубоком трауре. Анне Андреевне вдруг стало дурно. Она вышла на лестницу и долго стояла там, опершись на аккуратно наколотые и сложенные у двери дрова.

Когда все ушли из комнаты, Лев Александрович взял со стола первый попавшийся карандаш (красно-синий) и на корочке исписанного блокнота, лежащего здесь же, на столе Блока, нарисовал этот портрет.

Портрет вскоре покинул художника, был потерян им, долго ходил по разным людям и адресам, пока десятилетия спустя не оказался вновь в этой комнате.

Да, жизнь, в самом деле, большая, и в ней есть все, вплоть до уравнений с десятью неизвестными, которые ею же и разрешаются.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕВОЛОД САХАРОВ

Портрет в строках — проглянет...
Забывтое стихотворение
К. Случевского

Странной и грустной судьбе замечательного русского поэта Константина Константиновича Случевского (1837—1904) я начал удивляться еще в студенческие годы, когда приобрел уцененный синий томик Большой серии «Библиотеки поэта». Там я, естественно, надеялся найти полное Случевского, однако, сравнив сборник 1962 года с прижизненным собранием сочинений поэта, не обнаружил в претендующем на полноту и академизм издания «Библиотеки поэта» лучших стихотворений «Корона патриарха Никона», «Памяти А. А. Григорьева», «Голова Робеспьера» и др. При всей моей тогдашней наивности студента-«шестидесятника» я не очень поверил, что эти произведения лишены «художественного интереса и идейной значимости...». Но тогда мой недоуменный вопрос повис в воздухе, и лишь позднее, попав в литературную среду и поработав в издательствах и прессе, я увидел, с какой легкостью необыкновенной игнорируются во имя концепции факты биографии и творчества изучаемых и издаваемых писателей. Бывало такое, конечно, не всегда, но было же...

Однако история со Случевским оказалась долгой. Прошло два десятилетия, и автору этих строк посчастливилось принять участие в подготовке сборника стихотворений поэта в издательстве «Советская Россия». Книга вышла в 1984 году, и в ней отчасти удалось восстановить справедливость, вернув читателю забытые шедевры. Правда, и здесь возникли шероховатости: поэт не удостоился издания в серии «Поэтическая Россия», а его замечательное стихотворение, прочитанное на юбилее редактора газеты «Новое время» Алексея Сергеевича Суворина (1834—1912) и напечатанное в «Архангельских губернских ведомостях» 8 марта 1901 года, я сумел привести лишь частично в предисловии, да и то «контрабандой», умолчав об адресате послания. На эту интересную публикацию мне указал фольклорист А. Л. Налепин.

Случевский пишет портрет человека, чья политическая и литературная биография запутана, полна кричащих противоречий. Недаром он сравнивает жизнь Суворина с риторическими сочинениями русского монаха-писателя XII века Кирика, мастера плетения изукрашенных словес. Ибо издатель консервативной газеты «Новое время» — человек живой, незаурядный, очень сложный, и среди «лиц», приступающих «вкруг него», — поэты И. С. Никитин и Н. А. Некрасов, А. П. Чехов, публицисты В. В. Розанов и М. О. Меньшиков и, наконец, сам Случевский... Так что это стихотворение — интереснейший человеческий документ, в котором выдающийся поэт рассказывает о сложнейшем явлении отечественной культуры.

Что же показывает эта случайная удачная находка? А то, что полное Случевского мы еще не знаем, прижизненная пресса, особенно газеты,

не обследована, архивы не просмотрены с необходимой тщательностью. Да и наши сегодняшние оценки поэта и его наследия сбиваются порой на ничего не значащие общие слова и штампы прежних лет типа «чистое искусство», «реакционный» и т. п., за которыми трудно различить облик реального человека, лицо самобытного поэта. Но будем надеяться, что предсказание Случевского сбудется, мы узнаем наконец все его забытые строки, и в них проглянет портрет художника талантливого, мятущегося, трагического, неровного, но всегда искреннего. Именно таким и был Константин Случевский.

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

* * *

Живой портрет в строках! Сутуловат, не строен,
И грудь не высока, но плечи широки;
Глаза не из больших; взгляд часто неспокоен;
И сквозь стекло очков блистают огоньки.
И не усидчив он! Порывисты движенья,
Не тщателен уход за длинной бородой;
Одежда широка — чтоб не было стесненья;
Морщин достаточно; украшен сединой.
Он бесконечно добр; язвителен нередко;
Не знают: как к нему порою подойти?
Правдив всегда, клеймит остро и метко,
И хвалит иногда, пожалуй, без пути;
Речь — очень не ровна, в ней часто: «все такое...»
Нередко в речи той — не отыскать его...
Порою, как дитя, играет на покое;
Порой — глашатай дум народа своего...
Но это — жизнь сама! в нем — Кирика созданья
Красот и слабостей обычный перебой,
Очарованье слов, несокрушимость знания
И вера в будущность всей пылкою душой.
Ему десятки лет давала жизнь уроки;
Но — старый педагог не сбил ученика:
Живая льется мысль сквозь пламенные строки.
Нет осужденья в ней и нет в нем старика!
Счастливый образец хорошего закала,
Одни из могикан давнишних, милых лет...
Но здесь, в присутствии, вблизи оригинала —
Бледнеет как луна пред солнцем, — весь портрет.
Но, будет некий день... Нас всех, кто здесь, — не станет...
Забудутся черты... Замрет бесследно речь...
Тогда, сквозь тьму годов, портрет в строках —
проглянет...

Его — ни затерять, ни разорвать, ни сжечь!
И подле, вокруг него — еще проступят лица:
Друзья, товарищи, почтенная семья!
Живая, редкая, хорошая страница
Из наших смутных дней лихого бытия!..

«КОВАРСТВО БЕЗОРУЖНО ПРОТИВ ВАС...»

В собрании книг храню пять поэтических сборников прекрасной поэтессы Веры Клавдиевны Звягинцевой — в разное время они были подарены автором своим друзьям. Один из них с названием «На мосту» (М., 1922) заинтересовал меня особо... Авторская надпись на титульном листе такова:

Милому Максу и Фердинанду —
Леличка, Луиза — В. Звягинцева.

А на четвертой странице, свободной от типографского набора, поэтесса написала от руки небольшое стихотворение, посвященное тому же адресату:

В. Ветилову

Фердинанд, ты не найдешь Луизы,
Мне же Фердинанда не найти,
У земной любви истерты ризы
В вековом, глухом ее пути.

Так и будем, вместо лимонада,
Пить коньяк и первый мокрый снег...
Ты с рассеянным и грустным взглядом
Мандолиной скроешься от всех.

Я же в дыме папиросном сизом
Вылью бешенство тоски в стихах,
Закачаю в вальсе грусть Луизы,
Закачаю в смехе смертный страх.

В. Звягинцева

Троицкое, «Коварство и любовь».

Приведенные автографы напоминают о раннем периоде творчества В. Звягинцевой. После окончания в 1917 году Курсов сценического искусства Вера Клавдиевна до 1922 года работала в качестве актрисы в московских театрах: «Комедии», II Советской передвижной труппе, Театре РСФСР I и других. Знаменательно, что, работая под руководством В. Э. Мейерхольда над пьесой «Мистерия-Буфф», Вера Звягинцева встречалась с В. В. Маяковским. Когда же находилось свободное время, артистка сама работала над стихами — в результате появился ее первый поэтический сборник. На одном из тех экземпляров, упомянутом выше, надписи автором сделаны для товарища по театральной сцене — Владимиру Сергеевичу Ветилову. В автографе названы имена персонажей пьес, в которых были заняты автор и его адресат. И если под стихотворением подпись подтверждает возникающую сразу же догадку о знаменитой

пьесе Ф. Шиллера, то другая пара имен — Макс и Леличка — современному читателю мало что говорят. А, между тем, пьеса русского писателя девятнадцатого века Л. Н. Антропова «Блуждающие огни» много десятилетий пользовалась большим успехом у зрителей. Заметим, что роль Лели еще в 1874 году в Москве играла М. Н. Ермолова, а в Петербурге — М. Г. Савина.

Дарственная надпись на книге заставила меня обратиться в Центральный государственный архив литературы и искусства, где хранятся творческие рукописи и переписка В. К. Звягинцевой — хотелось больше узнать о молодых годах и становлении поэтессы. Из ее писем начала двадцатых годов видно, в каких тяжелейших условиях она жила... Комната в коммунальной квартире и масса забот: «... занята с 7 утра до 12 ночи, не садясь на место... готовить на 3 дня нельзя, надо на 1—2, то к прачке, то лепешки месить... Беганье за пшеном, хлебом. Тысячи дел... Теперь репетиции идут иногда 2 раза в день — утро и вечер — я не знаю, как это выдержу... Едим мы бог знает что. Картофель гнилой... чечевицу... рожь — всего понемногу. Так и дни летят — добудешь одно, надо другое — все съедается... Готовка, мытье, репетиции...»

В 1922 году Вера Звягинцева сделала окончательный выбор — оставила театральную сцену, ибо не оставляли впечатлительную душу стихи. Однако для поэзии через несколько лет наступили тяжелые времена, даже самые выдающиеся поэты не имели возможности печатать свои стихотворения. Не приходится доказывать, что работа переводчика сложна, ответственна и необходима для читателей, но все же... Каждому поклоннику поэзии гораздо ближе и дороже непосредственно личное творчество поэта, чем его переводческая деятельность. Но, как и другим поэтам, Звягинцевой пришлось в течение многих лет заниматься поэтическим переводом. Как и в своих произведениях, в этой области поэтесса достигла больших успехов — широко известны ее переводы с армянского, украинского, белорусского, французского, польского и других языков.

Оригинальных книг за достаточно долгую жизнь Вера Звягинцева смогла издать менее десяти, к примеру, между второй и третьей книгами пролегал разрыв в двадцать лет. К счастью, в рабочих тетрадях поэтессы сохранилось много чудесных стихотворений, родившихся из-под ее пера в те далекие годы — все они пронизаны любовью к жизни, людям... и до сих пор остаются все еще не опубликованными. Ряд этих стихотворений предлагаю вниманию читателя. Рад тому, что библиофильский поиск привел меня к архиву В. К. Звягинцевой. Кстати, там нашлись сведения, напоминающие о дружбе поэтессы и ее товарища по сцене... На открытке, где молодой, красивый артист запечатлен в costume персонажа пьесы Шиллера, есть текст: «В. С. Ветиллов (Коварство и любовь)». На обороте же имеется дарительная надпись: «Дорогая Верочка! Помните всегда о любви и никогда не предполагайте коварства. Коварство безоружно против Вас, против Ваших доверчивых глаз и простых душевных слов. Ваш Владимир В. 6/XII-22 г.»

Упомяну, что в ЦГАЛИ находятся фотографии В. С. Ветиллова, напоминающие о его ролях: маркиз Поза («Дон-Карлос»), Лэрт («Гамлет») и другие. Хранится в архиве В. К. Звягинцевой и письмо В. С. Ветиллова, которое, к сожалению, помечено лишь такой датой: «7-е сентября». Написано оно, видимо, спустя десятилетия после совместной работы в театре. Вот несколько строк из этого письма: «Годы нашей общей жизни —

это очень большая и глубокая книга, дочитать которую может быть мне суждено еще в будущем». Но я не буду Вам говорить об этом. Жизнь движется, все новое, новое, но что-то застыло, что-то осталось навсегда, и это «что-то» пока мной еще не осознается совсем, но стережет на каждом повороте».

Анатолий МАРКОВ

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

* * *

Так ждать, так петь сквозь
все обиды,
Сквозь ростепель и сквозь пургу.
И лик божественный увидеть
Лишь отпечатком на снегу.

Вот на коленях дни и ночи
Дышу в закрытый снежный взгляд:
Раскройте, растопитесь, очи!
Я не могу уйти назад.

Окрест дома одеты крепом,
В высоких окнах ни огня,
Зачем же музыкой и ветром
Всю жизнь ты призывал меня?

Ужель затем, чтоб, замерзая,
С тобою рядом снегом стать
Иль, хохоча над ложью рая,
Прекрасный облик растоптать?

Удел счастливый — ненавидеть,
Не жаль, не петь в земном кругу,
Чем лик божественный увидеть
Лишь отпечатком на снегу.

1921

* * *

Резкий ветер на нашем мосту,
И не падают зимние звезды.
Я одна: часовой на посту,
Стерегу золоченые бездны.

Оттого, что я вечно пою,
Никому веселее не станет,
Но я родину славлю свою
В человеческом вражеском
стане.

За меня только хрусткий мороз
Да обида томленья земного.
Но Гарун аль-Рашид или Крез
Не знавали богатства такого.

Не стоишь ты на нашем мосту,
Где-то числишь размерные
знаки.

Надо мной голубую версту
Голубые усеяли злаки.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Выбивалась, метала, плескалась
крылами
И, пробивши грудь, улетела.
И осталось меж четырьмя стенами
Пустое тело.

Зрячими вокруг смотрю глазами:
Вот такими вы все и были.
А мне-то совсем другое казалось
От шороха моих крыльев.

Буду теперь с вами жить
по-вашему:
Пусто, просто, жестко.
Вижу: стоит в лохмотьях
крашенных
Мира земного остов.

Музыка — звуки. Земля — планета.
Люди — ученые звери.
Если мне скажут, что есть поэты,
Я уже не поверю.

* * *

Сергею Есенину

Ах, мы запрягались в слова,
И позабыли про жасмины,
И страхиваем с рукава
Блик солнечный, как паутину.
И стужу родины и жар
Перелагаем на прохлады...
А ты звенишь — лесной пожар,
Кумач и ветер твои парады.

Дитя любимое земли,
Она тебе надышит счастье.
Тебе ответят ковыли —
Не человека безучастье.

* * *

Вдруг под Курском какое-то поле,
Желтизна посыревших скирдов...
И прорезано едкой болью
Сердце сытое прочностью снов.

Открывается дремная мудрость.
Разве что-нибудь можно решить,
Если столько их рощ синекудрых
И речонок, закинутых в ширь.

Море месяцы длилось и — пусто,
Позади только солнечный дым,
И опять голубеет капуста
В огородах разливом простым.

И на насыпи тряпкой зеленой
Треплет по ветру, стоя столбом,
Сторожиха с лицом изнуренным,
И летит полустаночный дом.

Беспокойно под Курском,
под вечер...
Знобкий трепет бежит по лугам.

И я знаю все крепче и крепче,
Что веселая ясность не нам.

ПОСЛАНИЕ

Тебе, товарищу какому-то,
Замедлившему услышать —
Пою, Офелией из омута,
В моих доверчивых стихах.

Тебе! По улицам заношенным,
В ночную сырость торопясь,
Бросаю, как травы накошенной,
Сырых стихов простую вязь.

Послушай... (Как там ни далеко ты),
Все ближе, чем сосед глухой,
И сердца травленого ропоты
Тебе не будут чепухой.

Послушай: эта жизнь — двулика,
И слабость спутников моих
То лебедой, то павиликою
Вплетается мне в жизнь и стих.

И я живу... Печальной гордостью
Лечась от всяческих обид,
Но убывающая молодость
Меня не часто веселит.

Так, мой товарищ непришедший,
С тобой бессмысленно делю
Все, что на свете сумасшедшем
Я ненавижу и люблю.

* * *

Эта яблочная свежесть утра,
Чемодана веселящий груз...
Как не быть хоть двое суток

мудрой,
Под гору скативши комом
грусть...

О, веселый холод путешествий,
Праздничные будни пристаней,
И повсюду труд и песня вместе,
Ласковых любовников тесней.

Так умна оливковая Кама,
Так умерен, желт и прост закат,
Я стыжусь своей души упрямой,
Где занозой заросла тоска.

Этот ветер... окунаюсь в ветер...
Смолы пахнут. У кормы кипит.
Потихоньку не могу не петь я
«И звезда с звездою говорит...».

* * *

И вот: не боюсь одиночества,
Не плачут глаза по друзьям...
Опорой — старинного зодчества
Никола в Хамовниках храм.

Затем, что люблю тебя всякою,
Нескладная нежность Москвы —
Не тянет меня к Исаакию,
Не хочется строгой Невы.

Течет моя речка к Нескучному,
Любуюсь с любимых мостов
Неломкою мягкой излучиной
Кремлевских ее берегов.

И вот не боюсь одиночества,
Земные обиды легки —
Мне тихим и верным
пророчеством
Кресты в отраженьи реки.

Л. ЛЕОНОВУ

Пасхой, писанкой снится мне
юность...
Говори... говори... говори...
Ходят темно над бором буруны,
Черным зеркалом Волга горит.

На поляну, на лунную, волчью,
Вышел-бросил в крапиву картуз...
Каково одному тебе ночью
На любовь заговаривать Русь...

Затихаю кукушкой над ивой...
В мир звериный пришел Человек.

Я гляжу на забытое диво
Из-под птичьих дрожащих век.

Ходит-ходит, как море ходит,
Без краев в тебе жалость-синь
И свистит по лесной погоде.
«Еще жив на Руси человек».

ЧУДО

Ну как же не бывает чуда?!
А наши замыслы, мечтанья,
Пришедшие невесть откуда,
А слов певучих сочетанья.

Нечаянная встреча с другом,
Почти похожая на счастье,
Заболевание недугом,
Который называют страстью!

Да что там чувства! Даже листья
На улице осенней мокрой.
Какой Сарьян, взмахнувший
кистью,

Писал их суриком и охрой?

Потом зима, весна и лето —
Еще три настоящих чуда.
А как назвать иначе это,
Никто не выдумал покуда.

А музыка, а лес, а горы
И море, ну, конечно, море,
Степные знойные просторы
С полынью горькою, как горе...

Да я бы сотни насчитала
Земных чудес. Одно лишь худо:
Магического нет кристалла,
Чтоб всем увидеть в чуде — чудо.

САВИНКОВ

|
Было вялым олово Невы,
Было небо как звон
огромный;

Развозили пьяных, мерзких,
сонных.
И тогда в тебе как волк завыл.

Сумасшедший вихрь тоски по чуду.
Буйно к мозгу ринулась
мечта —

Сдвинуть жизнь на острие винта,
Просверлить винтом тупую
грудю

Петербурга, родины, земли.
Но Нева молчала и сучала.
Тени оловянные легли
На лицо и на судьбы начало.

И усмешка, едкая, как соль...
Книжный спутник,
Николай Ставрогин,
Вечно будет мутью на дороге,
Притупляя огненную боль.

Так и было: бешено и хладно
Проскакал, хрипя, хрипя,
Конь Блед.
Что осталось от твоих побед?
Голый человек и плащ
парадный.

II

Но свободы первый ученик,
Я опять к тебе, моя Россия!

Отвязался от меня двойник.
Скачкой роковой обессилен.

До свиданья, Николай Ставрогин,
Я один могу на эшафот.
Вот Россия. Верую, что лжет,
Кто сулит ей траурные
дроги.

Растопилось олово Невы.
Разучились усмехаться губы,
Сердце просмоленное огрубло.
Мне теперь не надобно
молвы.
Я швыряю пышный плащ долой,
Я принес израненные руки.
Я всю жизнь был с родиной
в разлуке.
Я сейчас пришел к себе
домой.

III

Было много цвета тополей,
Было небо пышным
и высоким.
Жизнь окончил самый одинокий
Из рожденных на земле
людей.

Это значит: человек стал грудой
Ничего не помнящих костей,
И пойдут повсюду пересуды
Ледяных его страстей.

МАСТЕРСКАЯ



АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ

(Русский поэтический авангард 60-х годов)

На XX век, на время величайших научных открытий, наибольшего раскрепощения интеллекта падает невиданное прежде унижение человека. Это время геноцида, время не знающих стыда демагогов, цепляющихся за авторитаризм, как за поплавок, и считающих единомыслие самым выгодным для них выражением общественного сознания. В такой ситуации, как свидетельствует история, происходит девальвация многих нравственных ценностей, появляются в людях двоедушие, своекорыстие и страх. А как следствие этого процесса — потеря веры одного человека в другого, влекущая за собой разобщение людей. Из недавнего времени нам известно, что страх человека перед своими и чужими мыслями и мнениями разлагал личность, делал ее податливой любому злу.

Настоящая литература помогает преодолеть отчуждение, избавиться от вакуума безнравственности. Для этой литературы характерно движение к художественному совершенству, многозначный, а не плоскостной показ социальной жизни, гуманизация мысли и действия, постоянный уход от конъюнктурных сиюминутных установок и опора на глобальные, общечеловеческие ценности. Средствами литературы необходимо было дискредитировать политику, связанную с авторитарной властью. Не все писатели, члены СП СССР, как показало время застоя, оказались подготовленными к выполнению этого гражданского долга, некоторым из них претила сама идея менять что-либо. Однако такая податливость внешним обстоятельствам, согласие с авторитарной властью, купленное отказом от принципов чести и порядочности и наперекор собственной совести, — прямой путь к добровольному рабству. А писательство и рабство (особенно внутреннее), если перефразировать нравственную формулу А. С. Пушкина, «две вещи несовместные». 60-е годы знаменуют если не расцвет честного писательства, то, по крайней мере, попытку вернуть литературе ее основные качества и снова провозгласить главным объектом человеческую личность. До 60-х годов рукой подать, но много ли мы о них знаем? Особенно это касается поэтических групп и движений, а также отдельных поэтов, которых старался не замечать тогдашний секретариат СП СССР. Зато эти группы, движения, а также отдельные поэты находились под другой государственной опекой, и этот неусыпный надзор над ними не привел к расцвету новых литературных дарований. В наши дни кое-что об этих годах становится известно, да и то преимущественно из зарубежных источников. Вот почему я считал своим долгом узнать как можно больше о поэтических группах, движениях, а также отдельных поэтах, которые в период застоя именовались диссидентскими, а сейчас — в более просвещенное время — модернистскими или авангардистскими за неимением более точных понятий. В качестве своих собеседни-

ков я избрал доктора филологических наук Юрия Александровича Сорокина, чьи поэтические произведения известны очень небольшому кругу людей под псевдонимом Глеб Арсеньев, и входившую в СМОГ поэтессу Алену Басилову, жену и соратницу Леонида Губанова (1946—1983), основателя и лидера этого первого в СССР неформального объединения молодых людей, возникшего в середине 60-х годов. Их показания крайне важны для восстановления правды во всем ее объеме.

СЕНКЕВИЧ: Культура — это тот уровень социального бытия, на котором в максимальной степени осуществляется личность как единственная в своем роде, самодостаточная ценность — отдельный микрокосм. Подавление культуры равнозначно подавлению личности. Общество, состоящее из ущербных индивидов, не может быть свободным и здоровым. Все известные разновидности тоталитарного контроля (фашизм, нацизм, сталинщина, маоизм) объединяет общая тенденция — втиснуть всю культуру, унаследованную обществом от прошлого, в прокрустово ложе той или иной доморощенной социально-политической доктрины. И это несмотря на то, что современная европейская культура, к которой мы также принадлежим, представляет собой наследие нескольких древнейших цивилизаций. Именно поэтому она обладает мощной интегрирующей функцией. В ней выражены основополагающие и притом разнообразные по своему происхождению элементы духовного мира современного человека. В этом проявляется, на мой взгляд, жизненное значение европейской культуры для мировой цивилизации. Это богатейший потенциал духовности, источник, способный питать дальнейшую эволюцию рода человеческого. К несчастью, история XX века с ее беспрецедентными социально-политическими катаклизмами в значительной степени нарушила культурную преемственность. Этот трагический разлад между прошлым и настоящим усугубила в нашей стране сталинщина с ее вандалистским отношением к культуре и ее средоточию — человеку. На эту особенность нашего общества при Сталине обратил внимание, в частности, Рабиндранат Тагор, который утверждал в 1930 году в тринадцатом письме в книге «Письма из России» (до сих пор это письмо исключалось из всех русских изданий): «Я не думаю, что им удалось провести должное разграничение между личностью и обществом. В этом отношении они несколько напоминают фашистов. Именно поэтому они не склонны допускать какие-либо пределы подавления личности во имя коллективизма. Они забывают, что, ослабляя личность, нельзя усилить и коллектив. Если личность — в оковах, общество не может быть свободно».

Может быть, от сталинщины больше всего пострадала русская культура. Она оказалась обескровленной.

СОРОКИН: Самое страшное в том, что происходило размывание культурно-духовного стереотипа поведения у русских людей. Вот этот вопрос и был для меня и моего друга Владимира Осипова главным еще в конце 50-х и начале 60-х годов.

(СПРАВКА: Владимир Николаевич Осипов. Родился 9 августа 1938 года в городе Сланцы Ленинградской области. Арестован в октябре 1961 года за участие и организацию встреч и дискуссий у памятника Маяковскому. 9 февраля 1962 года приговорен по статье 70 УК РСФСР к 7 годам лишения свободы. Все 7 лет отбыл в лагерях Мордовской АССР. После освобождения издавал машинописный журнал христианского, славянофильского направления «Вече». За 1971—1974 годы издано 9 номеров. В марте 1974 года журнал закрылся вследствие внутривредакционных конфликтов, но в августе в обстановке начавшегося следствия по делу об издании журнала «Вече» стал совместно с В. Родионовым издавать ма-

шинописный журнал «Земля» того же направления. При подготовке второго номера «Земли» 28 ноября 1974 года был арестован и 26 сентября 1975 года приговорен Владимирским областным судом к 8 годам лишения свободы по статье 70, часть вторая УК РСФСР. Осужден за издание журналов «Вече» и «Земля» и за выступление в защиту гонимых и репрессированных лиц. В 1977 году вместе с группой других политзаключенных провел 100-дневную забастовку и серию голодовок, требуя признания статуса политзаключенных. В ноябре 1982 года освобожден и поставлен под жесткий административный надзор в городе Таруса Калужской области. С приходом М. С. Горбачева к власти ситуация смягчилась, надзор был снят.)

СОРОКИН: Володю Осипова я знаю давно, еще с целинных времен. Часто встречался с ним в общежитии МГУ на Стромынке. А в общежитии и на целине не спрячешься. Ты там такой, какой есть на самом деле. Три качества Володи Осипова сразу же бросались в глаза: честность, порядочность и надежность. На его слово и дело можно было положиться. Вокруг все могло изменяться, он оставался постоянным и в своей любви, и в своей ненависти. И, конечно, во времена не только дефицита, но и распада положительных человеческих качеств люди, их сохранившие, казались пришедшими из другого мира. Володя Осипов привлекал не только этими своими качествами, он, несомненно, из тех, кого Л. Н. Гумилев называет «пассионариями», а они, как известно, и формируют тот процесс, который потом в книгах именуется историей.

СЕНКЕВИЧ: Имеет ли какое-нибудь отношение деятельность В. Н. Осипова к обществу «Память»?

СОРОКИН: Никакого. Не знаю, согласишься ты со мной или нет, но «леваки» из «Памяти», это, к сожалению, сталинствующие славянофилы. Подлинный славянофильский подход, на мой взгляд, предполагает признание двух отдельностей, двух единичностей как полностью автономных. Об этом, например, четко и ясно говорил Иван Киреевский, когда разбирал взаимоотношения России и Европы. Но экстремистские ориентированные идеологи «Памяти» идут совершенно по иному пути. Ведь славянофилы настаивали на собственной автономности, но никогда не навязывали ее другой единичности. Опять предлагается идеология, связанная с подавлением инакомыслия.

СЕНКЕВИЧ: Произошла девальвация поэтического слова. И это, несмотря на то, что в застойный период поэзия тематически не была настолько регламентирована, как прежде. Поэты писали о деревне, о природе, о любви. Однако эти лирические откровения, по крайней мере большая их часть, совсем не прозвучали для людей. Это была та же самая риторика, ничуть не отличающаяся от существовавших ранее гимнов трудовым будням. Почему из тех, кто приехал со своей песней из деревни, не получились поэты, не уступающие по мощи и значению Сергею Есенину? Ведь прозаиков, больших писателей, послевоенная деревня все-таки дала.

СОРОКИН: Давай разматывать весь этот клубок. Во-первых, примем следующее допущение: беда нашего писательского официоза состоит в его ложной цели — не служить интересам людей, а рассматривать литературную деятельность как ступеньку к преуспеянию. Во-вторых, почему не появилось нового защитника деревенской жизни? А потому, что был разрушен почти до основания старый крестьянский уклад, подверглись эрозии лучшие свойства человеческой личности. Когда поэты-деревенщики стремятся показать то, чего не существует, им, естествен-

но, не верят. Это даже не стилизация крестьянской жизни, а подделка. И наконец, в-третьих, может быть, меньше стало талантов?

СЕНКЕВИЧ: Обратимся теперь к поэтам, которые живут в Москве. Ведь у Алены Басиловой и Леонида Губанова есть замечательные пейзажные стихи, хотя назвать их деревенскими поэтами невозможно. Несмотря даже на то, что Алена Башилова в своем творчестве вернулась к русской фольклорной традиции.

БАСИЛОВА: В ранних своих стихах я шла от Иннокентия Анненского, Мандельштама, Пастернака. И я, уверяю вас, превратилась бы в эпигона кого-нибудь из них, если бы не фольклор. Он меня буквально спас. Меня поразила суггестивность русской фольклорной поэзии. Из поэтического фольклора меня больше всего интересовали разбойничья поэзия и поэзия плакальщиц. Ведь все мы двигались тогда как в ночи. Благодаря фольклору я себя и нашла.

СЕНКЕВИЧ: Многие из поэтов в различных странах использовали фольклорную традицию, спасаясь от наступательного этического релятивизма и потерявшего всякий смысл «птичьего языка» псевдопрогрессивной риторической поэзии. Современный городской фольклор не что иное, как фиксация различных состояний народного сознания. Фольклорная традиция осуществляет преемственность в формулировании и трансляции содержания ценностей этого сознания. Интерес писателей в XX веке к фольклору, на мой взгляд, усилился еще и потому, что в наше время в обществе получают широчайшее распространение социологизированные, фантомные ценности, вырабатываемые сознанием правящей элиты. Фольклорная традиция резко противостоит этому сознанию и в отличие от него содержит в себе самые насущные ценности бытия, а также представляет не один, а множество вариантов народного сознания. Фольклорная традиция обращена к живому человеку в его конкретности. Иное дело сознание правящей элиты и выражающей ее интересы бюрократизированной интеллигенции, в том числе и художественной. В этом сознании человек воспринимается не сам по себе, а как некий социологизированный тип.

СОРОКИН: Против такого сознания и восстала площадь Маяковского в конце 50-х годов.

БАСИЛОВА: Я любила кормить голубей на площади Маяковского, ведь я жила неподалеку, на Садовой Каретной улице. Я кормила голубей у памятника Маяковскому, и то ли толпа меня увлекла, то ли сама заинтересовалась, но я оказалась в самом центре происходящих событий. Вокруг памятника кишмя кишели люди, постоянно что-то читали. И я вдруг увидела Юрия Галанскова. Он читал «Человеческий манифест», это было в духе Маяковского. У него была политическая поэзия, немножко наивная. Когда он прочитал «Человеческий манифест», начались какие-то странные вещи. Его схватили люди в штатском и вытащили из толпы. Потом передали в руки милиционеров. А потом какие-то дружинники его куда-то повели. Если бы я не слышала стихов, я не обратила бы никакого внимания. Но поскольку я увидела, что руки выкручивают поэту, я, естественно, стала возмущаться. И тогда мне также стали выкручивать руки. Вот так вместе с Юрой Галансковым я попала в какой-то тайный штаб оперативного отряда. И тут на моих глазах его стали избивать, били головой о стену, ногами в живот, кричали: «Сволочь! Ты будешь писать стихи?» И он кричал им в ответ: «Буду!» На меня его избивание произвело страшное впечатление. И долгое время не могла прийти в себя. На Маяковке я еще познакомилась с Толей Щукинским, стихи которого мне очень понравились. Потом познакомилась с Володей Ковшиным, Мишей

Капланом. Всех этих людей всегда сопровождал Коля Котрелев, самый образованный из всех, кого я там встречала.

СОРОКИН: Маяковке была очень многослойным явлением. Она стояла десятка литературных институтов. Там люди учились поэзии. На Маяковке можно было услышать, что говорят и о чем неофициально пишут люди, и сравнить это с официальной поэзией. Различие было громадным. То, что происходило на Маяковке, оказывало сокрушительное, деструктивное влияние на многих официальных поэтов. Самые пронизательные и подлые из них поняли, что, разреши Маяковку, сделай такой турнир поэтов постоянным, они конкуренции не выдержат. Там выступали люди с неподдельным гражданским темпераментом. Вот Алена говорила об Юрии Галанскове, поэте, критике, издателе первых независимых рукописных журналов. Он был потом арестован, получил срок, был помещен в лагерь и там же погиб на операционном столе.

СЕНКЕВИЧ: Как показывает жизнь, многие публицистические стихи вскоре после их создания умирают. Почему в большинстве своем политическая заостренность «выедает» художественное «нутро» поэзии, а вот подобного не произошло с песнями Владимира Высоцкого?

СОРОКИН: В то время, в конце 50-х и 60-х годов, политическая поэзия и не воспринималась как поэзия. Это скорее всего был гражданский поступок. Как только возможность совершать такие поступки становится обычным делом, то люди понимают, что их удобнее совершать не в поэтической, а прямой, предметной форме. А вот, например, история с Высоцким — совершенно другое явление. За кажущейся политизированной оболочкой его стихотворений скрыто обращение к психологии человека, к его реальным ментальным потребностям.

СЕНКЕВИЧ: Общество СМОГ — «Самое молодое общество гениев» или «Смелость, мысль, образ, глубина» — было исключительно поэтическим или чуть-чуть политическим? А каким был Леонид Губанов?

СПРАВКА (подготовлена А. А. Рустайкис): Леонид Георгиевич Губанов родился 20 июня 1946 года в Москве. С детства увлекся живописью и литературой, особенно поэзией, в которой уже в школьные годы проявилась во всю силу неординарность творческого восприятия жизни. Яркость натуры и не по годам развивающийся деятельный творческий дар, не терпящий никакого насилия и управления со стороны, привели к несовместимости с тем временем и к невозможности вписаться в его каноны и рамки, что стало причиной драматического развития его судьбы и ранней смерти. 1963—1964 годы — создание, кроме огромного количества стихов, ряда зрелых поэм: «Пугачев», «Иван Грозный», «Новгород», «Сетунь», «Марта», «Помпея», «На смерть Пастернака», «Декабристы», «Полина» и т. д. 1964 год — публикация в журнале «Юность» № 6 отрывка из поэмы «Полина», в которой пророчески предугадан срок его жизни — единственная прижизненная публикация, вызвавшая многочисленные нападки и осмеяние со стороны прессы («Крокодил», «Огонек», «Наш современник»), что обусловило его дальнейшее внутреннее отстранения и отторжение от «официальной» литературы. 1965 год, январь, — создание из группы единомышленников поэтического общества «СМОГ», к которому примкнуло несколько прозаиков, художников и музыкантов, продумывание его принципов и творческой платформы. 1965 год, 14 апреля — создание манифеста, определившего творческое кредо СМОГа, июнь — погромная статья о «смогизме» в «Комсомольской правде», с октября по декабрь — насильственная изоляция органами КГБ в психиатрической больнице за организацию «смогизма»; 1966 год и далее — «поднадзорное» существование, 1967 год — бесконечные вызовы на доп-

росы по делу А. Гинзбурга, насильственная изоляция в психиатрических больницах, продолжающиеся там допросы под медикаментозным воздействием. Все дальнейшие годы — неприкаянная жизнь, работа пожарником, грузчиком, сторожем и вечный поиск себя в поэзии; 1983 год, 8 сентября, — внезапная смерть в месяц и год, предугаданные в поэме «Полина» и стихотворении «Печальная гравюра».

БАСИЛОВА: Леня Губанов еще в седьмом классе, в четырнадцать лет, выпустил рукописный сборник «Здравствуйте, мы гении!». У него еще тогда была идея создать общество прогрессивных в поэзии людей. Он искал поэтических соратников. Где-то в 63-м году его ко мне привезли после выступления в ЦДЛ. Я тоже там выступала. Так я с ним впервые познакомилась. Леня горой стоял за «смогизм», утверждал его где мог. Однажды он пошел в Ленинскую библиотеку и развесил там объявления, что все чувствующие себя гениями и желающие вступить в СМОГ могут позвонить по телефону, и оставил мой телефон. Началось какое-то столпотворение. Ко мне приезжали даже из Владивостока. В день было больше ста звонков. Это был 65-й год. Потом стал звонить Париж и поздравлять с рождением СМОГа. А позже позвонил Александр Федорович Керенский — также из Парижа — и поздравил нас.

СЕНКЕВИЧ: Может, это был розыгрыш?

БАСИЛОВА: Нет, нет, что вы! Это был действительно Керенский. Он шамкал по телефону. Вскоре за рубежом стали появляться наши манифесты и стихи. Например, вышел сборник «Потаенная муза». Я до сих пор не знаю, как к ним попадали наши работы. Мои стихи были, например, сильно перевераны, манифест также искажен. Однажды ко мне явился человек и сказал, что он из Швеции. Слава богу, у меня инстинкт самосохранения сработал, и я спросила, почему он себя считает гением и кто он по профессии? Он ответил, что юрист. Тогда я сказала, что гениев-юристов нам не нужно. Этот провокатор потрясал нашими манифестами и кричал, что в Швеции тоже создано общество гениев. За нас взялись основательно после суда над Синявским и Даниэлем, когда часть «смогистов» вышла на демонстрацию в их защиту. После этой демонстрации и начались посадки. Я же всегда считала и до сих пор считаю, что те, кто занимается политикой, написать хороших стихов не смогут. Вот почему я Леню все время спасала от политики, вытаскивала его из самых опасных ситуаций, в которые он попадал. Я вообще не люблю людей, которые кликушествуют в поэзии и политике.

СЕНКЕВИЧ: Но себя-то вы не особенно спасали. Известно, что ваши отношения с журналами осложнились после вашего участия как свидетеля защиты на процессе А. Гинзбурга. Как вы находили своих читателей?

БАСИЛОВА: В 60-е годы я много читала по академическим институтам, в основном у физиков. На одном из таких выступлений в институте Петра Капицы я познакомилась с Александром Павловичем Квятковским, автором известного «Поэтического словаря». Он сказал, что мои стихи написаны редчайшими размерами. Так, он ни у кого перед этим не мог найти пример на шестидольник третий и был вынужден сам его написать. А у меня шестидольника третьего было сколько угодно. Он также утверждал, что в моих стихах нашел даже «тактовик шестиугольный», которым никто не «пользовался».

СЕНКЕВИЧ: Давайте, наконец, выясним, какой смысл мы вкладываем в понятие «истинная поэзия»? У тебя, Юрий, например, в стихах много странного. У тебя, как и у Велимира Хлебникова, каждая строчка «тяжелая». Для раскрытия ее смысла необходим ключ — культурная осведомленность. У тебя вообще стихотворения небольшие, строк десять.

Словно ты щадишь читателя. Ты любишь лапидарность, присущую восточной поэзии, возвел ее в основополагающий принцип. И это не случайно, ты ведь востоковед-китаист, окончил не только, как я, Институт восточных языков при МГУ, но и стажировался в Пекинском университете. Я даже понимаю, почему тебе претила работа в русле общепризнанной концепции советской поэзии. Ее основное свойство — пересказ события или какой-то мысли, поразившей поэта. А поэтологические принципы китайцев совершенно иные. Вот и в твоих стихах также все зыбко, ассоциативно, на первый взгляд — нелогично. Так что же такое истинная поэзия?

СОРОКИН: При всем моем уважении к русской поэзии XX века, которая представлена творчеством Анны Ахматовой, Осипом Мандельштамом, Борисом Пастернаком, я всегда ощущал одно: по сути дела, это была поэзия, развитие которой практически заканчивалось. Эти поэты, а также Мартынов, Глазков и еще немногие другие были ее последним всплеском. В определенном смысле эта поэзия полностью исчерпала и себя, и мир, и человека. Необходимо было искать новые пути. Теперь выясним, что такое истинная поэзия? Как известно, для самого пишущего — это добровольная каторга. Эта поэзия всегда стремится быть гениальным ко-сноязычием. Но и это еще не все. Любая этническая культура живет в специфических формах. Высоцкий, например воссоздал существующую в нашем обществе реальную психологию. Он комбинировал сугубо современные социально-психологические состояния. Арсений Тарковский находился на другом психофизиологическом и интеллектуально-культурном уровне. Он комбинировал существующие и существовавшие культурные ценности, за которыми также стоит определенная психологическая реальность. Арсений Тарковский рассчитывал на читателей, у которых культурная память объемнее, чем у читателей Владимира Высоцкого. Вместе с тем если их произведения переводить на иностранные языки, то их понять будет гораздо легче, чем стихи Феликса Чуева, например, с его узконаправленным, фокусным мировоззрением. Итак, необходимо было искать новые пути. Можно было вернуться к забытой (подчеркиваю — нарочно забытой) традиции Велимира Хлебникова. Либо пойти по боковой тропинке русской поэзии, которая начинается с Батюшкова и кончается Иннокентием Анненским. Возможно было использовать и западные образцы. В частности, в 60-е годы были широко известны американские битники: Аллен Гинсберг, Лоуренс Ферлингетти, Грегори Корсо. Они ведь тоже искали выход из аналогичного поэтического тупика. И вышли на восточную дорогу. А мне, как вы понимаете, шагать по этой восточной дороге было легче. Учась в Пекине, я много переводил. Условия позволяли: сидели, как монахи, в кельях и размышляли. Китайцы научили меня до предела сжать стих, использовать в нем максимум намеков и реминисценций. Восточная поэзия приучила меня к недосказанности, к тому, что за кадром, за текстом остается многое, что должно быть исполнено, открыт сам читающий. Вот чем я интересовался в то время. Сами понимаете, что на этой стезе среди наших тогдашних читателей успеха ждать не приходилось. Особенно в официальных поэтических кругах.

СЕНКЕВИЧ: Юрий, в твоих стихах, я помню, поражал исключительно богатый словарь, состоящий из забытых и полузабытых слов. Словарь чуть ли не средневековой Руси. Это был эпатаж? Или в выборе тобой такого словаря сказалось твое происхождение из семьи староверов?

СОРОКИН: Вряд ли это был эпатаж. Скорее всего повлияла моя семья. Я повседневно слышал вкусную русскую речь, разговоры на староверческие темы. На Востоке поэты понимают, что слово — драгоценность, оно на дороге не валяется, его надо искать. Слово не должно

устаревать, а если это происходит — устаревшее слово необходимо заменять. Все это очень важно для восприятия. Эти исходные требования к поэзии вошли в мою кровь и плоть. Официальная поэзия рассчитана на усредненное слово. Беда нашей поэзии последнего времени, что она пренебрегает словом, отказывается признать за ним самоценность, считает его орудием, предназначенным для выражения не очень-то оригинальных мыслей. В лучшем случае такая поэзия — стихотворческая публицистика, в худшем — риторическая пустота.

СЕНКЕВИЧ: Тем более, что мысли были подчас сомнительные. Что стоит, например, утверждение, что мы самые лучшие в мире люди, а наше учение — единственно верное, а иного быть не может, поскольку мы воплощаем вершину человеческой цивилизации?

СОРОКИН: Помните, каким был человек в общедоступной поэзии! Крастрат в физическом и духовном отношении. Эта поэзия описывала труд неизвестно кого и неизвестно где. Невозможно было этого человека узнать среди других. Быть может, потому, что мы пытались создать подлинную характерологию, наша поэзия отторгалась.

СЕНКЕВИЧ: На то, какой имидж создавали себе сам поэт и критика, на мой взгляд, повлияли рецидивы лагерного мышления. Как правило, в любых «врезах» к стихам существовало указание на то, каким именно тяжелым физическим трудом занимался поэт до того, как он был допущен на печатные страницы...

СОРОКИН: Мне кажется, что такой ход писательской биографии — оборотная сторона того теоретического положения, что писателю нужно отражать жизнь. А на самом деле не отражают жизнь, а просто живут, ощущают полноту бытия и об этом пишут. Вот, например, Леонид Губанов не пошел на разделение поэзии и жизни, хотя эта неуступчивость и стоила ему самой жизни.

СЕНКЕВИЧ: Так чем же является ваша поэзия — авангардом? В своей последней книге «Общество. Культура. Поэзия» я дал метафорическое определение этого литературного явления: «Авангард — это точка взрыва в пространстве литературы». Рвутся привычные связи. Впрочем, под мое определение не попадает Т. С. Элиот. Но авангардист ли он?

СОРОКИН: Трудно называть авангардистом человека, вся деятельность которого как критика «управлялась» одной идеей — сохранить культурную преемственность в рамках христианского гуманизма. В этом смысле он близок к Валентину Распутину и Владимиру Крупину. Иначе говоря, авангардистская поэзия — это такая поэзия, которая перестраивает существующую образную парадигму, выражаясь по-ученому. Эта поэзия перестраивает некоторую устоявшуюся систему связей, делает ее непривычной для читателей. И находит новые ценности в результате такого подхода к словесному материалу. Вот это и есть авангард.

СЕНКЕВИЧ: Не кажется ли вам, что основное преступление Леонида Губанова и его единомышленников перед государством заключалось в том, что они предложили обществу свое понимание личности?

СОРОКИН: Если тебя перефразировать, то можно сказать, что вина этих людей — в их уникальности. Леонид Губанов был, конечно, для нашего времени поразительным явлением. Он был совершенно естествен и в своих поступках, и в своей поэзии. Во времена безгласия его поведение производило прямо-таки ошеломляющее впечатление. Ведь тогда хорошим тоном считалось не касаться «острых» предметов.

БАСИЛОВА: Леня очень переживал за трагические судьбы поэтов. Он свои стихи буквально выл по ночам.

СЕНКЕВИЧ: В нем всегда кипела угроза: «Есть божий суд, наперсники разврата...» Особенно он был неприятен людям, которые боялись за свою карьеру. Тем, кто считал, что возможно соотносить неконформистское творчество с конформистским поведением. Такая двойная бухгалтерия тогда была распространенной. Многие из нас этим отличались. Ведь мы получили с тобой, Юра, определенную шестилетнюю выучку в Институте восточных языков. Были достаточно дрессированными. Хотя были и в нашей биографии отклонения от установленной начальством нормы... В общем, мы осваивали лагерную психологию выживания, когда люди боялись всего неожиданного.

СОРОКИН: Леонид Губанов был нарочито прямолинеен. Мне кажется, это была сознательно им выбранная роль. В последний раз я встретил его в конце 60-х годов в Сухуми. Вместе с ним был Вадим Делоне. Я случайно столкнулся с ними в саду, они ели чебуреки и пили вино. Было видно, как они изголодались. Губанов был совершенно другой, чем в Москве: мягкий, контактный, общительный. До их автобуса в село, в котором они жили, оставалось два часа, и все это время Леня читал свои стихи. Это были великолепные стихи. Я слушал их, и становилось тяжело на душе. Ведь этим стихам до типографии было, как до неба, далеко.

Хотите скажу, что такое авангард? Это не только изощренная, новая техника. Авангард — это всегда образное указание на современное внутреннее ментальное состояние общества, на те естественные, натуральные, внутренне присущие человеку ценности, которыми живет он и общество. В этом смысле Леонид Губанов был авангардистом.

БАСИЛОВА: Были ли мы авангардистами или нет, но после вечера в ЦДЛ накануне нового, 1966 года с нами уже поступали как бог на душу положит. А дело было вот в чем. Как позже я узнала от секретаря Московской организации СП РСФСР по оргработе генерала Ильина, он получил письмо от Семичастного с жалобой на нас. Тогдашний шеф КГБ просил руководство СП СССР разобраться с нами и решить, какое отношение мы имеем к литературному процессу. А если руководители решат, что к литературе мы не причастны, нами будет заниматься его ведомство. Довольно-таки честная по тем временам была постановка вопроса. По крайней мере, жест доброй воли со стороны КГБ. Ильин попросил Нину Белосинскую и Лидию Лебединскую, членов комиссии по работе с молодыми писателями, собрать нас и известных поэтов. Из известных пришли Слуцкий, Самойлов, Кирсанов. Обещался прийти Корней Иванович Чуковский, но не пришел, заболел. Среди молодых были Саша Алшутов и Лев Аннинский. СМОГ был представлен Леной Губановой, мною, Сергеем Морозовым (1946—1985), Мишей Елизаровым, Леной Школьником, Володей Батышевым, Сашей Соколовым, Таней Ребровой, Борей Дудиным. Заседание вел Лев Славин. Народу было очень много. Пришел даже Георгий Марков, который ничего в наших стихах не понял и честно в этом признался. Но крови нашей не жаждал. Буквально в эйфорическом состоянии был Семен Кирсанов, такой восторг его охватил по прослушивании наших стихов. Он уверял собравшихся, что подобного поэтического выступления он не помнит с 20-х годов. Слуцкий обещал издать нас в ближайшее время, предлагал даже издавать журнал СМОГ. И тут появилась из зала ресторана одна известная поэтесса, назовем ее условно М. Когда она услышала, что нам обещают, она ударилась в чудовищную демагогию. Она говорила с необыкновенной злостью в голосе. Она обвинила Слуцкого, что он зря нам сулит золотые горы, когда толком не напечатаны Мандельштам и Цветаева и не издана Горбаневская. Она так страшно кричала на нас, что ни Слуцкий, ни Самойлов ее не смогли остановить. И

тогда Слуцкий развел руками и сказал, что ни одного хорошего дела сделать невозможно. Как часто бывает на подобных собраниях, одно выступление повернуло ход событий. Все благие намерения сошли на нет. Мы опять повисли в воздухе. Что нас ждало завтра — также трудно было представить. Речи в нашу защиту, произнесенные Алштутовым и Аннинским, никто и не слушал. Все как-то сникло, закисло и кончилось. А буквально через два дня начались вызовы в деканат, исключения из институтов, всякие неприятности. Вот как с нами поступила одна известная поэтесса. На ее совести мы — смогисты. Евтушенко в фильме, который снимают сейчас о Лене Губанове, сказал, что они едва протиснулись в закрывающуюся дверь и, оказавшись за этой дверью, слышали наши вопли, но ничем не могли нам помочь. Не знаю, как поступил бы Евтушенко, окажись он в тот день на нашем выступлении в ЦДЛ, вероятно, помог бы, но одна известная поэтесса могла бы протянуть нам руку помощи. И она этого не сделала. Многие пострадали только из-за причастности к «смогизму».

СОРОКИН: Признанные писатели бывают альтруистичны и человеколюбивы только в интервью, публикуемых периодической печатью и в собственных стихах. Впрочем, это не литературный вопрос. Он связан с тем, что в психологии сейчас называют распадом базовых структур личности. И не только личности обычного человека, но и творческого. Вот в чем наша трагедия.

СЕНКЕВИЧ: Вернемся к проблемам собственно поэтическим. Существует точка зрения, что обращение к верлибру как к определенной стиховой форме свидетельствует о разрыве с поэзией в полном смысле этого слова.

СОРОКИН: Кто это доказал? Какие аргументы можно привести в защиту этого утверждения? Традиция верлибра уходит чуть ли не в тредиаковско-кантемировские времена. Кстати, силлабо-тоника в настоящее время в ряде случаев выглядит довольно-таки странно. Она «устала». Юрий Николаевич Тынянов в свое время писал, что система приемов устаревает, уходит на периферию, «отдыхает» и дает возможность «отдохнуть» читателю. И затем на новом этапе культурно-исторического развития, восстановив свою энергию, она возвращается снова. В этом смысл литературного движения.

СЕНКЕВИЧ: Верлибр требует особого разговора. И новых свидетельств. Прежде всего Вячеслава Куприянова, Владимира Бурича, Геннадия Айги. Чтобы понять, что происходило в 60-е годы с верлибром, их показания — наиважнейшие. А вам, Алена и Юрий, я благодарен за правдивую информацию.

АЛЕНА БАСИЛОВА

ОТСТУПЛЕНИЕ К ФАУСТУ

Моя душа растерянно глядит
Туда, в партер,
На ваш поселок ночи...

То был спектакль,
Отпущенный в кредит,
На век вперед.
И все устали очень.

Опять ко мне цепляется лицо,
Опять трагедии, опять кусты сиреневы,
Опять звезда моя в недоумении
Мерцает над оборванным крыльцом...

Гони назад, неверная душа,
Скорей назад, в постель, к больному бреду!
Но только я вослед тебе не еду,
Чтоб страшный грех тебя не искушал...

Я остаюсь. Часы мои стихают.
На полдесятого указывает сердце.
Я снова жду, я снова задыхаюсь,
А там, в партере, ночь молчит и сердится.

Но что это? Ужель явился сам?
Он славный малый, презнакомый профиль...
Бывает же! Но как восторжен Храм,
Когда в преддверьи вырос Мефистофель.
Вам надо душу?
— Душу. И лицо.
— Лицо в долгу, и срок упрямо просит...
— Ну а душа?!
— С тревожным чернецом...
И звуки Вашей лиры не выносит!!!

ЛУКОМОРЬЕ

Где скрипка портится лицом
Где скорбь — смычок и кровь
Где от тщеславных подлецов
Тупая вечность содрогнется
Где руки будут забывать
Рукопожатия глухие
Где будет вешаться стихия
Со страха
(И о том скрывать)
У лукоморья — трын-трава
Там продана природа даже
там царствует ничто — пропажа
Там Пушкина жуют со спаржей
И тут же скармливают крыс...
Там погремушкою все та же
Одна навязчивая мысль
В пустых извилинах рождает
По катакомбам и церквам
Там жизнь гниет и дорожает

Там каждый миг смертельно пьян
Там нету черта нету бога
Одна тоска не сходит с лиц
Там быт стоит четвероногий
Отпугивая певчих птиц
Там мой Сократ уже не злится
Прикрытый рыжим париком
Там мировая скорбь двоится
Там без любви скудеют лица —
Паскудный царствует закон...
Среди раздавленных мотором
Оглохших улиц и больниц
Живет отчаянье в котором
Земля не ведает границ.

Зачем она послушно дышит...
Зачем живет среди кладбища...

* * *

Внезапный гость... Не жди сюжета!
Но лукоморие мое...
Но легкомыслие поэта...

Не дай-то бог поверят в это!
Я волкодавом и атлетом
Загорожу свое жильё...
Я поползу на всех удавах,
Удавах ног, удавах рук,
Собью коктейль одним ударом
Из вязких докторских наук...
Добавлю льда из первых рук
И угощу Вас, милый друг,
Кривясь улыбкою недетской,
Пока Бердслеевский паук
Задумался по-декадентски...
И память — старая карга,
Вдруг встрепенется уличная
И отстучит из Саши Черного
Замысловатые слова...
Вам — суждено качать права,
Нам — на болоте лунном греться...
А рядом рухнет на диван
Оскар Уайльд с разбитым
сердцем!

ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

...Как из облак божество:
Лежа царством управляла,
их жура за шаловство.

Державин

* * *

Мною правит мой недуг
Алчный алчный алчный алчный
Схоронить в одном ряду
Вещий мир с землею брачной.
Над Россией мой кулак
Мрачный мрачный шут колпачный
И прижат законом прах,
И придушен крик барачный.
Мы играем не всерьез
Суд бумажный — шут продажный,
Но игра у нас до слез!
До сердечной боли даже.
Два полка в моей судьбе,
Три струны у балалайки,
Плюс вольтеровские байки
И уверенность в себе.
В просвещении — (Упрек!)
Ходит месяц одноглазый!

Порет ересь, принцип — врет.
И в бинокль гонит разум...
Бог рядит — земля гудит.
Вечность дышит, точно леший
На моей живой груди
Крест, испивший крови грешной!
Господи! Какой неволей
Ты несешь в страну пигалей
Скорбный зов больного звона
Тех, кого не поминали!
Тех, кого НЕ ПО-МИ-НА-ЛИ...

Господи прости помилуй
Осени ковчег не Ноев.—
Только стон стоит над Миром
НЕ-ВИ-НО-ВЕН... НЕ-ВИ-НО-ВЕН...

* * *

Боже, боже, боже, боже!
Я держу себя в руках.
Рожи, рожи, рожи, рожи
На меня нагнали страх.

Громче, громче, громче, громче
Григоворы тут и там,
Гончей, гончей, гончей, гончей
Рыщет злоба по губам...

Возжи, возжи, возжи, возжи
И упряжка из камней!
Вот же, вот же, вот же, вот же
Руки тянутся ко мне...

Брось! Какая я невеста!
Не жена я и не мать.
Там, где я — пустое место.
Что ты хочешь оседлать?

Благодетели! В восторге?
Как убог и нищ их жест.
(Запад давится востоком,
Юга, севера не ест!)

Там любовь трусливо стонет,
Лицемерие в крови,
— Нет, пожалуй, я не стою
Мне подброшенной любви!

По себе меня не мерьте,
Точно гроб, ведь заодно
Вас качнет, подобно смерти,
И потянет лечь на дно!

(Столько раз смертельной раной
Истекала, не дыша...)
Но жила, жила, как в храме,
В шрамах вся моя душа.

Прожит, прожит, прожит, прожит
Ужас! Сзади — два крыла!
Тот же, тот же, тот же, тот же
Путь... Удар из-за угла.

Та же, та же, та же, та же
Боль, придавленная мглой.
Так же, так же, так же, так же
Небо сходится с землей!

ЛЕОНИД ГУБАНОВ

* * *

Бог велел — был Верлен,
Бог болел — был Бодлер,
Бах настал — бух любой!
Я — в кострах, как Рембо!

Я с тобой день и ночь,
Я с тобой ночь и день,
Как синяк, как ретушь, тень —
Прочь! Прочь! Прочь!
Выматывайтесь, да бодрей,
Сперва потресканный Бодлер,
С губной помады, и с колен
Потом напудренный Верлен.
Пошатываясь, как прибой
Обиженно уйдет Рембо...
Все выпил, выпер и орган,
Исчез, как сахар, Иоган...
Его, наверно, мне простят —
Иди по стенке, Себастьян!

Нет Верлена, нет Бодлера —
Вздых!

Нет Рембо и нету даже Баха...
Только есть

Бог! Бог! Бог!
Да моя белая рубаха!

МОЛИТВА

Алене Басиловой

Моя звезда, не тай, не тай.
Моя звезда, мы веселимся!

Моя звезда, не дай, не дай
напиться или застрелиться!
Как хорошо, что мы вдвоем,
как хорошо, что мы горбаты
пред Богом, а перед царем,
как хорошо, что мы крылаты!
Нас скосят, но не за царя,
за чьи-то старые молебны,
когда, ресницы опая,
за пазуху летят кометы!
Моя звезда, не тай, не тай!
не будь кометой той задета,
лишь потому что сотни тайн
хранят закаты и рассветы!
Мы под одну кофтой ждем
нерукотворного причастья
и задыхаемся вдвоем,
когда дожди идут не часто...
Моя звезда — моя глава,
любовница, когда на плахе...
Я знаю белые рубахи,
закрученные рукава.
И все равно, и все равно,
Ад пережив тупыми нервами,
да здравствует твое вино,
что льется в половине первого!
Да здравствуют твои глаза,
твои цветы полупечальные,
да здравствует слепой азарт
смеяться счастьем за плечами!
Моя звезда, не тай, не тай,
мы шумели, как гостиница,
и если не напишем Рай,
нам это Богом не простится!

1965

* * *

А если вам последней проповедью
уоставший галстук Мандельштама?

А если вам сапог над прорубью,
где Гришкина судьба дышала?

А если вам последней исповедью
картавая печаль пророка...

То, значит, жизнь ушла

за выстрелом.

И тишина в кармане бога.

А я за медные копейки
морозным утром буду петь,
чтоб в голубом шарфе Коперника
на черной славе околеть.

И мне не нужно инквизиции,
когда, идя на Страшный суд,
стихи с растерзанными лицами
предсмертный крик мой отнесут!

Октябрь 1964

* * *

Все будет у меня — и хлеб, и дом,
и дождик, что стучит уже

отчаянно,
как будто некрещеных миллион
к крещеным возвращается

печально.

Заплаканных не будет глаз твоих,
проклятья миру этому не будет.
Благословляю вечный мой родник
и голову свою на черном блюде...
И плащ, познавший ангела крыло,
и смерть, что в нищете со мною

мается,
простое и железное перо,
которое над всеми улыбается.
А славе, беззащитной, как свеча,

ГЛЕБ АРСЕНЬЕВ

* * *

Живи как дафния
живи закрыв глаза

зажженной на границе тьмы

и тленья,

оставлю, умирая, невзначай,
безумные свои стихотворенья...
Все будет у меня — и хлеб, и дом,
и божий страх, и ангельские числа,
но только умоляю — будь потом,
душа, отцеловавшая Отчизну!!!

* * *

Я — та окраина, где вы
седые головы снимали.
И ничего не понимали...
Я — та окраина, где вы
снег, и крестьянка головы
не поднимала к векам Сталина.
Я — та окраина, где вы
не усмехались, фарисеи,
где слава божия, увы,
покачивалась, как Есенин,
где подходила туча дел,
где нам кадила проститутка,
где я на ржавый нож глядел.
Я — та окраина, где жутко!..

1965

* * *

На четвертом этаже у молвы
две гвоздики, словно алые
девочки...

А в бинокль все глядят топоры
и идут мои стихи по стеночке!

На четвертом этаже спит жена,
сны танцуют по лицу ее белому.
На том свете тишина, тишина,
лишь покачивает шхуну у берега!..

а совесть
сука драная
говорит
нельзя.

* * *

Над нами светятся медузы
водоросли космоса
земляне
грузное безумие
искромсаны
на лезвиях загадок
ужели сладок
пот земной
ужель космическое древо
в угаре яблочном истлело древле
ужель спасти садовника не мог
и наш привитый черенок.

* * *

Сладкая музыка
липы цветут
зеленая ладонь
узка
проточна на ветру
в распластанной Москве
душно навсегда
асфальтовое нет
да как лебеда
смотрим наугад
расплывчато живем
душа как зоосад
под проливным дождем.

* * *

Они
кому имя легион
говорят и спорят о поэзии
а по моему
под высокой и густой сосной
всегда стоит душистая прохлада
вот и все.

РОССИЙСКАЯ ИНКРУСТАЦИЯ

На серой бумаге лица
птичьи когти морщин
дождь моросил
на лодку Садового кольца
наше ненастное да
лакомо древнее
лаковым деревом
чернеет вода.

* * *

Снега нет
лишь грязь и копать
снег согрет
он кроткий
хруст галет
в зубах мороза
слышен реже
тлеет
разгораясь нежно
синий валежник.

* * *

Не будет третьего Рима
город себя потерял
перегорело имя
вольфрамовый коралл
спекся
невоскрешаем
будем лучину жечь
сквозь желчь в слюдяных стеклах
просвечивать прошлую речь.

* * *

Старинно резва
из вишневой косточки резьба
глазу нежен
снежный снегирь морозов
чудеса в решетке
розовы.

* * *

Ряской зеленеют
наши дни
повиликой мольбы
льнут церкви
душа не находит места
когда молчаливо скулят
глаза приبلудной собаки
выломаны фаланги яблонь
и голуби расклеивают
мякиш милосердия
в ливень
до конца света.

СТАТЬИ

ТАТЬЯНА КОЖЕВНИКОВА

ТВОРЧЕСТВО А. БЛОКА В ИТАЛИИ

Западные литературоведы особый интерес проявляют к русской литературе конца XIX — начала XX века, периода, который, по их мнению, является одним из творчески плодотворных и в то же время мало изученных в истории русской художественной жизни и русской литературы.

Автору настоящей статьи довелось познакомиться с переводами и исследованиями Блока в Италии. Некоторые наблюдения и предлагаются читателям.

Впервые Блок в переводе на итальянский язык появился в 1920 году. Это была поэма «Двенадцать», вышедшая в Милане под названием «Песни большевиков». Автора перевода до сих пор не удалось установить. Второй перевод (это были поэмы «Двенадцать» и «Скифы») был осуществлен Г. Бромштейном и Т. Интерланди и издан в Пистое. И миланское, и пистойское издания, к сожалению, не отличались высоким мастерством перевода и художественной ценности не представляли. Однако не отметить эту первую встречу итальянцев с поэзией русского поэта нельзя. Она возбудила интерес к Блоку и со стороны переводчиков, и исследователей.

В 1921 году поэма «Двенадцать» выходит уже в переводе «отца итальянской русистики» Э. Ло Гатто. И хотя перевод был сделан не полностью, он произвел огромное впечатление на итальянскую публику.

Вскоре появился и полный перевод поэмы. Его автором был Куинтьери.

А через некоторое время выходят переводы Р. Поджиоли и Б. Карневали, которые и по сей день остаются лучшими. Версия перевода Р. Поджиоли, неоднократно переизданная, признана самой совершенной, близкой по духу поэме Блока. Пока это, по мнению итальянских критиков, единственная удачная попытка воссоздать сложный ритмический рисунок и другие особенности блоковской поэмы. Перевод Б. Карневали явно упрощал оригинал. Как отмечала критика, художественные промахи даже у этих переводчиков обуславливались сложностью сохранения ритма и рифмы, которые естественны были для русской поэзии и не вписывались в итальянский поэтический язык. И сохранение их приводило порой к искажению поэтических образов.

В 1925 году А. Нальди опубликовала «Розу и Крест». Это был высоко поэтический перевод, в котором отразилось точно прочувствованное восприятие переводчицей блоковской поэзии.

Значительным событием в литературной жизни Италии явилось издание в 1942 году «Антологии русской поэзии», которая в 1954 году была переиздана. Составитель и переводчик антологии Р. Поджиоли на этот раз представил Блока циклом стихотворений.

В 1954 году уже другой видный исследователь русской литературы, А. Рипеллино в Парме, издает новую антологию «Русская поэзия XX века», которая затем также переиздавалась несколько раз. И в этой антологии Блок был представлен несколькими стихотворениями.

Как и в поэме «Двенадцать», в стихах Блока, переведенных Р. Под-

жиоли, чувствуется тонкое понимание переводчиком блоковской поэтики, чуткое восприятие ее мелодии. Особенно удачно переведена «Ночная фиалка», почти не потерявшая в переводе своего хрупкого рисунка. Вкус и фантазия переводчика позволили ему находить образы, существующие в одном регистре с блоковскими. И хотя для русского читателя в ряде случаев интерпретация Р. Поджиоли блоковских образов показалась бы далекой от оригинала, итальянский читатель «слышит» Блока именно через эти близкие ему традиционные для итальянской поэзии образы, найденные Поджиоли. «Вокальные мысли», например, переведены им в свободной манере, что, однако, не исказило тональности блоковской строфы. А, возвращаясь к поэме «Двенадцать», надо сказать еще и о том, что Р. Поджиоли сумел при ее переводе великолепно передать частушенный колорит и нюансы просторечия, рифмой мог передать ломаный ритм поэмы. Можно сказать, что Поджиоли-переводчик руководствуется словами Поджиоли-исследователя, сказанными им в предисловии к книге «Александр Блок. Поэмы и стихотворения»: «Творчество переводчика — это акт интерпретации, выполненной с любовью...»

В настоящее время самым крупным исследователем творчества А. Блока в Италии является профессор Миланского университета Э. Баццарелли. В 1968 году вышла его большая увлекательно написанная работа «Александр Блок. Гармония и хаос в его поэтическом мире» (Милан, Мурсия). Не все идеи, изложенные в ней, бесспорны с точки зрения советского блоковедения. Например, Баццарелли пытается доказать, «что до конца своих дней Блок в глубине души оставался верен тому образцу поэзии и красоты, тому идеалу гармонии, который послужил источником вдохновения для его первых стихов и который является отражением его символистского мироощущения... В сущности он всегда был верен и как поэт, и как мечтатель, и как человек мифу о Прекрасной Даме». Э. Баццарелли считает, что Блок так и не сумел сделать выбора между поэзией как мифом и действительностью. И здесь он спорит с советским исследователем творчества Блока Д. Максимовым, утверждающим в своей книге «Поэзия и проза Ал. Блока», что «постепенное отмежевание Блока от стихийного декадентского индивидуализма и декадентской этической аморфности и есть один из результатов ВЫБОРА, непрерывно совершающегося в его (Блока) сознании», что «переход к этической и гражданской теме в 1907—1908 гг.», от «мистики ранней поэзии» к «заявлениям о долге и ответственности», то есть к признанию значимости нормативных начал «является неоспоримым фактом» (64—72-я с.) В противоположность Д. Максиму Э. Баццарелли не считает вечное стремление Блока преодолеть «стихийность» «неоспоримым фактом» (230-я с.) Не менее интересна, хотя и в духе концепций прежних исследований, недавно вышедшая книга Э. Баццарелли «Приглашение к чтению Блока» (Милан, 1986).

Книга начинается подробным очерком жизни поэта. Далее дается общая характеристика его лирики. Крупным планом рассматриваются вторая и третья книги стихов. Осмысляя поэтические циклы Блока, Э. Баццарелли широко привлекает исторические и историко-литературные материалы. Менее подробно останавливается ученый на драматургии в прозе Блока. Особый интерес представляет четвертая глава книги, в которой Э. Баццарелли рассматривает «аспекты поэтики Блока». В связи с этим надо упомянуть и более раннюю книгу Э. Баццарелли «Блок и метафора» (Милан, 1972), посвященную системе тропов метафорического типа в поэзии Блока. Анализируя результаты современных исследований поэтики Блока, автор осмысливает критерии в классификации бло-

ковских метафор, выделяет составляющие их элементы. Ученого интересуют отношения между образом и метафорой. Особое внимание он уделяет метафорическим синтагмам, которые составляют литературно-поэтический контекст. Любопытна работа и другого профессора Миланского университета Э. Клайн «Свет и тень в поэзии Блока» — о сочетаемости и повторяемости слов в лирике Блока.

Представляет интерес исследование Ч. Де Микелиса поэмы «Возмездие». В своей книге, так и названной «Возмездие» (Турин, Эинауди, 1980), Ч. Де Микелис рассматривает поэму как высшую точку творческого развития Блока, «почти дерзкое предсказание будущего» и в то же время как произведение, в котором с наибольшей силой выразились трагические противоречия мировоззрения поэта, что сказалось и в особенностях структуры и поэтики произведения.

Ряд исследований, начиная с «Антологии русской поэзии» Р. Поджиоли, посвящен проблеме отношений Блока и его спутников по символистскому движению. Новое направление в русской литературе и, в частности, в поэзии началось, считает Р. Поджиоли, с пересмотра традиционных ценностей: «Аполлонову искусству Пушкина было возвращено принадлежащее ему по праву место в Пантеоне русской классики; до высот национального пения была вознесена и героическая фигура дионисийского Достоевского» (25-я с.) «Новое течение», считает Р. Поджиоли, вернуло в русскую поэзию «смысл ремесла, который, казалось, навсегда был утерян после величайшего Пушкина». Поэты «нового течения», продолжает Р. Поджиоли, относились к миссии поэта с той серьезностью и энтузиазмом, которыми до них обладали лишь Лермонтов, Тютчев и Фет. Наконец, Бальмонт привнес в лирику самый высокий дар — «очарование пения и гений музыки». Русские декаденты, говорит исследователь, «победоносно восприняли традиции Некрасова и вернули лирику из состояния прозы в состояние поэзии» (31-я с.)

Любопытно высказывание Р. Поджиоли о том, что «декаденты и символисты отличались отсутствием чувства юмора». И хотя «среди французских символистов можно было встретить и острую издевку, и замесловатые проказы фарсового плана... русские символисты в силу иступленно страстного характера их вдохновения не были склонны к издевке и фарсу. Их хандра и горечь находили выход скорее в богохульстве и кощунстве» (150-я с.).

Анализируя место Блока в символизме, Р. Поджиоли возводит истоки эстетики нового течения к мистико-религиозной концепции искусства Д. Мережковского. Одновременно он говорит о влиянии Шопенгауэра, Ибсена, Вагнера на старших символистов, а через них в известной мере и на Блока. Пытается Поджиоли установить связи Блока с Брюсовым, Бальмонтом, Гиппиус, Сологубом, которого, кстати, считает «самым одаренным из всех деятелей нового движения» (28-я с.).

Наиболее родственным русскому декадентству литературным движением, считает критик, был литературный процесс, известный в Испании и Латинской Америке под названием «модернизма» (31-я с.).

Более развернуто тему «Блок и русский символизм», точнее «Блок в русском символизме», решает А. Рипеллино в книге «Русская поэзия XX века» (Милан, 1979). Он пишет, что хотя русские символисты и опирались на складывающуюся традицию западной символистской поэзии, но именно русская действительность определила существующие мотивы их поэзии («пессимизма, усталости, тоски и ту атмосферу пассивности и инертности, которыми окрашены все их стихотворные строки» (8-я с.)

Анализируя творческие искания старших (Брюсов, Бальмонт, Гип-

пиус, Гофман, Сологуб), на которых мог опереться Блок, А. Рипеллино выделяет, впрочем, как и Р. Поджиоли, творчество Бальмонта и Брюсова.

Давая общую характеристику творчества Брюсова, исследователь опирается прежде всего (и только) на творчество Брюсова 900-х, когда «Брюсов впитает пристрастие к великолепию и величественным примерам, выстраивает в своих книгах, как в собрании разных камней, профили героев мифологии и классического мира на фоне шелка, пурпура, драгоценных камней и прочих безделушек. По роскошной декоративности, по торжественности персонажей и высокопарности стиля, с каким он переносит читателя через эпохи в давно ушедшие от нас миры, творчество Брюсова становится в наших глазах чем-то вроде Кабирии русского символизма... Его постоянной заботой стали возвышенность стиля и героичность жанра. Для этой цели он пользуется языком церемоний, декорированными абстрактными эпитетами, неповоротливыми архаизмами, иноязычными словами» (10-я с.).

Однако, как отмечает А. Рипеллино, у Блока не было того, что отличает Брюсова, который «обуздывает свои порывы и придает им скульптурную холодность, внушающую уважение и вселяющую робость, но не затрагивающую душу» (10-я с.).

Из младшего поколения символистов А. Рипеллино рассматривает творчество Волошина, Гофмана, Балтрушайтиса. Волошина он считает лишь художником-символистом, видя в его стихах «влияние Анри де Ренье, Барбе д'Оревиля, Малларме... и пристальный интерес к индийской мудрости, средневековым мистикам и оккультистам» (16-я с.). Стихи Виктора Гофмана дают повод критику говорить о связи символизма с творчеством Фета. Влияние Тютчева на символизм он прослеживает через философскую поэзию Юргиса Балтрушайтиса, чьи «поэтические образы, спроецированные в пространство Вселенной, напоминают таинственные космические построения на полотнах другого литовца, художника Чюрлёниса» (17-я с.).

Особое внимание в книге А. Рипеллино уделено связям Блока и Белого, который, пишет А. Рипеллино, как и Вл. Соловьев, «в своем творчестве не раз менял собственное обличье, выступал то в роли мистика, то арлекина, певца России, антропософа, скифского пророка, испуганного танцора». Он всегда, отмечает Рипеллино, был чуждым жреческой торжественности остальных символистов. В его творчестве проявилась наиболее любопытная смесь мистицизма и арлекинады. «Он преодолел,— замечает критик,— тот же духовный путь, что и А. Блок, пройдя от веры в Вечную Женственность до глубокого разочарования. А так как все в нем разрасталось до гипертрофических пропорций, то и разочарование переросло в капризный гротеск, граничащий с безумием» (17-я с.).

Любопытно замечание А. Рипеллино о том, что русские исследователи, отдавая предпочтение Блоку, часто не обращают должного внимания на Андрея Белого, как бы игнорируя, что в сознании современников имена этих двух поэтов существовали рядом, как один сдвоенный образ. Тем не менее это замечание не помешало А. Рипеллино вывести Блока вообще из программы младосимволистов.

А. Рипеллино в отличие от большинства итальянских критиков более тонко связывает развитие творчества Блока, его понимание мира и, в конце концов, поэтики с развитием русской общественной истории. В указанной работе он четко отмечает влияние на творческое развитие поэта революции 1905 года. «Пробуждение Блока,— пишет он,— совпадает с поражением революции 1905 года. Страстно стремясь преодолеть

абстрактный лиризм, Блок ищет выхода в земных страстях. Всей душой презирая буржуазное общество и его литературные кружки, печальный и разочарованный, он жаждет облегчения и забвения, сжигая себя в мимолетных любовных встречах и в пьянстве, позволяющем ему отмежеваться от тусклого существования. Его лирика переносится теперь в кабаки и рестораны Петербурга, смутного и обманчивого, как у Гоголя и Достоевского, города, кишачего призраками и наполненного колдовством. Туда, где раньше взор различал голубой взгляд и неясное движение в тумане, врываются теперь вихри бури, проносятся снежные маски, символизируя хаос и грехопаденье. Вылетая из темноты снежной ночи, космическая тоска охватывает поэзию Блока» (26-я с.).

И далее: «Строки Блока (особенно в третьем томе) в усталой мелодии равнодушно отмечают мрачные видения «страшного мира», несчастного цыганками, призраками и демоническими и иррациональными тенями. Из глубины мрака возникают наводящие ужас образы, достойные волшебного фонаря Робертсона. И петербургская ночь, с ее ресторанами и холодными улицами, едва освещенная газовыми фонарями, кажется, исчезает в необъятности Вселенной» (25-я с.).

Однако, как уже говорилось, для большинства итальянских критиков смысл развития миропонимания и образной ситемы Блока заключался часто в превращениях образа Вечной Женственности. Эта идея наиболее отчетливо проходила в книге Поджиоли «Антология русской поэзии» (1949 г.), в которой он писал, что Блоку все время «чудится женский лик Духа, даже сквозь снежную пургу, но обман рассеивается, и из того, что существует, ему остается только холод и ужас крови, а в ушах свист ветра» (58-я с.).

Из новейших итальянских работ, посвященных проблеме отношений Блока и символизма, а также творческого развития поэта, можно назвать введение Россаны Платоне к блоковской «Переписке» (Рим, 1982 г.) и статью Кристины Манфреди «Блок и русские религиозные секты» (Рим, 1987 г.). Р. Платоне справедливо указывает, что в истории русского символизма большое значение для ее понимания имеет переписка Блока и Белого (ее статья представляет собой введение к публикации переписки поэтов). Однако мировоззрение Блока она замыкает в категориях, свойственных Вяч. Иванову, для которого «тезис символизма», согласно которому мир магичен, человек свободен, а поэт обладает тайным познанием, противопоставляется как «антитеза» исторической реальности, трагедии 1905 года. И подобный солнцу свободный человек оказывается червяком, раздавленным конкретностью хаоса.

Вряд ли следует комментировать поверхностность и упрощенность этого тезиса. Для Блока, конечно, смысл искусства никогда не сводился к религиозной проблематике. На это справедливо указывает и К. Манфреди: «Несмотря на причастность к символизму и мистичность поэзии, особенно юношеского периода, довольно трудно найти у Блока примеры постоянного интереса к религиозным вопросам, не получившим в его творчестве самостоятельного развития». К. Манфреди отмечает, что именно на почве отношения к религиозной проблематике и, шире говоря, к проблеме религии, возникли несогласия Блока с Мережковским и Гиппиус, хотя, как считает автор, Мережковский «всегда оставался для Блока учителем и великим писателем», трилогии которого поэт придавал огромное значение.

К. Манфреди напоминает, как на почве отношения к религии и сектанству возникает целая полемика Блока с Розановым, когда, несмотря на положительный отклик Блока на книгу Розанова «Опавшие листья»,

последовало охлаждение отношений и их разрыв. К. Манфреди выражает свое согласие с советским исследователем Василием Базановым, которого она цитирует, считавшим Блока далеким от любой метафизики. В доказательство своего тезиса она привлекает и воспоминания Е. Книпович. В то же время К. Манфреди отмечает интерес Блока к русскому сектантству, объясняя это тем, что «секты сами по себе представляли дух оппозиции императорской церкви и восстания против гнета государства» (56-я с.).

В той же работе К. Манфреди в доказательство своего тезиса указывает, что не случайно в 1907 году Блок ввел в драму «Роза и Крест» мотив восстания альбигойцев. Анализируя эту проблему и в связи с поэмой «Двенадцать», исследователь замечает, что Христос из поэмы «Двенадцать» «напоминает апокрифического Христа сектантов». Однако, завершая этим свои размышления о религии, сектантстве в творчестве поэта, исследователь вдруг приходит к неожиданному выводу о «религиозном ключе», в котором «сопротивляющийся» поэт закончил свою поэму, то есть из этого хода рассуждений проступает известная уже по старой эмигрантской критике, идея о «сопротивлении» Блока новой революционной русской действительности. Именно для утверждения этого тезиса, таким образом, и привлекаются «социально-политические аспекты сектантства».

В 1981 году в Милане состоялся Международный конгресс, посвященный 100-летию со дня рождения русского поэта. Инициатором и организатором этого конгресса был Э. Баццарелли. Автору настоящей статьи показались интересными доклады Ф. Малковати «Театр в записных книжках Блока» и М. Мартинелли «Сценичность драм Блока». Мартинелли пыталась выяснить специфику русской символистской драматургии, ее структуры в сравнении с западным символистским театром. В блоковских драмах и вообще в русской символистской драматургии, считает Мартинелли, исключена драматургическая конфликтность, они замкнуты в лирическом авторском субъективизме. Это она видит и в построении драм, диалоги и монологи которых являют собой лишь выражение субъективной ситуации.

Однако Блок, по мысли М. Мартинелли, так или иначе пытался разорвать эти рамки русской символистской драматургии. Именно поэтому он пытался установить творческие связи с театром Станиславского. Исследователь приводит мысль Блока о том, что «каждый читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от литературы жизненного пути» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4. М.—Л., 1960—1963, с. 433). Опираясь и на другие суждения Блока, Мартинелли делает вывод, что Блок считал функцию театра функцией социальной. На конгрессе выступили с серьезными докладами свыше пятидесяти ученых не только из Италии, но также из Советского Союза, Америки, Болгарии, Румынии, Югославии, Чехословакии. В 1984 году акты этого конгресса были изданы отдельным томом, насчитывающим 726 страниц. В него вошло пятьдесят три доклада, в том числе впервые тогда увидевшие свет доклад видного советского блоковеда Д. Максимова «О мифопоэтическом начале в лирике Блока» и доклад известного нашего критика и литературоведа И. Золотусского «Блок и Гоголь».

Ф. Малковати построил свой доклад на записных книжках Блока, исследуя блоковские драматургические замыслы, отраженные в них, и пытаясь на этом материале охарактеризовать блоковскую драматургическую и театральную эстетику. В блоковских записных книжках нашли отражение замыслы четырех блоковских пьес, из которых три относятся

к 1906—1908 годам, четвертый — к 1916 году. Ф. Малковати рассматривает замыслы пьес «Дионис Гиперборейский», «Умиравший театр», «Ночной кошмар», видя в них «несомненную нетерпимость, неверие и антипатию Блока к современному ему театру, особенно к таким новаторам, как Мейерхольд, против которого,— как замечает Ф. Малковати,— он неоднократно выступал в своих записных книжках».

Замысел «Ночного кошмара», подчеркивает исследователь, глубоко автобиографичен. В нем отразились перипетии личной жизни Блока того времени.

Рассматривая эти драматургические замыслы поэта, Ф. Малковати выводит из них заключение об отношении Блока к театру вообще и современному театру. Исследователь прежде всего отмечает антипатию Блока к режиссуре Мейерхольда, которая все более и более растет после мейерхольдовской трактовки «Балаганчика».

Однако исследователь считает, что в тяготениях к театральным принципам Станиславского Блок проявил-де «невероятную слепоту в отношении собственного театрального стиля». И далее, что Блок не мог внутренне осмыслить, будто реализм Станиславского был явным антиподом собственного блоковского творчества. В записях Блока от 21 февраля 1914 года Ф. Малковати видит лишь «необусловленное восхищение» Станиславским и не улавливает истинности тяготения Блока в то время к реализму не только на театре, но и в искусстве в целом.

При всей оригинальности и тонкости суждений о творчестве Блока выводы Ф. Малковати о специфике театрального стиля поэта идут, на наш взгляд, в общем русле распространенной в итальянской критике концепции творчества Блока: художника-модерниста от начала и до конца его творческого пути.

Развернутый анализ отношений Блока к Италии и итальянской культуре содержало выступление на конгрессе П. Каццолы.

На творчество поэта, считает П. Каццола, наложило отпечаток уже то, что в семье и в кругу друзей С. Соловьева Блок приобрел к творчеству прерафаэлитов. Поэтому-то, соприкасаясь с «итальянским миром», он, как ему казалось, вновь обретет атмосферу Дольче Стиль Нуово и тосканских примитивистов, которая в нем преломлялась в образе русской Беатриче, Прекрасной Дамы, деградирующем потом в «растительный фетиш» в «Ночной Фиалке» и таинственную проститутку — посетительницу петербургских ресторанов в «Незнакомке». Блок путешествовал по Италии как бы в союзе с величайшими поэтами итальянского Возрождения, и в его сознании воплощалась жажда по Высшему Добру.

Анализируя первое стихотворение, посвященное Флоренции, П. Каццола пишет, что поэт видит Беато Анжелико и великого Леонардо рядом с Савонаролой в городе, который после первой же встречи проклинает. Леонардо предстает здесь ученым мужем, ищущим во мраке. Анжелико мы видим созерцающим свой небесный сон, а «святой монах» храбро идет на костер. Может быть, именно площадь и монастырь Святого Марка, спрашивал П. Каццола, навяли поэту этот образ города — купеческого, вульгарного, шумного, пыльного.

Хрипят твои автомобили, (...)

Звенят в пыли велосипеды...

...В всеевропейской желтой пыли

Ты предала себя сама!

В Сиене Блок восхищался изумительной работой мозаистов, которые на полу собора воскрешали в памяти «жизненный путь человека» и «девать сивилл», предрекающих воскрешение Христа. В Перудже поэт восторгался фреской Благовещения Джанниколы Манни, вышедшего из школы Перуджино. И П. Каццола размышляет в связи с этими впечатлениями Блока и поэтическими воплощениями их: «...в «Благовещении» мистическая тема, изображенная Манни в Перудже, кажется поэту обычной земной любовной интригой на фоне ясной Умбрии, где в садах распускаются розы, а взгляды девушек дерзки в ожидании возжеленной любви. Евангелистская возвышенная любовь представляется поэтому Блоку почти что сценой соблазна (по своей двусмысленности это напоминает Гаврииладу Пушкина, разве что без вольтеровской иронии, которой она проникнута у Пушкина), которую в финале перечеркивает резкий мазок: гриф, символ Перуджи, вонзающий когти в теленка; так вся любовная нежность растворяется в символе политической власти, не щадящей влюбленных, даже если на словах она призывает к благоговению и состраданию». В стихах, датированных 17 марта 1914 года, утверждает П. Каццола, чувствуется нота отрешения поэта от радостного гуманистического мира Возрождения в преддверии того «фатального» конфликта, который изменит судьбы мира и России.

Соглашаясь с Баццарели в мысли о том, что «трудно установить, до какой степени Блок остается верным своему старому поклонению «сервус регинае» при воспевании итальянских мадонн», Каццола пытается выявить двойственный смысл некоторых образов в итальянских стихах поэта: «Можно предположить, что ненависть Блока к Флоренции объясняется чувством разочарования: надеясь найти в Италии следы античной гармонии, он находит только «гниль и пыль». Блок выступает против Флоренции-Иуды, «растоптавшей его лилии», которые он искал долго и безнадежно и которые будет помнить как «свою первую молодость»...

...А в это же время по площади Синьории, над которой доминирует Палаццо Веккьо, освещенный прожектором, проходит бледная улыбающаяся незнакомка, которой поэт шлет свою маленькую серенаду, сочиненную на ходу и навеянную одной модной песенкой:

«Что мне спеть в этот вечер, синьора?»...

...И незнакомка, символ «вечной женственности», который даже в Италии сопровождает поэта, утешает его в одиночестве и его экзистенциальной страсти».

В лирике, посвященной Венеции, считает Каццола, темы искусства и истории переплетаются с символическими мотивами. Так, фасад Базилики Святого Марка (Восточный символ Венецианской республики) предстает в виде орнаментального иконостаса («стена образов»), и в то же время Базилика кажется поэту стоящей вне истории, тонущей в лунной лагуне. Другие же стихи венецианского цикла написаны в ином ключе, они близки по темам простым народным песенкам: «С ней уходил я в море».

Таким образом, заключает П. Каццола, от пребывания на Адриатическом побережье (о чем напрасно мечтал Пушкин) Блоку остается (он об этом писал родным) чувство непрерывных лирических переживаний, которое чередуется с каждодневными впечатлениями.

В тонкой трактовке блоковского восприятия Италии у Каццола явно проступают характерные для итальянской критики импрессионистические мотивы. Интересно сопоставить ее с трактовкой советского исследователя М. Файнберга в статье «К творческой истории стихотворения «Голубоватым дымом...». Он прямо пишет, что блоковское восприятие Италии было глубоко связано с противоречиями и проблемами совре-

менности. Особенно он это видит в стихах о Флоренции, которая была первым большим современным городом, увиденным Блоком в Италии. Флоренция предстала перед Блоком во всех ее противоречиях. На ее улицах Блоку слышался «подземный шорох истории», тем уродливее и гротесковее виделись черты современной цивилизации, «бездуховной», «безмузыкальной». В самом переплетении разных бытийных пластов, времен и судеб, неоднозначном, сложном, но неразлучном с ощущением утраты, угадывается драматизм» (149-я с., кн.: Александр Блок. Исследования и материалы.— Л.—1987).

В то же время Файнберг, как и итальянские критики, отмечает отличительную черту итальянского цикла стихов — их колористическую яркость, щедрость цвета, интенсивность тонов. В стихах явно видится отблеск живописи старых итальянских мастеров. И. М. Файнберг пишет: «Картина мира, возникающая в этих стихах и потенциально существующая в наброске, сближена с более поздним, интимно-личным и глобально значимым представлением Блока: «Я стою среди пожарниц, Обожженный языками Преисподнего огня», — прямо навеянным, по справедливому замечанию Р. Хлодовского, образами» «Inferno» (157—158-я с.).

В заключение хотелось бы назвать работу Д. Рицци «К столетию ;Александра Блока», опубликованную в 1981 году в сборнике Венецианского университета. Несмотря на то, что эта статья носит поверхностный характер, она интересна тем, что как бы подводит итог размышлениям итальянских критиков о проблемах блоковского творчества и их методологическим решениям в литературоведении Советского Союза и Италии. Не могут не представлять интереса замечания Д. Рицци относительно советских исследователей и советского блоковедения.

Д. Рицци считает, что советской критике еще не удалось «вернуть Блока самому себе», ибо «окончательное восхождение Блока на Олимп советской литературы обеднило его поэтическое завещание, лишило своего подлинного содержания». По мнению Д. Рицци, советская литературная критика еще не провела глобального исследования русского символизма, что отражается в недостаточном внимании к творчеству Вяч. Иванова, А. Белого. Связь Блока с символизмом нередко сводится к чистой полемике, говорится не столько о влиянии декадентства, сколько о преодолении его Блоком, что «в значительной степени обедняет анализ блоковской поэтики, становления и развития ее художественных форм».

Д. Рицци выделяет два направления в советском литературоведении в изучении творчества Блока. Одно продолжает рассматривать Блока как художника-символиста, все творческие успехи которого были связаны с его устремлением «выйти из программных рамок символизма», «преодолеть символизм». В этом смысле советское литературоведение еще недооценивает того художественного воздействия, которое оказал на творчество Блока именно символизм как явление мировоззренческое и эстетическое. Другое направление Д. Рицци связывает с работами ученых Тартуской школы, внимание которых обращено прежде всего к стилистическому и формальному анализу поэзии Блока.

Можно соглашаться и не соглашаться с отдельными положениями, утверждениями наших итальянских коллег. Но нельзя не отдать должное их заинтересованному глубокому вниманию к творчеству одного из интереснейших поэтов России. А что касается различий в методологии исследований, то здесь все же видится больше положительного, того, что побуждает к новым прочтениям, к новым открытиям, интересным как узкому кругу блоковедов, так и широкому, во всяком случае, у нас в стране, читателей поэзии Блока.

МАСТЕРСКАЯ



РОМАШКА НАДЕЖДЫ

Ромашки растут повсюду, и везде они прекрасны. Но в горной Тушетии — в этом необычайном уголке Грузии — их очень много, и они водопадами нависают с суровых башен, светлые и радостные, как надежда.

Вероятно, это и определило название первого сборника стихотворений Этер Татараидзе: «Ромашка надежды».

Но это было позднее... А началось так: 14 апреля 1979 года. Первый вечер современной грузинской народной поэзии. Большой зал Грузинской филармонии не может вместить всех желающих попасть на это всенародное необычное действо. Считанные минуты до начала. За кулисами толпятся странные люди... Загорелые лица... Морщинистые и мозолистые руки, не находящие себе места... Старики и старушки, молодые парни и девушки... Общее волнение и суета...

И вдруг, буквально перед самым началом выступлений, одна из участниц подводит к нам, устроителям этого вечера, свою младшую сестру и просит послушать ее стихи. Времени в обрез, участников и так много, и мы почти в панике, так как не представляем, что из всего этого получится... Но девочка так кротко ждет... Ясно, ей отказать нельзя. И она начинает говорить. Но что это такое?! Какая это мелодия?! Но она ведь не поет, а читает стихи. И мы догадываемся, ошеломленные неожиданностью, что это не только необычайно музыкальные стихотворения, не похожие ни на что нам знакомое, но позабытый и уже неведомый нам мир, вдруг явленный как чудо.

И спустя несколько минут весь зал, сразу почуяв что-то настоящее, с восторгом аплодировал ей, растерянной и покрасневшей девушке из крохотной деревушки с таким же коротеньким именем — Данó.

Народ никогда не ошибается в восприятии истинного. Ошибаться могут лишь отдельные литературные критики. Естественно, и такие нашлись. Им и по сей день непонятно, как могут создаваться стихи не на литературном языке. Вряд ли стоит им напоминать такие имена, как Роберт Бернс и Важа Пшавела, Баба Тахер и Тонино Гуэра. Кроме того, разве поэты сами могут выбрать язык для своей поэзии, для своего образного мышления? Языковая стихия сама рождает поэта. А как это случается, они и сами не ведают.

Этер Татараидзе пишет на тушинском диалекте грузинского языка, на котором в настоящее время говорят лишь пожилые женщины (а мужчины реже его употребляют, так как ведут менее замкнутый образ жизни). Это язык ее детства, ее мировосприятия, ее поэзии. И каждое слово, даже частицы и всякие грамматические формы получают в ее стихах особую функцию. Тут все многозначно, полисеманлично, весомо, осязаемо-овеществленно и возвышенно в одно и то же время. И все это ново, нежданно, просто и сложно, наивно и мудро.

Творчество Этер Татараидзе — глубоко индивидуальное явление, не похожее ни на фольклор, ни на общепринятые стихотворные формы.

Все это труднообъяснимо. Но возможно ли объяснить поэзию? И нужно ли?

Этер Татараидзе — поэт в самом настоящем, истинном и забытом на-

ми смысле этого слова. И для того чтобы понять ее стихи, недостаточно изучить тушинский диалект грузинского языка. А надо чувствовать истинную поэзию.

Вахушти КОТЕТИШВИЛИ,
профессор, доктор
филологических наук

ЭТЕР ТАТАРАИДЗЕ

* * *

Пред тобою я настезь распахнута,
но открыться тебе не хочу...
Я с тобою люблю златоустничать,
а расстанемся — слезы точу.

Пред тобою виновна
без меры я —
и права вместе с этим сполна...
Сколько дум для тебя я посеяла,
а собрать не смогла ни зерна!

* * *

Точно снег в тени укромной,
немотой мой дух объят...
Я, как этот белый плат,
гостья на земле огромной.

Я о бренности пою,
я судьбу зову постылой...
Но украшу лишь могилой
землю дивную сию!

* * *

Наверное, где-то над зеленью
рощ
застенчиво солнце восходит...
Наверное, где-то по ребрам горы
огромные туры проходят.
Наверное, где-то из тощей земли
трава изумрудная всходит...
Наверное, где-то по краю небес
индейки цепочкою ходят.
Наверное, где-то таится
медведь —

в берлоге лежит, не выходит...
Наверное, где-то от снежной норы
лисица, петляя, уходит.
Наверное, где-нибудь заячий след
на мелкие бусы походит...
Наверное, где-то в лощину с горы
родник утоляющий сходит.
Наверное, где-то над крайней
избой
дымок в поднебесье уходит...
Наверное, где-то меж горных
вершин
луна потаенно восходит!

ПЛАЧ МОЕЙ МАТЕРИ

Причитаньям и плачу
меня смерть бесконечно учила...
У огня у чужого
я вещи чужие чинила.

А чужие дороги
усыпаны розами были.
А мою-то дорожку
шипцы и камень губили.

А с привольного пастбища
снова стада исчезали —
и в чужие лохмотья
вдвела я руки печали.

А в голодную пору
на воде я сидела без пищи,
а в годину разрухи
погибло отцово жилище.

А кого я любила —
в любви оказался неверным,

а тяжелые думы
смотались клубком непомерным.

Голошенью и плачу —
о жизни жестокая мука! —
нищета обучила...
натаскала лихая наука.

* * *

О ромашка надежды —
крик фазана мятежный,
рев лавины кромешный,
зов покинутый «Где ж ты?».

О коварство отравы,
в сердце сорные травы,

снегом сгубленный колос
и предательства голос.

О пропавшая втуне,
о чужая фортуна,
о гонимая ложью,
о разбитая дрожью.

О любовь, нелюбовь ли —
обе плачут от боли, —
юность и увяданье,
жатва и созреванье.

О ромашка надежды —
жизнь, открывшая вежды!

Переводы с грузинского
Татьяны БЕК

* * *

«Как трудно быть стрелой...» — пишет Джуна. Она действительно стрела — эта женщина, существующая одновременно и в нашей с вами реальности, и вне ее. Она летит во времени, она существует в нем, одновременно принадлежа и прошлому, и будущему. Она гордится и никогда не забывает о своей принадлежности к древнему ассирийскому народу, горстки которого волею судьбы были сохранены в бурном потоке истории. Она принадлежит Древнему Востоку, говорит, движется, смотрит, и вас не покидает чувство присутствия ожившей фигурки из египетского зала Музея изобразительных искусств.

Она живет воображением и памятью (а что в поэзии может быть важнее этого сочетания, столь редкого в одном человеке?). Она столь же естественно пишет стихи, как дышит, столь же просто создает картины, как смотрит, созерцает. При этом видит она много глубже, ярче, богаче, чем мы с вами, а дышит она тяжело и устало. Потому что вся ее жизнь — работа, а работа — творчество: будь то врачевание, исцеление, обучение приемам бесконтактного массажа, общение, поэзия или живопись.

Говорить о ее удивительном целительном даре можно и нужно обстоятельно — это тема для отдельного научного исследования (отметим лишь, что многие свойства и способности, заложенные природой в человеке, наукой еще только познаются, и она подчас еще не располагает достаточными средствами и знаниями для их адекватного осмысления). Методика бесконтактного массажа опубликована на многих языках; ученые ФРГ, Австрии, Финляндии, Италии, Болгарии, Югославии готовы предоставить в распоряжение Джуны медицинские центры, институты.

А Джуна на Арбате, в Москве...

И сегодня мы представляем вам поэта. Может быть, не все строки ее стихов равнозначны, несовершенна с точки зрения классических приемов стихосложения ее поэтика, но звучит голос неординарного, яркого человека, голос удивительной женщины.

Елена Бондарева

ДЖУНА

АССИРИИ ПРЕКРАСНОЙ МУДРЕЦЫ

Ассирии жестокие цари,
в небытие ушли вы. Караваном
украшенных богато кораблей
в глубины времени
безмолвно погрузились.

Блестящие военные походы
и божества народов покоренных,
поверженные в прах, и женщин плач,
и скрип колес по свежим пепелищам —
все это, как истории слеза,
по коже времени давно уж соскользнуло,
давно упало в землю каплей влаги...

Лишь доброта столетий не считает,
не старится — ни горем, ни веками.
Я мудрой доброты великий кладезь
в Ассирии любимой нахожу.

Я — дочь ее, и я себя ищу
в достойном продолженьи славных дел.
Ассирии прекрасной мудрецы,
художники, астрологи, поэты,
вы словом и руками людям душу
и разум просветляли, вы их тело
от множества болезней исцеляли.

Вы — вечно живы. Я к вам обращаюсь,
как к звездам. Звезды — никогда не гаснут.
И на дела и подвиги взирают
светло и неподкупно —
беспристрастно...

Хотела бы я с вами говорить,
и я иду к вам, я к вам приближаюсь,
когда я людям страждущим стараюсь
вернуть здоровье.

О, я твердо знаю,
что люди
для бессмертья рождены.

Столетия назад
ученым и поэтам
Ассирии
уж снились сны об этом...

* * *

Я стихов писать не умею,
но я помню
 старинные песни,
их мне пела над колыбелью
моя рано умершая мать.

Я стихов писать не умею,
но я помню
 все краски детства —
навсегда этой радуги блики
отразились в моих глазах.

И я знаю, что значит надежда
для души,
 от утрат усталой,
для души, позабывшей о крыльях
и о небе, где столько звезд.

...Много слов,
 трудно главные выбрать,
но мне близок
 язык природы,
исцеляющей бескорыстно
нашу самую жгучую боль.

Как домой, возвращаюсь в природу,
как домой, возвращаюсь в детство,
как домой, возвращаюсь в память.
Все родное здесь. Как о доме,
как о родине
 рассказать?

Где слова отыскать такие,
чтобы сердце узнало их?

Песня матери,
 трепет сердца,
краски детства,
 надежды крылья,
бескорыстие солнца и неба —

это родина... Опускаюсь
на колени. И — слушаю землю.
Пульс, взволнованный и родной.

Я стихов писать не умею.
Но умею любовь хранить.

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Земля и небо!
В вечности души
я вас соединяю.
Вы навеки

слились

и неразрывны в человеке.
И я горжусь
крылатостью людей!..

СНЫ

О сны прекрасные мои!
Дни быстрокрылые

моих прошедших жизней,
веков минувших яркие страницы
и предсказанья
на будущее время...

ОДИНОЧЕСТВО

Со звезды на звезду спускаясь,
я веками искала свой образ,
и его на земле нашла я,
на земле,

где я одиноко
прорываюсь
к источнику неба...

* * *

Чего я в ночи возжелала так сильно —
любимый, тебе не дано угадать!
Мне много не надо, лишь легкие крылья,
чтоб тихо над домом твоим пролетать.

Любимый, ты спи! Мне так сладко кружиться
в бессонном полете и сниться тебе
такой одинокой и странною птицей,
едва промелькнувшей однажды в судьбе.

Быть может, случайно тебя на рассвете
рискну разбудить, чуть коснувшись крылом,—
ты сразу проснешься, и солнечный ветер
напомнит: мы были когда-то вдвоем...

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЭРОТИЧЕСКОЙ» ЛИТЕРАТУРЕ

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...

А. Пушкин

Помню: получив по подписке очередной том пушкинского Собрания сочинений, не так давно изданного «Художественной литературой», я подумал, что мне попался бракованный экземпляр книги, ибо стихотворение «Царь Никита и его сорок дочерей» обрывалось на нескольких четверостишиях. Но вскоре я убедился, что все страницы на месте. Просто издательство, пуритански заботясь о моей благонаправности, сделало в стихотворении купюры. Нас всю жизнь опекали от многого, в том числе и от так называемой «эротической» литературы. А занимает она в мировой литературе очень значительное место. Вспомните библейскую «Песнь песней», «Греческие мифы», арабскую «Тысячу и одну ночь», «Золотого осла» Апулея, «Декамерон» Боккаччо, «Орлеанскую девственницу» Вольтера, ряд значительных стихов Пушкина и Лермонтова.

Постепенно у нас в стране все приходит к читателю. Крепостное право тоже было отменено не сразу. Намеревалась отменить его Екатерина II, а отменил ее правнук. Недавно вышла «Лолита» В. Набокова, может, переиздадут и «Опасного соседа» В. Л. Пушкина.

В послереволюционной поэзии нашей мы наблюдаем гибельное число бесполой стихов. Иногда, если под ними нет имени автора, не знаешь даже, кто их написал — мужчина или женщина? Стихи на эротическую тему, если они грубы — пошлость, если они изящны и остроумны — прелесть. Вспомните пушкинские строки:

Она тогда ко мне придет,
Когда весь мир уgomонится,
Когда все доброе ложится,
А все недоброе — встает.

А сколько у него таких прекрасных строк, свободных от пред-рассудков, полных жизненного веселого обаяния, в которых проходил он, как по лезвию ножа.

Первый издатель пушкинской «Гавририады» Н. Огарев (Лондон. 1861 год) писал, что «язык и форма» этой поэмы «безукоризненно изящны». «Для нас, — отмечал он, — очень важна эта сторона изящества неприличных стихотворений Пушкина; мы слишком неизбежно видим, как с отсутствием изящества форм в жизни, на долю стихотворений неприличного содержания, остается только неприличность и устраняет-

ся все изящное»... И добавляет: «Пушкин довел стихотворения эротического содержания до высокой художественности, где уже ни одна грубая черта не высказывается угловато и все облечено в поэтическую прозрачность».

Я, как переводчик, хочу представить на суд читателей стихи фольклорные и авторские, где в противовес седьмой заповеди Моисеевой от дана дань любовному свободомыслию.

ИЗ КУЧАКА
(Армения, XVI век)

— Груды твои, что двукупольный храм,
Если меня удостоишь отрады,
Верный, как служка, затепливать сам
Обе накупольных стану лампы.

— Лучше забудь ты об этой мечте,
Служкой не может быть ветреный малый,
Ты, изменив мне, оставишь, пожалуй,
Белый двукупольный храм в темноте.

БОГ ОБМАНЩИКУ СУДЬЯ
(Из сербского фольклора)

На разметанной копне
Милый ластился ко мне
И шептал:
«Смотреть на звезды
Лучше, лежа на спине».

Я доверчивой была,
Сама на спину легла,
Только вдруг исчезли звезды,
Словно их закрыла тьма.

Догадалась вскоре я:
«Ой, ой, мамочка моя,
Это милый застит звезды,—
Бог обманщику судья!»

КОРОЛЬ И ШУТ
(Из шведского фольклора)

— Шут, ответить мне изволь,
Что я делать стану дальше?

— Изберите, мой король,
Путь в объятья генеральши.

— Ты ошибся, дуралей,
Заурядный я любовник,
Муж избранницы моей
Кавалерии полковник.

— Все предвидя наперед,
Я сумел избегнуть фальши:
Вашу даму нынче ждет
Производство в генеральши.

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ЛИРИКИ

Ее груди — горы, а живот —
стремнина,

Золотые бедра —
берегам под стать.

На таких неровностях запросто
мужчина
Голову безумную может потерять.

ИЗ ПОЛЬСКОГО ФОЛЬКЛОРА

1. Мнение полячек о польских поручиках

Ах, поручики, поручики,
Проложили, как лазутчики,
В наши спальни вы след.

И побед любовных в Польше вы
Одержали многим больше вы,
Неже генералитет.

2. То, что есть земной лишь рай...

Если б милой лядви
Не делились на две
и
Не ходил в сенной сарай
С нею я до свадьбы,
То, что есть земной лишь рай,
Разве смог узнать бы?

3. Я Ганку не помилую

Я Ганку не помилую:
Поймаю и снасилую.
Клянусь:
под желтою луной
Она довольна будет мной.
Придет и скажет: «Милый,
Помай и вновь снасилуй!»

ПИСЬМО-НЕКРОЛОГ В ГАЗЕТУ ГОРОДА ОЛИМПИА (Из Аммония Стефаниса)

Умер Фаллос — мой слуга и друг,
Был он тверд, не ведавший
гордыни.

Извещаю женщин всех вокруг
О его безвременной кончине.

АВДЕЙ (Из македонского фольклора)

В бордель отправившись, Авдей
Что делать там намерен,

Когда известно меж... людей,
Глазами он — прелюбодей,
Возможностями — мерин.

КУПАЛЬЩИЦА (Из сербского фольклора)

Шла к воде, обнажена,
Вновь ладонями она
Прикрывая для утайки
Две багряноклювых чайки,
Но при этом,
Но при этом,
Залитая ясным светом,
Шла, прикрытым не держа
Треугольного стрижа.

ИЗ АРАБСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИКИ

Дом души своей, о пери,
Одиночеством не мучь,
От его заветной двери
Сам господь вручил мне ключ.

Мы с тобой — не христиане,
И небес ты не гнева:
Грех: как сказано в Коране,
Воздержание в любви.

ПОРТНИХИ (Из Курбанова)

«Я тебе,—
ты, обняв, прошептала,—
Сшить рубаху смогу за два дня...»
И другие портнихи, бывало,
Так же мерку снимали с меня.

ИЗ ЧЕРНОГОРСКОГО ФОЛЬКЛОРА

«Ах, монашек, ах, монашек,
Что ты делал у монашек?
Может быть, перед постом
Осенял ты их крестом
Иль читал, в честь божьих дев,
Ты псалмы им нараспев?»

«Что я делал, страстоцвет?
Дать игуменья ответ
Сможет вам, меня костя,
Девять месяцев спустя».

ИЗ ДАРГИНСКОГО ПОЭТА
АХМЕДА МУНГИ
(1843—1915)

I
Знай, любовников полно
У красавицы вдовы:
Первый выпрыгнул в окно,
А второй стучится в дверь.

Хоть встревоженный дозор
Жены верные несут,

АЛИМ КЕШОКОВ

(Из цикла «По дорогам
индийского фольклора»)

1. Четыре времени года

Розы цветут, а у мужа забота:
Трудится в поле до позднего дня.
Кончит работать — охватит
дремота...
Не до меня ему, не до меня.

Летом он воду таскает до ночи,
Хлеб убирает, косою звеня,
Рухнет в постель — шевельнуться
нет мочи...
Не до меня ему, не до меня.

Осенью в джунгли спешит
за дровами,
Чтоб не остался очаг без огня,
Или ворочает вновь жерновами...
Не до меня ему, не до меня.

В зимнюю пору ночь темная
длится,

Изменяют до сих пор
Им неверные мужья.

Те неверные мужья
В дом красавицы вдовы,
Хоть стреляй их из ружья,
Все пробраться норовят.

II

Ночью красная лисица
Похищала петуха.
Днем аульская девица
Обольщала жениха.

Оценить я смог боочью
Красоту ее и статью.
Обольщает днем, чтоб ночью
Голыми руками взять.

Праздных людей к сновиденьям
клоня,
А мужу не спится, а мужу
не спится:
Он до зари обнимает меня.

2. Заклинание неверной жены

Говорят, старый муж мой богат,
Он уехал вчера за долгами.
Плутоватые пусть не спешат
Должники расставаться
с деньгами.

Хлещет ливень пусть сутки
подряд,
Чтоб соседей глазастые окна
Он завесил собой
и размокла
Перед мужем дорога назад.

Будь, безлунная ночь, потемней,
Окажи, молодой, мне услугу:

Я свидание милому другу
В ночь назначила в спальне своей.

У ГОРДЯЧКИ, ПОЛЯЧКИ МАРИНЫ
(Из литовского фольклора)

Дождик, дождик, вдали
от калитки
Хлынь внезапно с полуденной
сини,
Чтобы вымокло платье до нитки
У гордячки, полячки Марины.

Дождик, дождик, пролей свои
ведра,
Чтоб в пути мне явили смотрины,
Как прекрасны и груди и бедра
У гордячки, полячки Марины.

Дождик, дождик,
И ксендз бы в дороге
По единой со мною причине,
Стал бы взором,
забывший о боге,
Лхнуть к полячке, гордячке
Марине.

ГЕОРГИЙ КРЫЛОВ

ЗАГАДКА ПОЭТА-ТЕРРОРИСТА

Борис Савинков. Что мы знаем об этом человеке? Известный террорист, член Боевой организации партии социалистов-революционеров, участник многих террористических актов против царских сановников, убежденный враг Советской власти. Но Борис Викторович Савинков, кроме того, был и талантливым писателем. Он — автор рассказов, повестей, романов («Конь бледный», 1909 г., «То, чего не было», («Три брата»), 1912 г., «Конь вороной», 1923 г. и др.). Писал Савинков и стихи. В 1931 году в Париже была издана книга его стихов, как и все издававшееся им под псевдонимом В. Ропшин.

Первое время после гибели Савинкова книги его выходили и в Советской России. Так, в 1926 году были изданы статьи и письма Б. Савинкова, а также книга его воспоминаний. С тех пор произведения Бориса Савинкова у нас не издавались. И вот сейчас вновь они возвращаются к читателю: весной прошлого года журнал «Юность» опубликовал повесть Савинкова «Конь вороной», а в этом году издательство «Московский рабочий» выпустит «Воспоминания террориста».

Сложный и во многом противоречивый, нередко трагический внутренний мир героев книг Савинкова открывается читателю. Книги его не развлекательное чтение, в них много крови, жестокости, духовного надлома и терзаний совести. Но ведь это наша история, в этих книгах целая эпоха дореволюционного движения, в котором участвовали все партии.

Борис Викторович Савинков родился в 1879 году в семье варшавского судьи. Это были годы политических процессов членов партии «Народная воля», прогрессивная русская интеллигенция жила идеями демократических преобразований русского общества. У Бориса Савинкова был арестован старший брат, но даже это не остановило молодого человека. Воспитанный в лучших традициях русского дворянства, Борис Савинков вступает на путь революционной борьбы. Сосланный в Сибирь брат не выдерживает нечеловеческих условий существования и кончает жизнь самоубийством. Бориса Савинкова в 1902 году ссылают в Вологду.

Это событие имело решающее значение в судьбе Савинкова. Он вступает в партию эсеров. Через Финляндию он бежит за границу и приезжает в Женеву. Здесь он встретился с Евно Азефом и был принят им в Боевую организацию партии. Савинков участвует во многих террористических актах, непосредственно руководит убийством в Петербурге министра внутренних дел В. К. Плеве и в Москве — генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

В 1906 году в Севастополе Савинкова арестовывают. Он сидит в камере смертников, зная, что его как государственного преступника, друга Каляева и Сазонова, убивших Плеве и Сергея Александровича, ждет петля. Казалось бы, все кончено, выхода нет. В Севастополь приехали проститься мать и жена заключенного. Но судьба в который раз благоволила к нему. Савинкову удается бежать, переодевшись в форму тюремного охранника. Он вновь на свободе, вновь организует террористические акты, планирует даже убийство Николая II. И вдруг в Париж приходят из России известия, что его друг Азеф — провокатор, долгие годы работающий на царскую охранку и выдавший ей многих революционеров. Над провокатором назначен суд партии. В качестве судей выбраны Г. А. Лопатин, П. А. Кропоткин и В. Н. Фигнер.

— Как ваше мнение, Герман Александрович? — спрашивает Савинков у Лопатина накануне суда.

— Да на основании таких улик убивают, — ответил старый шлиссельбуржец.

Борису Савинкову и Виктору Чернову поручено привести Азефа на суд. И тут неопытный Савинков, этот «человек без нервов», допустил непоправимую ошибку. Он привел Азефа к себе домой, а встречу в суде назначили на следующий день. Едва Савинков с Черновым ушли, Азеф и его жена бежали. Евно Азеф укрылся в Германии и спокойно дождался до конца своих дней. 16 лет он предавал своих товарищей по Боевой организации, многие из них были казнены. Годовое жалование Азефа в охранке составляло 16 тысяч рублей. Газеты всего мира рассказывали о невиданном еще предательстве. Даже такой человек, как В. В. Розанов, с его неожиданными, зачастую противоречивыми высказываниями, писал в своем реакционном «Новом времени»: «Что же это за партия такая? Что это за революционеры, борцы за новую жизнь, если долгие годы они глядели в глаза этого человека, от всего вида которого так и разит Иудой-предателем, но так ничего и не почувствовали, и долгие годы верили ему, и слушались его, и преклонялись перед ним?!» Внешность Евно Азефа вполне соответствовала его внутреннему миру — она была отталкивающая...

После Февральской революции Борис Савинков был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте, а вскоре Керенский пригласил его на пост товарища военного министра.

Борис Савинков — убежденный, умный и опасный враг Советской власти, имел достаточно причин ненавидеть большевиков. Его старшая сестра была замужем за офицером. Это был тот самый единственный офицер петербургского гарнизона, который отказался стрелять в рабочих 9 января 1905 года. И его большевики расстреляли в первый же день после октябрьского переворота. Позднее ими была расстреляна и жена этого офицера. Находясь в белогвардейской эмиграции, Савинков со своим младшим братом Виктором создает Народный Союз защиты родины и свободы, встречается с крупными политическими деятелями зарубежных стран, собирает средства на вооруженные акты

против населения приграничных районов России. Однако, попав на удочку чекистов, Савинков после перехода советской границы арестован в августе 1924 года. Обо всем этом рассказывает кинофильм «Возмездие».

— Я не преступник, я — военнопленный, — заявил он на суде. — Я вел войну, и я побежден. Я имею мужество открыто это признать...

Савинков признал Советскую власть как народную, как единственно реально существующую в России и отказался бороться против нее. В своем письме к Д. В. Философому, уже после процесса, он писал: «Да, я ошибся! Ошибся не только я, но и мы все — левые и правые социалисты, кадеты и остальные. Говорю вам — ошибка была мне ясна еще весной 1923 года. Я тогда же хотел созвать совещание и «выйти в отставку», т. е. публично заявить о прекращении борьбы. А прекратить борьбу значило для меня... Вы сами понимаете, что это значило бы для меня, «признать советскую власть». «Приезжие» сбили меня с пути, совесть не позволила мне не посчитаться с ними. Это узел моего трагического недоразумения».

Как понимать этот шаг Бориса Савинкова, этого непримиримого врага большевиков? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Невольно вспоминается другое признание, другое отречение от борьбы с Советской властью — патриарха Тихона весной 1923 года.

..Поздно ночью 29 августа 1924 года было зачитано решение суда: приговорить Бориса Савинкова к расстрелу, но, учтя его чистосердечное раскаяние и былые заслуги перед революцией, ходатайствовать перед Президиумом ЦИК СССР о смягчении приговора. Утром того же дня Президиум ЦИК удовлетворил ходатайство Военной коллегии Верховного суда СССР и заменил высшую меру наказания по отношению к Борису Савинкову 10-летним тюремным заключением.

И вдруг поразившее всех самоубийство.

В вводной статье к книге Б. Савинкова «В тюрьме», выпущенной в 1925 году, А. В. Луначарский останавливался на трагической смерти Бориса Савинкова. «Обстоятельства, сопровождавшие самоубийство Савинкова, — писал Луначарский, — известны мало. Может быть, причины, которые он высказал при этом, играли не столь исключительную роль, возможно и какие-нибудь личные моменты, которые остались, а может быть, и навсегда останутся неизвестными широкой публике.

Конечно, можно допустить, что Савинков, поняв призрачность дальнейшей борьбы с революцией, поняв, что фактически он пошел против всего, чему в меру своего понимания, но не без блеска, служил, и что, принеся повинную голову революции, ожидал очень скорого изменения своей судьбы и предоставления ему той или иной более или менее ответственной работы, на которой он мог бы активно загладить созданную вину перед историей.

Возможно, что долгий срок, протекший со времени процесса, и холодная сдержанность советской власти на всякие запросы о перемене судьбы, могли привести этого гордого и сильного человека в отчаяние. В самом деле, не гнить же всю жизнь в тюрьме человеку подобной активности и подобного бешеного самолюбия. Савинков мог перенести что угодно, но только не презрительное забвение: такого поворота он мог действительно панически испугаться. Но, с другой стороны, Савинков был человек далеко не глупый и не без выдержки. Не может быть, чтоб он не понял всю законность недоверия к нему, не может быть, чтоб он не предполагал, что со временем все может изме-

ниться и повернуться таким образом, что та или другая роль в революционном строительстве может выпасть на его долю.

Но я оставляю совершенно в стороне попытки разрешения этой загадки. Для меня ясно только одно. Всякий из нас не мог не быть огорченным смертью Савинкова, и не потому, что нам жаль его персонально, человек тот был не только по своим полубелогвардейским идеям последнего периода, да и по общему тону прежних своих мирозерцаний — какого-то фанатического терроризма, а потом какого-то декадентского оплевывания своей партии, очень несимпатичен нам и чужд, а дело в том, что Савинков мог бы быть чрезвычайно полезен. Это я говорил уже в своей первой статье о Савинкове непосредственно после ареста.

Савинков очень много видел и очень много знал. Не считая его первоклассным талантом, нельзя не признать, что у него было известное беллетристическое дарование. Дарование это высказалось в довольно тонкой наблюдательности и язвительной остроумности, это очень сказало в его недавней статье о Чернове.

В некоторой общей нервной чуткости, которая легко позволяет откликаться Савинкову на все стороны событий, наконец, в довольно напряженной, местами даже захватывающей форме его повествований. Обладая таким количеством опыта и таким недюжинным пером, Савинков, несомненно, мог оказаться одним из интереснейших летописцев перипетий борьбы революции и контрреволюции.

В самоубийстве Бориса Савинкова немало загадочного. По официальной версии, он выбросился из окна пятого этажа внутренней Лубянской тюрьмы после того, как не получил ответа на свое письмо к Дзержинскому с требованием немедленно освободить его из заключения. Но трудно поверить, что человек такого исключительного мужества, энергии и поразительного самообладания, как Савинков, мог так смалодушествовать, до такой степени впасть в отчаяние. Ведь ему уже ничего не угрожало, он получил возможность заниматься литературным трудом, его даже возили за город на прогулку. В 20-е годы ходили слухи, что Борис Савинков стал жертвой расправы чекистов.

С тех пор прошло много времени. Новых документов, связанных с трагическим концом Бориса Савинкова, пока не обнаружено. Но мы теперь знаем о чудовищных «спектаклях Сталина», инсценирующих открытые политические процессы 20—30-х годов. Интересно, что на процессе по делу Савинкова председательствовал Василий Ульрих. Тот самый. Тогда, в августе 1924 года, карьера этого будущего палача многих тысяч невинных людей только начиналась. А уже через два года Ульрих станет председателем Военной коллегии Верховного суда СССР.

Нельзя обойти и такой небезынтересный факт: Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» говорит, что встречал в лагере человека, которому Яков Блюмкин, бывший эсер, убийца немецкого посла Мирбаха, а затем — чекиста, который, будучи уже заключенным, хвастался тем, что участвовал в выбрасывании из окна Бориса Савинкова.

...Сразу после суда над Савинковым советские газеты почти в каждом номере печатали статьи о «деле Савинкова». Заголовки их весьма примечательны. Так «Правда» 30 августа поместила сразу три статьи — Емельяна Ярославского «30 августа 1918—30 августа 1924», Карла Радека «То, что было» и члена ЦК Английской компании А. Мак-Мануса «Уроки процесса Савинкова». На следующий день «Правда» опубликовала статью Михаила Шаронова «Всемирно-исторический судебный процесс», 2 сентября — В. Милютина «Политическое значение показа-

ний Савинкова», 5 сентября — А. Луначарского «Артист авантюры» и др. Разрешился статьей и Василий Ульрих. 3 сентября он тиснул в «Правде» пространную статью «Савинков и его друзья», в которой рассказывал о предыдущих судебных процессах единомышленников Савинкова.

Одним словом, Борис Савинков был стерт в порошок. Лимон был выжат полностью и теперь уже никого не интересовал. Именно это имел в виду В. Ульрих, когда заканчивал свою статью словами: «После всего этого, после полного отказа от борьбы, после открытого признания советской власти, после разгрома всех местных ячеек савинковской организации, после разоблачений, сделанных на суде, Савинков нам более не опасен, и можно считать, что весь этот исторический период, который был связан с его именем, отошел в область истории».

...Борис Викторович Савинков, имя которого наводило ужас на царских министров, был террористом и... поэтом. В 1931 году в Париже была издана книга стихов Бориса Савинкова. В нашей же стране поэтические сборники поэта-террориста не выходили. Впервые за 70 лет несколько стихотворений Бориса Савинкова были опубликованы в газете «Московский комсомолец» весной 1989 года.

Мы же предлагаем вниманию читателей стихотворения, взятые из журнала «Эпоха» 1918 года. Впервые приводим и посвященное Борису Савинкову стихотворение Максимилиана Волошина, взятое из журнала «Русская мысль».

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

РОПШИН
(Из «Обликов»)

Холодный рот. Щеки бесстрастной складки,
и взгляд из-под усталых век...
Таким сковал тебя железный век
в страстных огнях и бреде лихорадки.

В прихожих Лувра, в западнях Блуа,
карандашом, без тени и без краски
Клуэ чертил такие ж точно маски
времен последних Валуа.

Но сквозь лица пергамент сероватый
я вижу дали северных снегов,
и в звездной мгле стоит большой сохатый
унылый лось, с крестом между рогов.

Таким ты был. Бесстрастный и мятежный —
в руке кинжал, а в сердце крест;
судья и меч... с душою снежно-нежной —
на всех путях хранимый волей звезд!

Русская мысль, 1917, № 11—12

БОРИС САВИНКОВ

(В. Ропшин)

* * *

Ее жемчужное кольцо
Играет тенью перламутра,
Я в это пасмурное утро
Увижу милое лицо,
Полуласкающие руки,
Полувлюбленные уста,
В глазах предчувствие разлуки,
Пресыщенность любовной скуки,
Восторг любовного креста.
Прочту последние страницы
Недорифмованных стихов,
И ей, оправданной блуднице,
Ей, неоправданной царице,
Дам отпущение грехов.
Ее жемчужное кольцо
Я в это утро не надену,
Благословлю ее измену
И разлюблю ее лицо.

* * *

Хриплые звуки
Расстроенного рояля,
Испуганные руки
Маленького мальчика Вали.
В темноте два горящих глаза,
Два изумруда...
Никогда не свершится божье чудо,
Никогда не простится мой грех
Исава,

Голубая отрава
Сразу
Меня убила...
Пожалей меня, мальчик мой
милый...

* * *

Шумит листьями
Каштан...
Мигают фонари
Пьяно...
Кто-то прошел бесшумно...
Бескровные бледные лица...

Ночью душной
В столице,
Ночью безлунной,
Полной молчанья,
Я слышу твои рыдания...
Шумят листьями
Каштаны,
Мигают фонари
Пьяно.
А я, безвинный, ищу оправдания...

* * *

Дождевые стрелы
Сердце мое пронзили.
Серо
В моей могиле.
Но на дне стакана
Вспыхнуло пламя,
Пламя безумья...
И колдунья,
Милая, выходит из тумана
И улыбается одними глазами:
«Я с тобой, но не с вами...»

* * *

Когда безгрешный Серафим
Взмахнет орлиными крылами,
Нетленный град Иерусалим
Предстанет в славе перед нами.
Смарагд, и яспись, и берилл...
Богатствам Господа нет счета,
И сам архангел Гавриил
Хранит жемчужные ворота.
Ни звезд, ни солнца, ни луны...
Нетленный град — светильник божий:
У городской его стены
Двенадцать огненных подножий...
Но знаю: жжет святой огонь,
Убийца в храм Христов не ввидет:
Его истопчет бледный конь,
И царь царей возненавидит.

Эпоха, 1918, № 1
Публикация Г. КРЫЛОВА

ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ

(Беседа с А. Ф. Лосевым)

— В одной из наших прошлых бесед вы назвали себя соловьевцем. Не могли бы вы как-то пояснить это суждение. Я, конечно, знаю, что вам еще в годы учебы в гимназии подарили Собрание сочинений В. С. Соловьева. Этим были отмечены ваши успехи в учебе. Но все-таки в какой период вы сформировались как соловьевец?

— С Соловьевым я стал знакомиться еще в последних классах гимназии...

— Кстати, а какую первую книгу В. С. Соловьева вы открыли?

— «Философские основы цельного знания». Я познакомился с ней в предпоследнем классе.

— Это вы уже читали по тому собранию, которым вас наградили за успехи в учебе?

— Да-да. Это же один из первых томов собрания сочинений.

— А почему вы взяли именно это произведение?

— Слишком уж завлекательное название.

Цельное знание — такое понятие, которое меня волновало. Мне не терпелось узнать, что же это такое?!

— Ну и как? Вам это удалось? Что это, кстати, такое?

— У Соловьева — учение о всеединстве.

— Оно заключается в том, что все едино?

— Все существует во всем. Каждая отдельная вещь — частичное проявление всего мира в целом.

Поэтому во главе мира у Соловьева стоит не бог, — хотя в конце концов будет, конечно, бог, но его не это интересует, — а сторона чисто логическая. На вершине мира стоит единое, творческое ничто, как он говорит.

— Ничто почему?

— Потому что это единое не есть какая-нибудь отдельная вещь. Ее нельзя называть, ею нельзя оперировать так, как обычной вещью.

— Потому-то и ничто?

— То-то и оно.

— А вы с этим согласны?

— Отчасти. Потому для Лосева ничто — это не ничто, а — все. Каждая сущность несет в себе и нечто единое: каждая вещь есть какая-то единица. На мой взгляд, здесь проявляется диалектика первоединого.

А Соловьев это называл учением о первоединстве. Причем он отмежевывается от мистики, от религии. Не вполне, конечно же. Так как Соловьев и мистик, и религиозный мыслитель. Но его в данном случае не это интересует, а чисто логическое построение.

Что из того, что люди веруют в бога?! Для мысли, мышления этого все же мало.

— И потом здесь нет какой бы то ни было системы. Здесь только вера.

— Конечно! А Соловьев не терпел голую веру, которая признает нечто такое, что конкретно не может назвать.

Первоеднное же все обнимает — и поэтому есть все.

— Все и ничто в отдельности?..

Потому это все, это что-нибудь и назвать чем-нибудь нельзя. Ведь это что-нибудь есть реально существующее, а не то первоеднное, о котором идет речь?..

— Первоеднное существует везде, ибо каждый стакан, каждая чашка есть нечто. То есть какая-то единица... Та самая большая единица, которая наверху дана в цельном виде, а в отдельных вещах лишь отчасти.

— Я думаю, это учение неоплатонического толка?..

— Пожалуй. Но не в том его суть и ценность.

Мне кажется, что логическая сторона в учении о первоеднстве безупречная. Я и сейчас думаю, что все мы — и дураки и умные,— все мы признаем учение о первоеднстве.

Ни одно из положений этого учения и сейчас не опровержимо.

— А если сказать, что не существует хоть чего-нибудь одного или наивысшего?..

— Значит, надо будет признать, что не существует мир. Это уже субъективизм — и притом глупый.

— Но, с другой стороны, вы часто говорили мне о том, что ни Луна ни есть все, ни Солнце...

— А тем не менее являются частями всего... На них почилос всеединство.

Ведь они, не будучи чем-нибудь в смысле всеединства, все-таки остаются чем-то таким, что входит в общее единство.

Это учение простейшее и довольно обыкновенное. Не требует особого философского усилия. Его легко доказывать и невозможно опровергнуть.

— А разве такой вот концептуальный подход присущ исключительно Соловьеву?

— Такие подходы и взгляды действительно весьма распространенное явление на протяжении всей истории философии. Но, как правило, учение в таком случае всегда объединяется с каким-то мировоззрением. А ведь то, что я успел изложить выше, пока скорее только логика всякого мировоззрения, но не оно самое как таковое.

Как логика — это редкость. Вот в чем корень вопроса. Главным же образом встречается у неоплатоников.

У них там и мифология, и мистические построения... Но они меня в ту пору не интересовали.

А вот в логическом плане здесь довольно чистая форма. И это ведь редкость и новость была.

Философы в таких построениях первоосновой всегда понимали нечто особенное: или божество, или сверхъестественную фигуру... даже и исторического характера...

— Значит, если я вас правильно понял, ценность такого подхода, выраженного в ранних трудах Соловьева, в том, что здесь на первом плане сама логика мировоззрения, хотя мировоззрение как таковое пока отсутствует.

— Да! И эта сторона в ранних сочинениях Соловьева очень ярко представлена.

Правда, позже он осложнил свое учение, внося туда моральные, национальные, политические, религиозные моменты...

— То есть все общественно значимое для деятельности человека знание?..

— Да. Но я, конечно, в пору своей юности до осознания этого не доходил. Обобщенности этой еще не чувствовал. Но вот то, что касается обобщенной структуры, то с этим я познакомился сразу, признал сразу, и на всю жизнь это во мне осталось.

Думаю, что любого смог бы убедить в правильности соловьевского учения о первоединстве.

— Но ведь вы хотели прийти к пониманию цельности знания? Учение о всеединстве Вл. Соловьева совпадало с вашим ощущением?..

— Конечно! Ведь я был религиозен, очень любил искусство и пробовал себя как скрипач-исполнитель...

Но уже тогда отдавал себе отчет в том, что такой отвлеченной, абстрактной схемы всего в истории философии на самом деле не обнаружишь. Нет просто и отвлеченно выраженной идеи о первоединстве... Это редкость.

— И когда вы сделали для себя это открытие, то обсуждали ли его в кругу сверстников-единомышленников?

— В смысле философии у меня в юности друзей не было. Это все-таки специальное знание. Гимназисты в глубины не забирались, делали то, что от них требовалось на занятиях.

— А в университете?

— Там у меня в смысле философском положение стало еще хуже. Кафедра была занята спиритуалистом Лопатиным, который отстаивал соответствующие идеи.

Все есть душа. И каждое тело — душа. Во всем и везде при данном подходе на первом плане — душа и дух.

Челпанов, другой наш профессор, был тоже спиритуалистом и кантианцем.

Для меня этого было мало. Я очень быстро усвоил позиции и того, и другого, был исполнен уважения к тому и другому, но увлекли меня совсем иные философские доктрины и направления.

Прежде всего мне было интересно учение тогдашнего светила Гуссерля. Он считал, что философия состоит не из мировоззрения, не из взглядов каких-либо (социальных, политических, общественных или личных, поэтических...) ...Она состоит из описания чего бы то ни было. Раз что-нибудь есть в сознании, то описательная сторона факта сознания — это и есть настоящая философия или, как он говорил, феноменология.

Несмотря на свою яркость и очевидную талантливость, меня он тоже не удовлетворял. Но он мне дал многое понять и применить в осмыслении античности.

Эйдос — это термин, который я заимствовал у Гуссерля. Это значит «вид», значит вещь, но не как таковая, а вещь в своей значимости.

Вот чашка. Мне она не нужна для того, чтобы ею пользоваться. Но что такое чашка, я должен знать. И должен это точно формулировать.

Однако такую вот феноменологическую точку зрения я, хотя очень любил Гуссерля, считал недостаточной.

— А еще какие философы и направления привлекали вас?

— Бергсон, конечно. Он привлекал меня своим учением о жизненной длительности. То, что существует, всегда жизненно длительно (*la durée*).

Эта длительность, которая никак не разложима, которая всегда живет и трепещет, всегда борется и никогда не имеет никакого перерыва и никаких разрывов.

Это такого рода материя и бытие, которые он признавал и проповедовал. А мне это тоже очень импонировало. Так что труды Бергсона стали моими любимыми книгами.

Одна из последних его работ — «Творческая эволюция» — прошла со мной всю жизнь. Эта книга — одна из самых дорогих для меня. Но бергсонизмом я никогда не был.

То, что он говорит, в жизни есть; может быть даже, и основа жизни, может быть... Но в ней много и всего другого.

Эта постройка, эта такая вычурная, изысканная система бытия все же представлена у него односторонне, одномерно, слабо.

А вот подспудная, бьющаяся внутри, как внутри его рассудочных построений, — сила жизни — увлекала.

И я считал, что это все, вместе взятое, вовсе не противоречит Гуссерлю, ибо он допускает какую угодно философию, так что увлечение и тем, и другим было для меня органичным.

— Это было частичное признание с вашей стороны. Вы брали у них то, что вам было близко, брали без апологетики, критически?..

— Ну, да. Я брал то, что считал бесспорным. Признавал Гуссерля, любил Бергсона и оставался самим собой.

В чистом виде оба философа были для меня неприемлемыми.

— Почему?

— Слишком сильный, например, в Бергсоне иррационализм. Здесь слишком проявлена противоположность разумному учению, разумной системе.

Разум для Бергсона не имел особой важности.

Ему важна творческая эволюция.

Я вообще удивляюсь тому себе, тому юноше, который рвался во все стороны тогдашней философии. И, ничему не веря, ничего не признавая в окончательном виде, тем не менее в том виде, как это дано, признавал. Мне нравилось само по себе философское построение, я это принимал всей душой и пропагандировал.

— А неокантианцы?

— Эти меня увлекали меньше. Ими все кантезирвалось, а я ведь противник Канта, противник всякого субъективизма.

Но и у кантианцев я стремился выявить несубъективные стороны...

— Алексей Федорович, все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно, но мы отвлеклись от Владимира Соловьева и его взглядов... А именно об этом я и желал бы вас подробно расспросить.

И в связи с этим я хотел бы знать вот о чем. Когда вас наградили сочинениями Соловьева, вы уже были знакомы с философской литературой?

— Начинал знакомиться.

— По каким книгам?

— По приложениям к тогдашним юношеским журналам «Вокруг света», «Природа и люди»... И здесь прежде всего стоит назвать сочинения Камилля Фламариона. Этот астроном был автором многих нашумевших романов, повестей, рассказов, изображающих романтические истории на фоне звездного неба и математических рассуждений.

— А почему вам все-таки подарили именно Соловьева?

— Знали, что я им интересуюсь. Директор гимназии Федор Карпович знал. В своих ученических сочинениях я цитировал публицистические выступления Соловьева.

А директор гимназии был как раз преподавателем русского языка.

Он ценил меня и давал интересные темы для самостоятельной проработки.

Таким образом он чувствовал мою тягу к философии.

Немаловажен и тот факт, что Соловьев пишет популярней, чем обычные академические профессора.

И потом — он ведь имел довольно широкий успех. Правда, были у него и враги, которые не пускали его в университет, но он и сам не стремился туда, ибо не любил преподавание.

Интересно, что в год смерти он все же был избран академиком.

— Алексей Федорович, а что, на ваш взгляд, нужно прежде всего читать у Соловьева современному читателю?

— Прежде всего я хочу сказать о том, что для понимания истории философии, для понимания, по крайней мере, античности и средних веков изучение Соловьева дает очень много каждому вдумчивому исследователю.

Вот его ранние труды, его диссертации и отдельные исследования «Философские начала цельного знания». Наверное, надо браться и начинать сегодня с этого.

— А что касается трудов, отразивших борьбу западников и славянофилов, политические и общественные взгляды Соловьева?..

— Я думаю, это как раз сейчас для нас имеет только историческое значение. Едва ли в Соловьеве это главное.

— А последний его большой труд «Оправдание добра»?

— Замечательная вещь по своей абсолютной понятности, по системе. Этот труд надо изучать внимательно.

Но помимо всего прочего, Владимир Соловьев сам был поэт и любил писать о поэзии. У него статьи о Пушкине, о Лермонтове, о ком угодно. Они тоже небесполезны. Но все-таки то, что я сказал вначале, более важно.

— А «Смысл любви». Вы забыли сказать о нем?

— Нет, не забыл. Но я любитель логики и привык разбираться в мире не как в пустой науке, а как в определенном мировоззрении, как в системе отдельных категорий; поэтому раз ты меня спрашиваешь, что главное — это его первые труды логического содержания и последние труды тоже логического содержания.

Труды среднего периода мне менее интересны. Это общественные, историко-общественные труды. Это более условно, можно многое там оспаривать. Но то, что я сказал, — это бесспорно, это не подлежит спору.

То, что обычно принято считать мистикой и непознаваемым, у него получает замечательное познание. Он называет это «учение о мировом единстве». Ну... тут... шире, конечно, чем понятие мира. Тут более интересное и более глубоко понятие. Точно так же его учение о «Всеединстве» всегда понимали очень мистически. Хотя на самом деле учение о «Всеединстве» — это подтверждение какого-то единства, которое выше всего, и, во-вторых, наличие этого единства в каждый момент всего существующего. Мне кажется, здесь абсолютно никакого мистицизма нет. И сам он против термина «мистика». Он называет это «Всеединством». Все обычно начинают подсовывать религиозные взгляды. Конечно, и из этого можно сделать религиозные выводы. Мало ли что можно сделать... Но если ты атеист, ты можешь сделать и атеистические выводы, но логически ты не можешь опровергнуть, что есть всеединство, что есть такое единое, которое не дробится ни на какие мелочи. Это замечательное учение изложено в простейшей форме, и опровергнуть его невозможно. Если ты это учтешь, то тогда и учение о любви тоже бу-

дет более понятно. Любовь... Он говорит, что главное — это мужественная любовь, любовь между полами. Но эта любовь предполагает обобщение, предполагает такую любовь, которая далеко уходит за пределы понятия «пола». Она выше пола, хотя тут же и порождает из себя пол.

Если учение о «Всеединстве» не учитывать, то письма о любви не имеют значения. Но если иметь в виду то, что я рассказал, тогда и его учение о любви зацветает интересным цветом и очень много дает.

— Алексей Федорович, и все-таки вошло в традицию квалифицировать философию Вл. Соловьева как мистическую. На основании точных соловьевских материалов вы изучали в своих трудах, которые частично опубликованы, терминологию философа, выяснили, какие его понятия выражаются этой терминологией...

— Мир, по мнению Вл. Соловьева, состоит из частей, и обязательно есть нечто целое. Но тщательно проводимая Вл. Соловьевым диалектика обнаруживает, что, хотя целое и его части невозможны одно без другого, тем не менее целое образует собою новое и в сравнении с отдельными частями специфическое целое. А так как это целое в той или иной степени присутствует во всех своих частях (без чего целое не состояло бы из частей и части не были бы частями целого), то отсюда у Вл. Соловьева и возникает учение о всеединстве, и такое свое учение он и называет мистикой.

— Таким образом, соловьевская мистика не имеет ничего общего с тем, что понимается у нас в настоящее время под этим понятием.

— Да, это есть, попросту говоря, диалектика целого и частей в мировом масштабе, квалифицируемая Вл. Соловьевым как некий в прямом смысле таинственный процесс, который древние греки обозначали словом ΜΥΣΤΙΚΟΣ (mysticos) * — «таинственный». Но только после подобного анализа соловьевской «мистики» впервые открывается возможность надежным образом критиковать такие воззрения Вл. Соловьева, которые вовсе не являются учением о «Всеединстве» и которые подлежат критике как действительно безнадежно мистические.

— Есть у Соловьева и критика экономического материализма...

— Вульгарно понято. Чтобы эту критику правильно понять и чтобы наше ее отрицание не оставалось на стадии беспомощного междометия, надо не вырывать эту соловьевскую критику экономизма из общей теории Соловьева, но понимать ее именно в связи с тем целым, которым является его теоретическая философия. Тогда оказывается, что экономическая область ни в каком смысле не отвергается у Соловьева, а только признается в ее нераздельном единстве с политикой и со всеми другими сторонами культуры. Взятая сама по себе и отдельно от всего прочего, она действительно есть, по выражению мыслителя, «только отвлеченное начало», которое теряет свою отвлеченность лишь в своем неразрывном единстве с цельной жизнью народа.

— Но из такого анализа изолированно взятой экономической области вытекает ли враждебное отношение Соловьева к марксистско-ленинской теории?

— Во-первых, никакой марксистско-ленинской теории в развитом виде в России не было до Плеханова и Ленина; и Вл. Соловьев не только не мог ее критиковать, но даже не знал о ее существовании. Он умер ведь в 1900 году. Во-вторых, если представить себе чудо, что до

* Μυστικος.

полного развития марксизма-ленинизма в России Соловьев все-таки уже его знал, то неизбежно вытекает следующее:

1) он не мог критиковать диалектический метод марксизма-ленинизма (поскольку диалектика — основа философии Соловьева), а мог только его одобрять; 2) он никак не мог оспаривать теорию, направленную на критику капитализма и предвестие о его гибели, поскольку сам философ глубоко чувствовал обреченность и недолговременность всей западной буржуазно-капиталистической культуры, и наконец; 3) сам предчувствовал наступление новой эпохи после небывалых мировых катастроф. Единственно, против чего Соловьев резко возражал бы в марксистско-ленинской теории, если бы у него действительно было бы хоть какое-нибудь с ней знакомство, это против материалистического понимания всех исторических процессов и возможности радикальной социалистической революции.

— Однако вышеозначенные три момента имеют характер допустимых, но отнюдь не реальных обстоятельств известной нам творческой биографии.

— После анализа философии Вл. Соловьева, мною предпринятого, раскрываются те скрытые критические возможности философа-идеалиста в отношении чуждой ему теории, которые могли бы проявиться при определенных исторических условиях. Становится вполне очевидным и то, что Соловьев мог найти также и положительного в той материалистической теории, которую мы теперь безоговорочно считаем чуждой ему. Вспомни, например, его мысли о высокой роли материи, его стихи, обращенные к владычице-Земле.

— Объективно-исторический подход к творческой судьбе и наследию Владимира Соловьева освобождает нас от субъективно-вкусового подхода, дает возможность представить судьбу философских взглядов Соловьева в течение всей его жизни...

— То, что Соловьев защитил первую кандидатскую диссертацию в 21 год, а вторую (докторскую) в 27 лет, и притом на такие трудные темы, как критика главнейших западных философских систем, конечно, свидетельствует об огромном философско-критическом даровании Соловьева и, вполне естественно вызывая удивление, не может не учитываться объективным историком мысли.

— В вашей книге «Владимир Соловьев» кое-где по этому поводу высказываются похвалы или хвалебные эпитеты в его адрес. В свое время они вызвали тревогу и даже критику со стороны невежественных перестраховщиков. А попросту говоря, всего лишь отражают не-заурядные факты, с которыми сталкивается каждый, кто изучил развитие Соловьева со времени его юношеских работ.

— Конечно! Невозможно возразить против действительно блестящих для своего времени статей философа, помещенных в первом издании энциклопедии Брокгауза и Ефрона, таких, как, например, «Гегель» или «Конт», как бы ни относиться к Соловьеву в целом. Но важно не это.

Важно то, что Соловьев всегда и везде был искателем, неуугомонным борцом против всякого рода несправедливости и энтузиастом, верящим в наступление лучших времен.

— Говорят, что Вл. Соловьев начал со славянофильства...

— Это совершенно неверно.

Уже во вступительной речи на защите своей первой диссертации он объявил полной бессмыслицей славянофильское учение о вере без всякого разума и науки. Никакому славянофилу никогда и во сне не сни-

лась та бескомпромиссная критика византийско-московского православия. После убийства Александра II в 1881 году никто из демократически и прогрессивно настроенных общественных деятелей не осмелился выступить в публичной лекции с требованием к царю помиловать народолюбцев. Ряд своих важных трудов, хотя они и были религиозного содержания, именно из-за их критического пафоса, направленного против официальной церкви, Соловьев не мог печатать в России и печатал их за границей по-французски, так что только после 1905 года возник вопрос об их переводе на русский язык. И в этих своих книгах Соловьев допускал такую критику режима Победоносцева и Дмитрия Толстого, что пошли слухи о предполагавшейся высылке Соловьева Победоносцевым в Соловки.

— В одной из своих статей Соловьев восхваляет взгляды Чернышевского на прекрасное как на жизнь, и эту свою статью о Чернышевском он так и назвал «Первый шаг к положительной эстетике».

— Необходимо прибавить также, что и весь родительский дом Соловьева с неизменным уважением относился к личности и судьбе Чернышевского. А когда сын Чернышевского после смерти своего отца обратился к Соловьеву с просьбой написать воспоминания о Чернышевском, то Соловьев написал эти воспоминания в самой искренней, в самой сердечной форме с полным учетом величия личности и деятельности Чернышевского. Правда, враги Соловьева стараются всячески замалчивать эти замечательные воспоминания. Но историческая истина для нас дороже. Эти воспоминания, как-никак, нельзя считать небывшими, и целиком устранить их из истории невозможно.

— И все-таки довольно часто говорят о переходе Соловьева из славянофильства в западничество. Хотя ваша книга доказывает, что и это не так. А нынешние ваши суждения окончательно меня убедили. Но и западничество было для него тоже слишком односторонней, только рассудочной теорией. Ведь так?!

— Недаром же, отправляясь однажды на Запад, он сказал, что едет в нужник. Резко расходясь со славянофилами в их невнимании ко всем язвам русского прошлого, Вл. Соловьев резко расходился и с западниками в их невнимании к специфическому лицу русского народа. Россия для него ни с малейшей стороны не является славянофильским апофеозом старины. Но она для него никогда не была также и безразличным конгломератом и простой ареной для западной и чисто буржуазной цивилизации. При всем том важно, что Соловьев сердечно любил Россию, всегда питал патриотические чувства, всегда критиковал царское правительство за угнетение отдельных народностей и мечтал о великом будущем России, даже об огромной международной роли России, но, правда, как только свободной семье народов. Прошлые и настоящие язвы России были ему иной раз настолько невыносимы, что он одно время рвался из православия в католицизм, но и в католицизме он в конце концов разочаровался. А не находя опоры ни в прошлом, ни в настоящем России, он стал строить какие-то невообразимые теократические утопии, в которых Россия по-прежнему оставалась у него ведущей страной мирового значения.

— Правда, согласно вашим представлениям Вл. Соловьев не удержался и на этом пути. Расстроенный неурядицами на своей родине (а в западные идеалы он вообще никогда не верил, и еще в первой диссертации доказывал обреченность Запада), встретивший небывалый отпор и часто просто даже невнимание и насмешливость по поводу своих утопий и, наконец, сломленный преждевременным физическим истощени-

ем, Соловьев скончался в сознании своего полного бессилия и полной жизненной непригодности своих теорий. Единственно, на что у него еще хватило сил за полгода до смерти, это нарисовать ужасающий конец всей мировой истории, приход и гибель антихриста, ощутить перед лицом этих собственных пророчеств полный тупик и безвыходность настоящего.

Теперь и спрашивается: можно ли хвалить или критиковать Соловьева без учета той мрачной и трагической картины тогдашней действительности, в которой рисуется нам личность и творчество Соловьева?

— Хвалить его можно за многое. И прежде всего за его мучительное недовольство предреволюционной Россией, за его искренние, хотя и бессильные попытки вырваться из предреволюционного тупика, за его прочувственное отношение к судьбам России и за его полную беспомощность накануне им же самим предсказанных, но им же самим непонятых надвигающихся катастроф.

Декабрь 1987 года

Беседу вел Юрий РОСТОВЦЕВ

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

* * *

У царицы моей есть высокий дворец *,
О семи он столбах золотых,
У царицы моей семигранный венец,
В нем без счету камней дорогах.

И в зеленом саду у царицы моей
Роз и лилий краса расцвела,
И в прозрачной волне серебристый ручей
Ловит отблеск кудрей и чела.

Но не слышит царица, что шепчет ручей,
На цветы и не взглянет она:
Ей туманит печаль свет лазурных очей,
И мечта ее скорби полна.

Она видит: далёко, в полночном краю,
Средь морозных туманов и вьюг,
С злою силою тьмы в одиночном бою
Гибнет ею покинутый друг.

И бросает она свой алмазный венец,
Оставляет чертог золотой
И к неверному другу,— нежданный пришлец,—
Благодатной стучится рукой.

* Эти стихи В. С. Соловьева были отобраны А. Ф. Лосевым для не осуществившейся в 1988 году публикации в журнале «Юность».

И над мрачной зимой молодая весна —
Вся сияя, склонилась над ним
И покрыла его, тихой ласки полна,
Лучезарным покровом своим,

И низринуты темные силы во прах,
Чистым пламенем весь он горит,
И с любовью вечной в лазурных очах
Тихо другу она говорит:

«Знаю, воля твоя волн морских не верней:
Ты мне верность клялся сохранить,
Клятве ты изменил, но изменой своей
Мог ли сердце мое изменить?»

Между концом ноября 1875
и 6 марта 1876, Каир

* * *

Земля-владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.

В полуденных лучах такою негой жгучей
Сходила благодать сияющих небес,
И блеску тихому несли привет певучий
И вольная река, и многошумный лес.
И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
Земной души со светом неземным,
И от огня любви житейское страданье
Уносится, как мимолетный дым.

Май 1886

* * *

Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор, и венки твой измят,
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.

Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

18 сентября 1887

* * *

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

Там, где семьей столпились ивы
И пробивается ручей,
По дну оврага торопливо,
Запел последний соловей.

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;

Что это? Радость обновления,
Иль безнадежное прости?..

А вдалеке неслось движенье
И гул железного пути.

И небо высилось ночное
С невозмутимостью святой
И над любовью земною,
И над земною суетой...

16 июня 1892

НА САЙМЕ ЗИМОЙ

Вся ты закуталась шубой пушистой,
В сне безмятежном, затихнув, лежишь.
Веет не смертью здесь воздух лучистый,
Эта прозрачная, белая тишь.

В невозмутимом покое глубоко.
Нет, не напрасно тебя я искал.
Образ твой тот же пред внутренним оком,
Фея — владычица сосен и скал!

Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,
Вся ты в лучах, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь!

Декабрь 1894

ВНОВЬ БЕЛЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

В грозные, знойные
Летние дни —
Белые, стройные
Те же они.

Призраки вешние
Пусть сожжены,—
Здесь вы нездешние,
Верные сны.

Зло пережитое
Тонет в крови,—

Всходит омытое
Солнце любви.

Замыслы смелые
В сердце больном,—
Ангелы белые
Встали кругом.

Стройно-воздушные
Те же они —
В тяжкие, душевные,
Грозные дни.

8 июля 1900

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ



НЕМНОГО «ДОМАШНИХ ПРОПОВЕДЕЙ», ИЛИ БЕРТОЛЬТ БРЕХТ
НЕИЗВЕСТНЫЙ
(От переводчика)

В рекомендации нашему читателю Брехт не нуждается. В большинстве советских театров по сей день хотя бы одна его пьеса идет непременно, а то и не одна. Довольно полно издана и его драматургия, и проза (прославленный «Трехгрошовый роман»), опубликовано две с половиной сотни стихотворений. Но это лишь малая часть поэтического наследия Брехта, да и опубликованные переводы лишь в немногих случаях выдержали проверку временем. Тем более, что к лучшим его балладам чаще всего переводчику и подступиться-то боязно — самое серьезное может оказаться пародией, а то и наоборот. Для переводчика такая работа — «страшный сон».

В первой половине 20-х годов Брехт создал, а в 1927 году опубликовал тремя выпусками свой первый поэтический сборник, сразу поставивший его в первый ряд немецких поэтов. В сборнике немногим более сотки стихотворений, на русский язык хорошо, плохо ли (второе — чаще) переведено меньше половины. Среди непереведенных — «криминальные баллады», лирика, скрытые пародии. Именно скрытую пародию на прославленный «Пьяный корабль» Артура Рембо представляет баллада-монолог «Корабль», не зря она напечатана в сборнике рядом с пародией на «Горные вершины» Гёте. Попытка перевести «Корабль» на русский язык предпринята впервые, так же, как и проба переложить русскими стихами еще одно «морское», совершенно серьезное стихотворение — «Балладу на многих кораблях». «Баллада о Мазепе» развивает сюжет известной поэмы Байрона «Мазепа», где после поражения под Полтавой отступающий в Турцию Карл XII на привале слушает рассказ гетмана о пытке, которой тот был подвергнут в юности. Переведена баллада Брехта тоже впервые.

Лишь четвертое стихотворение подборки, «Баллада о вдове и солдатах», на русский язык переводилась ранее — как вставной зонг в пьесе «Матушка Кураж и ее дети». В пьесе баллада прервана несколькими посторонними репликами, что накладывало на переводы чисто сценическую специфику. Однако в «Домашних проповедях» та же баллада напечатана как изолированное стихотворение — по этой причине и сделана попытка переложить ее снова, но иначе.

О принципах перевода проповедей не хочется. Пусть «Домашние проповеди» говорят сами за себя.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

КОРАБЛЬ

1

Я в морях болтался, не грустя по грузу:
Сдал акулам лишнюю обузу,

Странствую с луною алою
вдвоем.
Свищет ветер, снасти обрывая,
Сгнил бушприт и бечева
береговая,
Цель моя все дальше, и бледнее
окоем.

2

С той поры, как я лишился
цели —
На меня сомнения насели:
Не пора ли, господа, тонуть?
Я постиг, что никому не нужен,
Порешил, что мною променад
заслужен,
И пустился в бесполезный путь.

3

И, покуда я вгрызлся в воду,
По пути, не виданная сроду,
Заводилась у меня родня:
Даром, что обшивка
не в порядке —
Сквозь нее врывались акулятки
И селились в трюме у меня.

4

Вот — четвертый месяц на исходе.
Я уже к метаморфозе вроде
Был к очередной вполне готов:
Мох на мне разросся,
как чащоба!
Я волок, страдая не особо,
Груз луны, травы, акул, китов.

5

Но, сентиментальность резко
спрятав,
Корморанов разных и фрегатов
Упреждаю: скоро потону!
Восемь месяцев плыву, но даже
Знать не знаю — наконец
когда же,
Как положено, пойду ко дну!

Рыбаки о чем заводят речь-то?
Мол, плывет себе такое Нечто —
Остров, то ли остов корабля?
Уплывает с полным безразличьем,
С водорослями, с пометом
птичьим,
К горизонту, без ветрила,
без руля.

БАЛЛАДА НА МНОГИХ КОРАБЛЯХ

1

В прибрежном рассоле, буром
и жидком,
Пухнут убогих шлюпов тела.
Как рубаха, замыгана парусина,
Гниет на любом кривая щегла.
Их прибирает к рукам водянка, —
Так на ветру, при свете луны,
Лежат на волнах, развесив
снасти,
Жалкие чайачьи гальюны.

2

Кто бросил их здесь? Сосчитать
попробуй.
Коносаменты для них не указ.
Однако приходит однажды
некий,
Кому посудина в самый раз.
Он гол, и бос, и, ясно,
без шляпы,
У него не лицо, а комплект
морщин.
Посудина видит его ухмылку —
Ох лучше не знать бы таких
мужчин.

3

Он плыть решает — и вот перед
портом
Почетный строится караул,
При нем акулы плывут эскортом:
Да-да, он держит личных акул!

Вот и пришел соблазнитель
 последний —
Уставясь в полдненную синеву,
Посудина тащится — та, что
 решилась
Еще маленько побыть на плаву.

4

Он выкроит куртку из парусины,
За обедом рыбу сжует сырьем;
В трюмной воде пополощет ноги,
Коротая часы с кораблем вдвоем.
Порою глянет в молочное небо,
Чаек приметит — его не учи,
Сам их изловит силком нехитрым,
Кинет акулам: пожалте, харчи.

5

О эта дорога в пассате восточном!
Он, бывает, поет, выходя на ют.
Залутавший угорь, а с ним акулы
Рассуждают: ну что ж, и под
 пыткой поют.
Но вот в октябре наступит

 однажды
На палубе жуткая тишина,
Он на корму выходит, бормочет.
А что бормочет? «Завтра — хана».

6

При свете луны он все там же,
 на юте,
По привычке мирно спит до утра,
Но чует: другой корабль
 бесхозяйный
Стоит на расстояньи багра.
Он ухмыльнется, решится разом;
Причешется; медлит короткий
 миг,
Прощаясь: жаль, но любовница
 эта
Была прхуже, чем он привык.

7

Ничего. Он стоит, за поручень
 взявшись,

Смочит, решению вопреки,
Как тонет корабль, что был ему
 домом,
Как блещут его акул плавники...

8

Так и живет он, скитаясь вечно
На кораблишках-последний-
 сорт, —
Следит за луною, не забывая
Вовремя выкинуться за борт.
Он гол и без шляпы, зато
 при акулах,
Он помнит свой мир и предвидит
 путь.
Он знает радость: тонуть все
 время,
И другую радость: не потонуть.

БАЛЛАДА О МАЗЕПЕ

1

Своих — стреножили; пленника
 туго
Спиной привязали к спине коня,
Жеребец от боли и от испуга
Заржал и рванулся к излету дня.

2

Привязали — не дернешься
 и натужась:
Что ни движение — то волдырь.
Он видел лишь небо, в котором
 ужас
Впотьмах разрастался и вглубь
 и вширь.

3

Конь от погони поклажу ловко
Уносил верней и нежней, чем
 жена,
А травля шла, и была веревка
Черной кровью увлажнена.

4

Под вечер темнели небесные
шири,
Воронье налетало и коршунье:
Над скачкой беззвучно плывя
в эфире,
Глазело внимательно на нее.

5

Три дня — без цели
и без предела,
Бежало мясо, мчалась еда,—
Небо темнело, небо светлело
И было огромно, как никогда.

6

Три дня — затравленно,
остервенело,
Три вечности продолжалась езда,
Небо темнело, небо светлело
И было огромно, как никогда.

7

Три дня мечты о жизни
загробной,
О смерти — меж небом и травой.
Коршуны в небе кружились
злобно
Над убегающей жратвой.

8

Три дня, покуда веревка держала
Под небом зеленым, над бурой
травой,
И уже воронье с коршуньем
дрожало
Над жратвой, пока что еще
живой.

9

Он от боли орал, они —
от счастья,
Они обгоняли его галоп,

Солнце и звезды крылами застыя,
Грядущий пир обсуждая взахлеб.

10

Три дня получил он жестокой
форы,
Но хочет земля получить свое.
Подъехал один из ловчих,
который
Разом избавил от травли,
от своры:
Остались небо и коршунье.

11

Три дня — через темень и через
ясность,
Чтобы порвать с суетой мирской,
Обрести великую безопасность,
Устало ввалиться в вечный покой.

БАЛЛАДА О ВДОВЕ И СОЛДАТАХ

Стреляют стрелки, и колют
клинки,
И грозит река перекатом.
Вас не выдержит лед, и собьют
вас влет —
Сказала вдова солдатам.

Но у солдата мушкет заряжен,
И в привычку ему переть
на рожон,
Вояка молодеватый
Идет по приказу на север, на юг,
Ужо не отпустит кинжал
из рук! —
Сказали вдове солдаты.

Кто забыл про сирот, тех возьмут
в оборот,
Легко грозить супостатам,
Да не прыгнуть, увы, сверх своей
головы! —
Сказала вдова солдатам.

Но у солдата наточен кинжал,
В лицо вдове он просто заржал:
Только брод перейдем
распроклятый,
Только встанет над крышей луна,
над коньком,
Мы придем, вдова, к тебе
прямоком —
Сказали вдове солдаты.

Вы пройдете, как дым: бойцам
молодым
Людей не понять женатых.
Как торопится дым! Сжался,
Боже, над ним! —
Сказала вдова о солдатах.

Сплюнул солдат, взял мушкет
и кинжал,
И к броду речному свой путь
держал,
Вот — река, а вот — перекааты:
Луна взошла, подошли холода,
Солдату не всплыть из-под корки
льда:
Что скажут вдове солдаты?

Он прошел, словно дым —
погиб молодым.
Разуменья нет в неженатых.
Кто забыл про сирот —
тех возьмут в оборот:
Сказала вдова о солдатах.

Переводы Евгения ВИТКОВСКОГО

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В нынешнем году исполняется 76 лет со дня рождения выдающегося американского драматурга Теннесси Уильямса. Томас Уильямс (Теннесси — его литературный псевдоним) появился на свет в 1914 году. Пьесы Уильямса хорошо известны советскому зрителю и читателю. Гораздо в меньшем объеме читатели знакомы с поэзией, которую Теннесси Уильямс мог назвать своей второй музой, так как стихи сопровождали его всю жизнь, идя рука об руку с его драматургическим творчеством. Стихи Уильямса подчеркнута демократичны, глубоко человечны, просты по форме и богаты внутренним содержанием, подтекстом. Многие из них тематически связаны с пьесами драматурга. Например, стихотворение «Райская трава» было использовано Уильямсом в пьесе «Орфей спускается в ад». Переводчик выражает надежду, что стихи замечательного драматурга помогут по-новому взглянуть на его пьесы и более правильно и полно оценить его творчество в целом.

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС

ПРОСТРАНСТВО ПОТРОГАТЬ РУКОЙ

Спою я про племя бродяг,
пока что не мертвых.
Вон юные ведьмы летят
на утренних метлах,

И голод скрывать не впервой
задирам-мальчишкам.
Их много, но им повезло,
признаться, не слишком.

В зеленое сердце листка
вхожу неизменно.

Есть в мире мой собственный
мир
моя мизансцена.

Я вовсе не прочь описать,
как мается демон
по истому зову небес...
Ответьте мне, где он?

Мы лучше, читатель, с тобой
пониже поищем.
Здесь каждый предстанет, поверь,
гонимым и нищим.

Я просто хочу рассказать,
как пасмурным днем
я их на дорогах встречал,
палимых огнем.

Девчонка увидела мир,
узнав много бед,
мальчишка ослеп, но прозрел
тот, внутренний, свет...

Везде, в каждой точке Земли,
за каждой строкой
пространство стремятся они
потрогать рукой!

ОДИНОЧЕСТВО

Бормочу и качаюсь я дни
напролет.
Ни один человек ко мне
не зайдет.
Никогда, никто ко мне не придет.

На обед зачерствевшего сыру
возьму.
Нет желанья готовить себе самому.
Слишком грустно готовить себе
одному.

Заскрипит под ногами
некрашенный пол.
За любовью я в лавку к торговцу
не шел,
как другие, за нею я в лавку
не шел.

Тихо тикают ходики возле окна.
Над моим изголовьем смеется
луна.
По ночам надо мною смеется
луна.

ЛАЙ ЛИСЫ

Бегу я, бегу, петляя...
Становится уже петля.
Отчаяния лощины,
холмов безумья земля...

Пока не в охотничьем доме
пылает пламя хвоста,
бегу я, опять возвращаясь
в предавшие прежде места.

А сердце бешено бьется:
«Не лай, лиса, замолчи!
Твой лай разносится гулко,
как колокол в зимней ночи».

Отчаяния лощины,
земля безумных холмов...
И каждый в своре собачьей
загнать добычу готов.

БЛЮЗ КУХОННОЙ ДВЕРИ

От простуды старуха моя померла.
Сигареты курила и дряхлой была:
ребра, как на корсете, прядки
желтых волос...
Ее ветер из кухонной двери унес.

Да и я не моложе ничуть, чем она.
Сигареты курю и сижую у окна.
Говорят, что и выгляжу плохо
теперь...
Запирайте покрепче проклятую
дверь!

РАЙСКАЯ ТРАВА

Эти ноги ступали по райской
земле...
Солнце ярко сияло в небесном
стекле.

Эти ноги бродили по райской траве...
Звезды мягко светили по синей канве.

А потом, в тихом шелесте майского дня,
мать вскричала от боли, рожая меня.

Я учился прямее держаться в седле,
я учился смелее шагать по земле...

Но, лишь солнце растает в ночной синеве,
эти ноги тоскуют по райской траве.

ХИЖИНА

Было в доме уютно, мальва кротко цвела...
Горький шепот не крался от угла до угла.
Солнце ярко сияло в переплете окна,
но мужчину и бурю в дом впустила она.

Нынче в хижине этой зимний ветер поет,
там, где двое грешили всю ночь напролет.
Белый дождь их дыханье выметает долой,
словно ведьма седая — огромной метлой!

ЛЕС ТЕНЕЙ

Я помню: дерево цвело
в овраге, возле темных пней,
и звали Нежностью его.
Вокруг качался Лес теней.

Ладочки-листья так светло
роняли золотую кладь,
пытаясь удержать меня...
Я не хотел стоять и ждать.

Я верю: дерево цветет
все там же, но с теченьем дней
мне все труднее отыскать
мой тонкий ствол в Лесу теней.

Оружье, что отсрочит смерть,
за Нежность я отдать готов,
но поздно: я — всего лишь тень...
Не обрести мне прежних слов.

Переводы с английского
Елены ПЕЧЕРСКОЙ

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС ...



Ефим Самоварщиков

Иронические стихи

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА САДОВЫЙ УЧАСТОК

Чудесный денек
приготовлен на завтра

Д. Кедрин

Приглашаю в субботу на ранчо.
Жаль, что вы не бывали здесь
раньше.
Не седлали, со мной отобедав,
Пару гоночных велосипедов!
Приезжайте в мою гасиенду,
Где, подобно испанскому гранду,
Захотите, пройдя на веранду,
Отличить от аллегро крещендо.
Что крещендо! Я жду вас
на ферме,
Уяснив, что забыли, наверно,
Вы забыли, конечно, как сладки
Две морковки, что вырваны
с грядки.
Я морочу вам голову? Что вы!
Едем мы на участок садовый.
Покопаемся там в огороде
И в саду — при хорошей погоде.
Будет вам совершенно бесплатно
Много воздуха, много движенья.

ВАДИМ БОМАС

* * *

Ну с какой, скажите, стати
Говорить, что люди — братья?
Ведь любой, чей взор остер,
Замечает и сестер.

* * *

Над топиями болотными,
Над луговыми травами
Идут дожди кислотные,
Течет вода с отравой.

А насколько копать приятно —
Все зависит от воображенья.

КЛАССИКИ НА ТЕЛЕЭКРАНАХ

В ящик смотришь.
Как эластик,
Время тянется вовне.
По экрану ходит классик,
Словно муха на окне.
Классик позы принимает,
Образ собственный лепя.
Прозу он приподнимает
И цитирует себя.
Все, как должно. Вот и Невский.
На портрет похож Кольцов.
Суетится Достоевский...
Надоест — в конце концов!
Многоцветная премьера
Много дней идет подряд.
Биография Вольтера.
Впечатленье: психопат.
Разуверенные в чуде,
Не мечтаем ни о чем.
Мы же грамотные люди —
Сами Чехова прочтем!

Вдали заводы курятся,
И планы выполняются,
А рядом дохнет курица,
Корова отравляется.
Увы, приметы времени
И нравы поколения:
Мы получаем премии
За самоистребление.

* * *

Да здравствует очередь за...
Уставим в затылок глаза,

Смиримся и встанем без брани.
Кто крайний?

Великая очередь от
Утра до заветных ворот,
В единой смешавшая теме
Пространство и Время.

В ней нет ни сословий, ни лиц,
Безмолвная цепь единиц,
Несущих на влажной ладони
Наслюенный номер.

Куда ее медленный ход,
К каким дефицитам щедрот?
В продмаг? В фолианты историй!
К печам в крематорий?

А может случиться, она
В бессмертье устремлена —
Дитя коммунального быта
И спроса без сбыта.

Так здравствуй же, очередь за
Всем тем, что ласкает глаза
И держит в едином порыве
Всех нас в коллективе!

* * *

Поскольку к плоскости орбиты
Наклонена земная ось,
То солнце в осень не в зените
И шлет лучи куда-то вкось.

Мороз прихватывает лужи
На половине всей земли.
Темнеет рано. И к тому же
Вновь улетают журавли.

Казалось бы, в начальной школе
Давным-давно разъяснено:
Закон природы, и не боле.
Душа страдает все равно

И мается до света, точно
И не предвидится рассвет.
И утешает только то, что
Души, как утверждают, нет.

КОЕ-ЧТО О ПЕГАСАХ

1

Поразительное чувство
Близкое к прострации —
То ли в области искусства,
То ли авиации:
Над поверхностью земной
Конь с крылами за спиной!!!
Самолетам не мешает,
Чист для экологии,
Но при этом нарушает
Все законы логики.
И, не ведая оков
Силы притяжения,
Завлекает простаков
В мир стихосложения.

2

У знакомого поэта,
Как у нас, и свет и газ,
Но в углу за туалетом
Размещается Пегас.
Несуразный и патлатый
Работяга першерон.
Что с того, что он крылатый? —
Крылья есть и у ворон.
Но овса не жрет впустую,
И свободный от сохи,
Он хозяину диктует
Полновесные стихи.
А поскольку эта лошадь
Враг сомнительных идей,
То поэт живет не плоше
Окружающих людей.

3

А бывает, что Пегасы
Забывают про полет.
Не порхают понапрасну,
А пахают огород.

Это скверно с точки зренья
Сочинения поэм,
Но полезно для решенья
Продовольственных проблем.

ЕВГЕНИЙ УШАН

СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ

Архитектор старательно вычертил
дом.

И прораб принес чертежи:
— Это, братец, фасад,
вот балконы на нем,

А на этом листе гаражи.
У фонтана качели поставь
для детей,

Только очень прошу,
сделай все побыстрей.

Был исполнен заказ, только что
и на чем

Перепутал прораб впопыхах.
И, когда новоселы увидели дом,
То испуганно вскрикнули: — Ах!

На стене красовались фасад
и чердак,

Вместо двери болтались качели.
Не забыл и балконы поставить
чудак —

Все четыре
на клумбе блестяли.

Был на крыше подъезд в этом
странном дому,

А фонтан был упрятан в подвал —
Говорят,

архитектор прорабу тому
Больше срочных работ не давал.

АТЛЕТЫ И ПОВАРА

Одна их страсть объединяет,
Одна возносит их любовь —
Атлеты гири выжимают,
А повара — морковь.

ХУДОЖНИК

Петров под окном над картиной
работал:

ПО АФРИКЕ ЗНОЙНОЙ БРЕДУТ
БЕГЕМОТЫ.

Но сверху сосед опрокинул
белила —

И всех бегемотов, как снегом,
накрыло.

Петров поразмыслил
и, буркнув: «Угу...»

Холст подписал:
«БЕГЕМОТЫ В ПУРГУ».

БАРАНЫ

Не зубрят бараны теорем.
Равнодушны к фильмам
и к романам —

Думать,
напрягаться,
а зачем?..

Все равно останешься бараном.

СЕРГЕЙ БЕЛОРУСЕЦ

ПРИЦЕЛЬНОЕ

Мы берем судьбу на мушку.
Нас берет судьба на пушку.
Кто кого на что берет?
Может, все наоборот?..

МЕЖДУГОРОДНЕЕ

Я сойду на чужой остановке,
Где не страшно остаться
без крова,
Где бредут грибки по грунтовке
В направлении царства лесного.

На платформе — спиной
 к табличке
Самовольно себя припаркую —
Я, сошедший с одной электрички,
Чтобы здесь пересестись
 на другую...

Из воздуха, воды
И пищи для кретина.
Среды как таковой
Не убежишь никак ты,
Ведь всякий выбор твой
Лишь оголит контакты...

ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИКЛАДНОЕ

Временный снежный покров
Яро плодит в общей массе
Акт выбиванья ковров
На белоснежном паласе.
Пыль коммунальной норы
Вместе со снежной — в полете:
Дети,
И дяди,
И тети, —
Все выбивают ковры!..

* * *

Куда ж ты от среды,
Которая — рутина

ПАМЯТНИК

Как память мой дом!
Он памятник всем тем,
Кто жил когда-то в нем
И был кто глух, кто нем...

Он памятник тому,
Кто` здесь бывал хоть раз,
Тому, кто слал ему
Тепло дежурных фраз.

Он памятник и мне.
Когда уйдет во тьму —
В новехоньком дому
Да буду я в окне —
Как памятник ему!..

ПЕТРО РЕБРО

МЕЖДУ НАМИ...

Открыто с трибуны признался поэт,
Что в муках рождает он каждый сонет.
«Кончайте писать! — он услышал тотчас,—
И вам будет легче, и лучше для нас».

РЕЗОННО

Сказали автору романа детективного:
— У вас не видим мы героя позитивного.
— Героем,— он ответил,— будет тот,
Кто мой роман до корочки прочтет.

БОРИС ЧАМЛАЙ

УСТАМИ РЕБЕНКА

Купили ребенку игрушку-коня.
А он закричал: «Посмотрите, свинья!»

Ни в чем я мальчонку не обвиню:
Тот конь был и вправду похож
на свинью.

КУРИЦА И СОКОЛ

Курице шептал мечтатель-Сокол:
— Стоит в небо мне взлететь
высоко,

Над полями медленно
проплыть,
Те минуты не могу забыть!
А она:
— Паришь среди пустот.
Там, на небе, просо
не растет!

ВЛАДИМИР ДУГАР

МЫШКА И КНИЖКА

— Вкусна ли новенькая книжка? —
Спросила как-то Мышку Мышка.
Бедняга, вытерев слезу,
Ответила: — Не угрызу!

АНАТОЛИЙ ГАРМАТЮК

ОСЕЛ-ПЕГАС

Осел считал, что он — Пегас,
И всем свой открывал секрет:
Когда-то в детстве, и не раз,
Катался на Осле поэт.

ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА

1. Самодовольный

Пусть я умер и гроб —
не светлица,
Я и с этим мириться могу,

Коли знаю — и это не снится,—
Что лежу в персональном гробу.

2. Прозаседавшийся

Хочу подать вам весть,
Тревожу вас не зря:
Как засесть мне здесь,
Коль тут сидеть нельзя?!

Переводы с украинского
Б. ЦЫБИНОЙ

Пародии

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

РАЗГОВОР ЗНАТКОВ

«Боржоми» лучше пить в Боржоми
И «Ахашени» — в Ахашени.
Пленяют вас в открытом доме
Первоисточника вкушенье.

Яков Хелемский

— Скажу как можно откровенней,
Мне с каждым годом все яснее,
«Бордо» в Бордо куда отменней,
А «Херес» в Хересе вкуснее.

— Отведав несравненной влаги,
Познавши истину в стакане,

«Малагу» лучше пить в Малаге,
Как и «Шампанское» в Шампани.

— «Кагор» в Кагоре лучше вдвое!
— «Токай» в Токае свалит черта!..
Так мило рассуждали двое
В квартире у Аэропорта.

Уронили слезы
Чистым серебром.

Желтая дорога
Манит за село.
Грустно мне немного,
На душе — светло.

ОТЗВУК

Разгулялась вьюга
На закате дня —
Верная подруга,
Горькая родня.
Тут во поле белом
Прямо за селом
Юность отшумела
Золотым крылом.
Михаил Борисов

Белые березы
Под моим окном

Ветерок осенний
Мне дохнул в лицо.
И Сергей Есенин
Вышел на крыльцо.

Золотая прядка,
А в руке — стакан.
И сказал мне кратко:
.....
Экий хулиган!..

РАСТЛЕНИЕ СЛАВЯНСТВА

Очей славянских синь эстрадный смрад
забил —
Гнусавый микрофон лахудры
низкобой.
... Звезда моя полынь. Цветущий
чернобыл.
Земля моя полынь. Беда моя —
Чернобыль.

Станислав Золотцев

Ни днем ни ночью нет покоя нынче мне,
В бессоннице сплошной свои слагаю строки.
Да как же тут уснешь, когда в родной стране
Все чаще, все страшней бушуют катастрофы.

В раздумьях целый день, сна не приносит ночь,
И не заметишь, как ночь переходит в утро.
И вдруг я понял все — ушли сомненья прочь —
Виновница всех бед — лохматая лахудра!

Растлил сердца славян гнусавый микрофон,
Славянские сердца смутил бесовский голос.
Дьявольским плащом распластан балахон,
На низком вздыблен лбу победный рыжий волос.

Все беды — от нее! Забыта нами честь.
Еще совсем чуть-чуть, и враг врасплох застанет.
На первородстве — крест!.. Но, впрочем, выход есть:
Лахудру расстрелять — и катастроф не станет!..

ЕФИМ САМОВАРЩИКОВ

О МОИХ ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Затеей нахожу худою
Свиданье с дамою худою.
Ну что с нее, скажите, взять,
Когда за что, не знаешь, взять.

УТЕШЕНИЕ ДРУГУ, У КОТОРОГО ЗАБОЛЕЛА НОГА

Нога твоя болит действительно.
Несладко ей, твоей ноге.
Но ей не больно относительно
Ноги в испанском сапоге.

ПРИЗНАНИЕ

Неповторимый старый друг,
Могу расстаться ли с тобою.
Ты много лучше новых двух...
Тебя ведь меньше ровно вдвое.

НА ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ

Попутру просыпается роза моя.
За себя принимается роза моя.
Лицезреньем ее не успел
насладиться,
Как уже под косметикой роза
моя.

УРОК

Был некий скептик посрамлен
однажды,
Когда на мудрость древних
посягнул.
В одну реку хотел войти он
дважды,
Но в первый раз вошел и...
утонул.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

За роком — рок. За шейком —
брейк. А вслед —

Еще один заморский дивный
танец...
И ничего б! Но как сказал поэт:
«В своей стране я словно
иностранец...»

ПО НОВЕЙШИМ ДАННЫМ ИСТОРИКОВ

Равенство приветствовавший принц
Эгалите
Мог себе позволить лишь Алиготе.
А противник равенства некий
Кавеньяк —
Тот до безобразия обожал коньяк.

СИЛА СЛОВ

Когда поэт, запев, как соловей,
Защелкав рифмой,
В зал почти что вытек,
«Я не люблю иронии своей!» —
Признался чуть не плача
Некий критик.

ЭРУДИТ

Ума не палата,
А терем.
Да ключ, извините,
Потерян.

КРИТИКАН НА ЭКСКУРСИИ

Вот критикан. Он посетить
стремится
Прекрасную, но бывшую столицу,
Все впечатления употребив во зло:
«Окно в Европу пылью заросло!»

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Собравшему в редакцию
большой чемодан —
Напрасно не трудиться —
совет подам,

Ибо его должно предупредить:
Стихами там можно пруды
прудить.

ВОПРОС ЮРИСТУ

Путь к всезнанию отнюдь
не гладок —
Возникают все время вопросы:
— Интересно, а нужно ли с взятки
Платить профсоюзные взносы?!

О ПЛЮРАЛИЗМЕ МНЕНИЙ

Сейчас у нас на каждое явление
В наличии, как минимум,
два мнения.
И лишь о том, что я бесспорно
гений,
Нет никакого плюрализма мнений!

НА САМООБСЛУЖИВАНИЕ!

Путь к прозрению был недолог,
Слово честное, я не вру;
Юмористка-эндокринолог
Мне сказала: «Не ешь икру!»

Я сначала смутился вроде,
Но, принявши достойный вид,
Молвил так: «При моем доходе
Это вовсе мне не грозит!»

Как ни кинь — все выходит нечет.
Даже если и захочу,
Мне икры никто не намечет,—
Разве сам себе намечу?!

ПАРИЖСКИЕ ПРИБАУТКИ

Парижская скороговорка

Шла Саша по шоссе
И, смакуя фразы.
Саша слушала эссе
Саган Франсуазы.

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

Вокруг шумливо и пестро —
вокруг Париж! А разве
нельзя забыть, что мы в бистро,
а не в Москве — в «Арагви»?!
Вокруг звучит аккордеон,
вокруг звенит гитара.
И рядом — Я и Арагон,
или по-свойски — Ара.

ЖИВОПИСНОЕ

Француз, кубист —
художник Пикассó
Изобразил квадратным колесо.
А вот, когда испанцем был
Пикассо,
круги он рисовать умел прекрасно.

АРХИТЕКТУРНОЕ

Побывал я раза три
в Нотр-Даме де Пари.
Видел — ну и панорама! —
внутренности Нотр-Дама.
Классно смотрится внутри
этот Нотр де Пари!

* * *

Все в детстве с восторгом читали, наверно,
писателя Жюля, а именно — Верна.
И всех нас, конечно, сводили с ума
герои томов Александра Дюма.
Теперь мы всю повышаем культуру,
сдавая учебники в макулатуру.
Теперь нам доступны и Жюлик и Саша —
который постарше, который папаша.

БИБЛЕЙСКОЕ

То ль непьющим был, как дама,
то ли не было «Агдама»,
но известно, что Адам
никогда не пил «Агдам».

* * *

Сегодня дефицит — большая сила!
Достал его — одет, обут и сыт.
Сейчас, когда кричат: «Судью на мыло!»,
мне страшно — мыло нынче дефицит...

* * *

На заводе, на «Калибре»,
не увидишь ты колибри.
Ну а в джунглях — там их тыщи ж! —
штангенциркуля не сыщешь.

Поэзия : Альманах. Вып. 55.— М. : Мол. гвардия, 1990.— 222 [2] с.

П 67

В номере публикуются стихи известных советских поэтов: Т. Сырышевой, Г. Абрамова, Е. Лебедева и других. Раздел «Наши публикации» представляет имена К. Случевского, В. Звягинцевой, Б. Савинкова. В разделе «Мастерская» представлены статьи и материалы о русском поэтическом авангарде 60-х годов, о верлибре и творчестве поэтов-верлибристов. Читатель познакомится со статьями об А. Ахматовой, А. Блоке. В разделе «Философские беседы» продолжается публикация диалога с А. Ф. Лосевым и печатаются стихи Вл. Соловьева. Стихи Т. Уильямса, Б. Брехта представлены в разделе «Зарубежная поэзия». В рубрике «Парнас, Пегас и кое-что про нас...» публикуются иронические стихи, пародии, эпиграммы.

П $\frac{4701000000-102}{078(02)-90}$ 186—90

ББК 84(0)6

ИБ № 6399

ПОЭЗИЯ. Вып. 55

Зав. редакцией **Г. Зайцев**

Редакторы **Н. Старшинов, Ген. Красников**

Художественный редактор **Т. Погудина**

Технический редактор **Н. Теплякова**

Корректор **Н. Овсяникова**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отзывы об альманахе присылайте по адресу: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21. ИПО ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», альманах «Поэзия».

Сдано в набор 15.09.89. Подписано в печать 31 01.90. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0. Усл. кр.-отт. 28,5. Уч.-изд. л. 16,7. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 30 к. Заказ 2222.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сушевская, 21.



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ПОЭЗИЯ: Л. Смирнов, Г. Горбовский, В. Казанцев, В. Гордейчев, В. Дронников, А. Дидуров, А. Щуплов, Е. Витковский, а также стихи участников Великой Отечественной войны и стихи участников IX Всесоюзного совещания молодых писателей.

ПУБЛИКАЦИИ: Н. Бурова, А. Солодовников.

МАСТЕРСКАЯ: В. Казанцев, А. Межиров (о поэзии Е. Евтушенко), Я. Козловский, И. Бродский, Ю. Кублановский.

СТАТЬИ: А. В. Михайлов. «Памяти старого переводчика» (Н. А. Холодковский).

ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ: Сергей Булгаков.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ: А. Шенье, Дж. Оруэл, Р. Киплинг.

ЮМОР: А. Иванов, А. Матюшкин-Герке, А. Егоров, Г. Медведовский, А. Мурай, Н. Карпов, Е. Ушан, Е. Самоварщиков. Пародии, эпиграммы, ироническая поэзия.

